# Россказни Роджера

# Джон Апдайк

К чему такая трата?

Евангелие от Матфея. 26,8

Бесконечно величие Твое, о Господи! Даже если бы Ты не был сама любовь, даже если бы Ты был холоден, как лед, в своем бесконечном величии, я не перестал бы любить Тебя, ибо испытываю потребность любить величественное.

Кьеркегор. Дневники XI2 А154.

Что, если следствием нового восхваления Господа нашего будет еще одно подтверждение бесплодности человеческих усилий?

Карл Барт. Человечность Бога.

...Бог-ветер так же безветрен, как мир за экраном компьютера.

Джейн Миллер. Праздничные священнодействия.

# 

# Часть I

## 

## 1

Мне нравится на богословском факультете: красивые места, не слишком утомительные лекции, доброжелательные коллеги, остроумные и не привыкшие выставлять напоказ ни себя, ни свою эрудицию. Овладеть несколькими мертвыми языками и потом рассказывать самоуверенным, заблуждающимся или просто прилежным студентам о наиболее значительных событиях ранней истории христианства, столь же канонических, сколь и загадочных, — не самый нечестный способ заработать себе на жизнь. Годы работы священником, прерванные встречей с Эстер и женитьбой — это было четырнадцать лет назад, — я считаю не то чтобы потерянными, а своего рода предсуществованием. Воспоминания о них угнетают меня до сих пор.

И тем не менее, когда мне на факультет позвонил некий молодой человек и, представившись знакомым Верны, дочери моей единокровной сестры Эдны, упомянул, что он, как и я, родом из Кливленда, и попросил о встрече, любопытство перевесило желание положить трубку. Я назначил день и час, и вот он явился. Был конец октября, та особая пора в Новой Англии, когда золотится листва и, подсвеченные, волнуются небеса. Едва посетитель вошел, я увидел, что принадлежит он к тому типу молодых людей, какие мне не по душе: высокий, выше, чем я, и бледный от постоянного пребывания в помещении. Восковую бледность лица подчеркивали два алых, словно мазки кистью, прыща на подбородке. Глубоко посаженные глаза были у него какие-то неестественные, невыразимо бледно-голубые, почти бесцветные. На голову была натянута синяя шерстяная, плотно облегавшая череп шапочка, как у военных. Он снял ее и сунул в карман камуфляжной куртки из армейских излишков. Молодой человек стоял передо мной, занимая чересчур много места, переминался с ноги на ногу и, конфузливо моргая, оглядывал полки, заставленные книгами, и сводчатое окно у меня за спиной. Его немытые, чуть вьющиеся каштановые волосы начинали редеть на висках.

— Красивые у вас тут здания, — сказал он. — Я впервые в этой части университетского городка.

— Далековато, — откликнулся я, подумав, что было бы неплохо, если бы факультет располагался еще дальше. — А где вы обычно... м-м... пребываете?

— В Кубе, сэр. Помогаю разрабатывать программу по компьютерной графике. Она финансируется как правительством, так и частным сектором. Вообще-то чиновных шишек интересует только искусственный интеллект. Говорят, надо собрать в одну упряжку миллионы мини-компьютеров, чтобы смоделировать проблему, то есть составить конфигурации, подобные нервным клеткам человеческого мозга, определить закономерности отсечения неперспективных вариантов, использовать эвристические методы и все такое прочее. А пока — обработка данных, бионика, графика. И машина на мази, и нам хлеб с маслом.

Настроение у меня испортилось. Чтобы сохранить душевный комфорт, я обычно стараюсь не вторгаться в те области знания, где могу запутаться и пойти ко дну. Именно в такую область потащил меня этот парень, изъясняющийся на компьютерном жаргоне. Кубом у нас прозвали компьютерный исследовательский центр, расположенный в одном из новых зданий, у которого все ребра имеют одинаковую длину. Я там ни разу не был и не собирался.

— Мы еще не познакомились, — сказал я, улыбнувшись. — Меня, естественно, зовут Роджер Ламберт.

— А меня Дейл Колер, сэр. Очень признателен, что согласились уделить мне несколько минут.

Как я и думал, его протянутая ладонь оказалась костлявой и холодной, как воск, и он жал мне руку слишком старательно, словно не хотел отпускать.

— Присядем... Вы сказали, что знакомы с Верной, дочерью моей сестры. Любопытно узнать, как она. Очень любопытно... Я слышал, у нее были неприятности.

Устраиваясь в служебном кресле, какими университетские хозяйственники заполняют все кабинеты и помещения (брошюра, прилагаемая к ним, горделиво сообщает, что отдельные части таких кресел сделаны из древесины различных пород: сиденья — из наиболее твердых видов дуба, ножки — из клена, изогнутые подлокотники — из розовой вишни и т. д.), парень зацепился карманом своей куртки за подлокотник и, рассыпаясь в извинениях, долго вертелся, прежде чем устроиться. Кисти рук и запястья были у него какие-то ненормальные, огромные. Отнюдь не зеленый юнец, подумал я, на вид ему под тридцать. Вечных студентов у нас в кампусе пруд пруди: они одеваются по молодежной моде и проявляют хитроумную изобретательность начинающих, словом, ведут себя так, словно учение — их постоянная оплачиваемая профессия. Иные седеют в наивной погоне за знаниями и даже порождают пышную поросль полуголодного потомства.

— Что вы называете неприятностями? — При всей неуклюжести и стеснительности в моем посетителе было что-то вызывающее и дерзкое, даже наглое. — Расу отца ребенка Верны, то обстоятельство, что он пустился в бега, или отвратительное обращение с ней со стороны родителей?

Обидно было слышать такое. В расовом отношении народ в университете терпимый.

— Раса, конечно, вещь очень важная... при прочих равных. Поскольку, однако, прочие не равны, я действительно удивился, что девочка решилась заиметь ребенка.

Мой собеседник заерзал на стуле, словно ему мешал туго набитый бумажник в заднем кармане. Я потянулся за трубкой.

— М-м... — замычал он.

Какую радость дарит трубка! До чего приятно выбить ее, прочистить, снова набить табаком, примять его, поднести зажженную спичку... Первые затяжки, которые делаешь, втягивая щеки, то драматическое зрелище, когда пламя спички всасывается в чашечку, пропадает, потом опять вспыхивает. И наконец, несказанный аромат во рту, пробирающий до глубины души дымок, который не спеша выпускаешь сквозь губы. Странное дело: когда я смотрю на других курящих трубку, их гримасы и ужимки кажутся мне искусственными, театральными, даже отталкивающими. И тем не менее... с тех пор как несколько лет назад я отказался от сигарет — подавал Эстер пример, которому она не последовала, — трубка стала моей зацепкой на отвесной скале жизни, моим укрытием, моим утешением.

— Поняв, что беременна, — скособочившись, сообщил мне собеседник, — Верна из религиозных соображений решила оставить ребенка.

Его лицо — на редкость вытянутое, с двумя словно накрашенными точками прыщей, с нескладной порослью под нижней губой, особенно заметной в свете высокого окна за моей спиной, — выражало явное недовольство моим курением. У нынешнего поколения, утратившего инстинктивный интерес к иудейско-христианской обрядности, потаенное религиозное чувство выливается в действия по защите окружающей среды, начиная со скромного требования отвести в ресторанах места для некурящих и кончая бурными демонстрациями у ядерных объектов.

— Из религиозных соображений? — повторил я, воинственно попыхивая трубкой.

— Конечно. Чтобы не убивать живое существо.

— Значит, вы принадлежите к тому же духовному направлению, что и наш президент?

— Я не говорю, что принадлежу. Я говорю, что решение Верны не делать аборт было продуманным и прочувствованным, правда, теперь...

— Что — теперь? — Табак в трубке разгорелся неровно, с краю. Я заметил, что скашиваю глаза на чашечку — еще одна раздражающая привычка любителя трубки.

— Теперь у нее не все гладко. Девочке полтора годика, в таком возрасте за ребенком нужен глаз да глаз. Она непоседа. Верна говорит, с ума можно сойти, лопочет без умолку, хватается за все подряд, липнет к ней. А ты хочешь, говорю я ей, чтобы ребенок пошел устраиваться на работу? Раза два в неделю я стараюсь заглядывать к ней, но вот новостройка, где она живет... Не сочтите меня расистом...

— Да? Продолжайте, продолжайте.

— Нехороший там дом. И друзей настоящих у нее нет.

— Странно, — протянул я. Трубка наконец разгорелась как следует. — Сама решила приехать сюда.

— Как вам объяснить... Не знаю, насколько вы в курсе дела...

— Почти не в курсе. Я был совсем ребенком, когда отец развелся с матерью и женился вторично. Его связь с другой женщиной началась, очевидно, когда мама была беременна мной. Новая жена родила ему девочку — еще года не прошло после моего рождения. Я виделся с сестрой, точнее, с сестрой по отцу, очень редко, только когда навещал отца, а во время летних каникул иногда гостил, должен признаться, по месяцу. Так что мы с Эдной росли, можно сказать, порознь. Потом она вышла замуж, но семьи я ее не знал: все они жили в Кливленд-Хайт. Ее муж, отец Верны, — обыватель до мозга костей, она вам, наверное, говорила, бесчувственная скотина из норвежцев. Зовут его Пауль Экелоф. Он работал инженером, а сейчас какой-то администратор на сталелитейном заводе под Сент-Луисом... Однако зачем я вам все это рассказываю?

— Затем, что мне интересно, — ответил Дейл Колер. Его почтительная улыбка была невыносима.

— Впрочем, я почти закончил... Эдна родила Верну довольно поздно, ей было уже за тридцать. Я к тому времени давно уехал, стал священником, потом начал преподавать богословие. Верну я видел редко и потому очень удивился, когда год назад сестра написала, что у них проблемы с Верной и та переехала сюда к нам, как будто других городов нет. Я терялся в догадках, не понимая, что от меня хотят.

— Приехала на восток, в большой университетский город — наверное, подумала, что здесь ей будет легче. Не будут показывать пальцами — ребенок как-никак наполовину черный. Кроме того, рассчитывала, видно, что здесь много интересного: художественные выставки, экспериментальное кино, бесплатные лекции. Мы и познакомились с ней на симпозиуме по Никарагуа в конгрегационалистской церкви. Начали болтать о том о сем, а потом выяснилось, что мы оба — «каштанники», уроженцы Огайо. И еще: думаю, Верна хотела быть подальше от родителей, очень она на них сердита. Теперь, правда, Кливленд как бы ближе с этими беспосадочными перелетами: раньше ведь в Питсбурге остановку делали. Если взять билет на свободное место, получится не дороже, чем ехать автобусом.

Как оценить время, принадлежащее человеку? Ведь значительную его часть мы проводим безо всякой пользы. Величайшее утешение, которое дает христианская вера, заключается в том, что Всевышний в бесконечной мудрости Его и неусыпном бдении избавляет нас от бесцельности существования, наполняя смыслом каждое мгновение нашей земной жизни — равно как искупительная жертва Сына Его в широком смысле избавила нас от вериг времени. Но как бы то ни было, я понапрасну тратил время, выслушивая похвалы регулярным беспосадочным перелетам в Кливленд, самый мрачный, самый запущенный город, куда я не заглядывал лет тридцать — разве что по случаю похорон. А этот настырный молодой человек, вероятно, считал, что я должен лететь туда, в эту дымную душную «землю обетованную». Вообще зачем он пришел? Как мы втянулись в этот неестественно доверительный разговор?

— Что она собой представляет как мать? — спросил я. И уточнил: — Верна, не Эдна.

Что за мать Эдна, я имел возможность видеть не раз, хотя и с большими перерывами. Почти все, что она делала, будь то игра в теннис или вождение «студебеккера» с откидным верхом, подаренного ей к восемнадцатилетию нашим жалким папашей, Эдна делала под влиянием настроения, наскоком и небрежно, с эгоистично-безоглядной самоуверенностью, на которую окружающие обязаны были закрывать глаза ради ее «привлекательности», ее телесного шарма. С детских лет в ней чувствовалась пикантная изюминка, ее тело было словно ароматическая губка. Когда она, высокомерная вертихвостка тринадцати годков, и я, на пороге своего пятнадцатилетия вынужденный весь август торчать в Шагрен-Фоллз, в доме отца и мачехи, серенькой скучной особи (ее имя — Вероника, звучало старомодно и чопорно — так же, как она сама из коварной соблазнительницы, испортившей мне жизнь еще в материнской утробе, превратилась в ходячую домашнюю добродетель), — так вот, когда у девицы начались менструации, мне казалось, что дом наполняет липкий животный запах, который проникает даже в мою комнату с мальчишеской вонью от грязных носков и авиамодельного клея. У Эдны от рождения были курчавые волосы, пухлое личико и ямочка на щечке, когда она улыбалась.

— Какой можно быть в ее положении? Когда тебе всего девятнадцать, а ты уже чувствуешь, что жизнь проходит мимо, когда у тебя на руках маленький ребенок, ну, и пособие... Знаете, о чем Верна больше всего жалеет? Что не окончила среднюю школу. Но, когда я напоминаю, что есть вечерние курсы, что экзамены можно сдать экстерном, она сердится, говорит, что я ничего не соображаю.

— Если бы сама она соображала, не спуталась бы с чернокожим парнем и не завела бы от него ребенка.

— Простите, сэр, но вы рассуждаете, как ее мать.

Это прозвучало укором, и в том, как он твердил «сэр, сэр», было что-то агрессивное. Я обозлился. A Ressentiment, обозленность, — или отсутствие оной — есть, согласно Ницше, сердцевина христианской нравственности. У меня много недостатков, признаю, и прежде всего дурной характер, угрюмость, приступы раздражительности, которые туманят глаза и развязывают язык. Это внешние проявления моей склонности к депрессии. Мне проще сохранять самообладание в роли преподавателя, нежели священника — потому, может быть, что в первом случае меньше поводов раздражаться. Я выпустил клуб дыма, как отравляющее вещество против моего посетителя, и, не обращая внимания на сравнение меня с безмозглой Эдной, спросил из глубины доброжелательных доспехов моего твидового пиджака:

— Что я могу сделать для Верны, как вы думаете?

— То же, что делаю я, сэр. Помяните ее в своих молитвах.

На мой нравственный небосклон набежала туча. Нынешнее поколение иисусоманов, хотя и не одурманенное, как их предшественники-шестидесятники, такими галлюциногенными смесями, как ЛСД, беспредельно бесхребетно и неисправимо наивно относительно истории, что приводит меня в форменную ярость.

— Ну, это самое малое, что я могу сделать, — ответил я. — Передайте ей привет, когда увидите.

— И еще, если позволите — не могли бы вы ее навестить? Она больше года в вашем районе и...

— ...и ни разу не потрудилась связаться со мной. Это о чем-то говорит, не так ли? Хорошо, хотели бы еще о чем-нибудь порасспросить меня?

— Да. — Он театрально нагнулся вперед. Его глаза, отливающие рыбьим блеском, пересекало вертикальное отражение окна у меня за спиной. — О Боге.

— О боже!

— Сэр, вы имеете представление о последних достижениях физики и астрономии?

— Самое туманное. Видел снимки обратной стороны Луны и великолепные фотографии Юпитера и Сатурна.

— Простите, но эти материалы — общее место. Впрочем, вся наша Галактика в извечном смысле общее место. Профессор Ламберт...

Последовала долгая пауза. Бесцветные глаза моего собеседника смотрели на меня с обожанием.

— Да? — вынужден был отозваться я. Будто воскресший из мертвых Лазарь.

— На наших глазах творятся чудеса, — с какой-то болезненной откровенностью, вероятно, хорошо отрепетированной, заявил посетитель. — Физики научились разлагать материю на самые элементарные частицы. Они доходят до сердцевины, до первоосновы вещей. И тут произошло то, чего меньше всего ожидали, — они прикоснулись к Богу. Им это совершенно не нравится, но они не могут ничего сделать. Факты — упрямая вещь. Не думаю, что об этом догадываются люди, занятые, так сказать, в религиозном бизнесе. Они не знают, что их доводы в пользу существования Бога, казалось бы, оторванные от жизни, наконец-то подкреплены доказательствами.

— Все это звучит весьма увлекательно, мистер...

— Колер, сэр. Как оттенок краски.

— Так вот, мистер Колер, к какому, собственно, богу прикоснулись физики?

Мой вопрос, по-видимому, шокировал молодого человека. Его пучкообразные, хотя местами словно бы выщипанные брови приподнялись.

— Уж вам-то должно быть известно, что существует единственный Бог, наш Создатель. Творец неба и земли. Он сотворил мир в одно мгновение и с такой невероятной точностью, какую не покажут самые лучшие швейцарские часы, эта груда железок.

Я выбивал трубку в квадратную стеклянную пепельницу с отбитыми кое-где краешками и, повернувшись, смотрел в окно. Внизу орнаментального готического проема сквозь голубоватое стекло виднелась высокая трава, повыше — багрянеющие дубы на квадратном дворе, еще выше — огороженная цепями строительная площадка, где клубилась пыль (это расширялся наш сосед, исследовательский химический институт), и, наконец, осеннее небо, отяжелевшее от залитых солнцем облаков самых причудливых форм. Странное явление природы — облака: временами они кажутся гигантскими скульптурами, похожими на мускулистые мраморные изваяния Бернини в соборе Святого Петра, а временами представляют собой едва различимые клочья пара. Облака как бы существуют и одновременно не существуют. Посетитель ждал, когда я повернусь к нему, потом спросил:

— Что вы знаете о теории Большого взрыва?

— Почти ничего, — ответил я с апломбом незнайки, — если не считать, что она, вероятно, верна.

Он сделал вид, что доволен моим ответом, и, прибегнув к затасканному преподавательскому приему подстегивать плавающего студента, с воодушевлением воскликнул:

— Именно! И поверьте, сэр, ученые бьются над этой загадкой. Ведь со времен Лукреция считалось, что материя неуничтожима. Но им пришлось проглотить пилюлю, и она оказалась куда более горькой, чем они думали.

Как меня угораздило попасться на удочку этому бесцеремонному субъекту, спрашивал я себя, почему поддался его словесному напору? Ах да, Верна, вспомнил я, а за ней в облаке пахучих воспоминаний — Эдна, моя сестра, моя кровная тень.

— В связи с теорией Большого взрыва возникают три проблемы, — вещал мой собеседник, размахивая огромной ручищей, словно собирался начертить мелом на доске схему происхождения Вселенной. — Назовем их условно так: проблема однородности, проблема гладкости и проблема сжимания-разжимания. Итак, однородность, изотропность. В 1964 году было обнаружено, что фоновое микроволновое излучение с температурой три градуса по Кельвину совершенно одинаково во всех направлениях, то есть изотропно. Но Вселенная состоит из гигантского скопления галактик и гигантских пустот, отстоящих друг от друга на гигантские расстояния. Спрашивается, как могли галактики сообщаться друг с другом, чтобы достичь однородности? Это невероятно. Следовательно, изначально Вселенная не могла быть изотропной. Далее, проблема гладкости. Для образования галактик необходимо, чтобы первоначальный огненный сгусток имел неровности, чтобы он не был абсолютно гладким шаром, поскольку гладкость исключает сцепляемость. И чтобы неровности были ни на йоту больше, ни на йоту меньше. Имеются соответствующие расчеты, но я не хочу утомлять вас цифрами. И наконец, проблема сжимания-разжимания. Ну разве это не чудо, скажите на милость? Будь центробежная сила немного, на самую чуточку меньше, и за пару миллионов лет Вселенная вернулась бы в первоначальное состояние. Пара миллионов лет — пустяк по космическим меркам, всего лишь время существования рода человеческого. Если же давление изнутри было бы немного, на самую чуточку больше, не сформировались бы ни галактики, ни звезды. Моментально распалась бы, исчезла материя, ее, фигурально выражаясь, выдуло бы ветром. Вероятность того, что все произошло, как произошло, — такая же, как если бы вы взяли сверхдальнобойную винтовку и постарались попасть в дюймовую цель на другом краю Вселенной, на расстоянии двадцати миллионов световых лет. — Он поднял руку и двумя пальцами, большим и указательным, изобразил дюйм. Промежуток между ними был как прицел между парами наших глаз.

Отуманенный красноречием моего посетителя, я вяло спросил:

— Это не то же самое, что различие между открытой Вселенной и закрытой? По-моему, я недавно читал, будто ученые умы сошлись на том, что она — открытая.

— Да, они склонны так думать, но никто не знает, какое количество темного вещества содержится в галактиках и обладает ли нейтрино массой покоя. Куча спорных вопросов и расчетов... Возьмите сильное взаимодействие, связывающее ядра атомов. Будь оно на пять процентов слабее, не образовался бы дейтрон, то есть не было бы тяжелого водорода. А это означает, была бы невозможна ядерная цепная реакция. Если же сильное взаимодействие было бы на пару процентов сильнее, наблюдалось бы сцепление двух протонов. Дипротоны сделали бы водород настолько взрывчатым, что Вселенная целиком состояла бы из гелия! И в том и в другом случае нас бы с вами здесь не было. И «здесь» не было бы вообще. Ничего не было бы.

— Но если ваш Бог...

— Рассмотрим, напротив, слабое взаимодействие. Вы, разумеется, знаете, что это такое, сэр?

Вошедший в раж Дейл припомнил наконец, как ему следует обращаться ко мне.

— Оно, кажется, вызывает распад атомов? — почти наугад сказал я.

— Близко, близко к истине. Оно слабее сильного во много-много раз. Разница составляет приблизительно десять в десятой степени. Это удивительно, так как сильное взаимодействие, в сущности, само совсем слабенькое. Так вот, если бы слабое взаимодействие было еще чуточку слабее, давления совокупности нейтрино на наружные слои распадающейся звезды было бы недостаточно для ее взрыва и образования сверхновой. А без таких взрывов не произошло бы рассеяния тяжелых элементов в пространстве. Не существовали бы планеты, в том числе наша Земля, не существовали бы структуры вроде нас с вами, состоящие из углерода, кальция и железа... То же самое с массой нейтрона. Если бы она была на ноль целых девятьсот девяносто восемь тысячных меньше действительной... — Он снова сложил пальцы, оставив щелочку, сквозь которую едва просматривалась неестественная голубизна его глаз. — ...Свободные протоны посредством позитронной эмиссии распались бы на нейтроны, улавливаете? Тогда не существовали бы атомы!

Он так энергично жестикулировал своими костлявыми ручищами, что в падающем из окна свинцовом, но сверкающем свете казалось, будто какой-то заправский фокусник вытащил кролика из космической шляпы. Я глубоко вздохнул и приготовился выставить несколько напрашивающихся возражений.

Дейл нагнулся вперед. Лицо его оказалось так близко, что я словно ощутил поток фотонов, истекающий из слюны в уголках его рта.

— Теперь о Солнце... Чтобы на протяжении длительного, порядка десяти миллиардов лет, времени желтые звезды наподобие Солнца устойчиво отдавали огромное количество теплоты, необходимо равновесие между центростремительной силой тяготения и центробежной силой термоядерной реакции. Звезда как бы балансирует на острие ножа. Если гравитационная постоянная имела бы математически большее значение, тогда бы желтые звезды раздулись и превратились в голубые гиганты. Если меньшее — они сжались бы и стали красными карликами. Голубые гиганты недолговечны, и потому на них немыслимо развитие жизни. Красные карлики слишком холодны, на них жизнь совсем не может зародиться. И вообще... — академическим тоном подытожил он, — куда ни посмотреть, повсюду — упорядоченные постоянные физические величины, целая система постоянных. Они и должны быть такими, какие они есть. Без них наблюдаемый нами мир был бы совершенно непроницаем. Следовательно, нет веских причин, которые помешали бы со всей определенностью заявить: такими их создал Бог. Тот, кто сотворил небо и землю. Вот к чему приходит наука, поверьте.

— У меня нет веских причин сомневаться в вашей искренности, мистер Колер, — проговорил я, пользуясь тем, что он умолк. Дейл расслабился в кресле, а я подумал, что, несмотря на высокотемпературное словоизвержение, от которого покраснело костлявое и одутловатое лицо (результат нездоровой пищи и сухомятки), его глаза словно парили над приводимыми им данными. В них светилась радость, но вместе с тем была холодность и отстраненность. Что же нужно, чтобы они оживились, такие глаза? Я отложил трубку, взял карандаш — шестигранный, зеленого цвета, с наименованием частной школы («День паломника»), где учится мой двенадцатилетний сын, у которого я, вероятно, и стащил этот предмет ученического обихода, и уставился на графитовый кончик. — Меня в самом деле немного волнует понятие вероятности. В определенном смысле невероятно любое стечение обстоятельств. Крайне маловероятно, например, что один-единственный сперматозоид из миллиона собратьев, которые в тот день низвергнул мой папаша (тот, кто бросил мою мать и меня, менял одно место работы на другое, но все в средних эшелонах среднезападного страхового бизнеса, тот, чье понимание дружеской беседы сводилось к пересказу очередного скабрезного анекдота, услышанного утром в парикмахерской, тот, кто душился одеколоном и носил запонки и кто до самой смерти от закупорки вен неоправданно считался свойским парнем, — откуда только он такой взялся? и где набрался своих дурацких штучек?), добрался до яйцеклетки моей матери, в результате чего получилось определенное сочетание генов. Правда, некоторые подобные сочетания при вашей молодости, сегодняшних взглядах на контроль над рождаемостью и всем прочем вполне предсказуемы, и мое сочетание так же вероятно, как любое другое, — или нет?

— Неплохо, совсем неплохо, — имел наглость похвалить мою реплику визитер, — если не считать, что дети все равно рождаются, но нам известна только одна Вселенная. Вот чего не желают видеть ученые. Им застит глаза атеистический материализм. Вместо того чтобы признать очевидное, признать, что условия для возникновения Вселенной и все физические постоянные — плод умственной деятельности некоего высшего целеустремленного Интеллекта, они придумывают вздорные теории вроде идиотской идеи множественности миров. По этой теории выходит, что только в нашей Вселенной сложились условия для зарождения разумной жизни. Некоторые, те, что похитрее, не осмеливаются прямо утверждать, будто где-то — неизвестно где — образуются и распадаются Вселенные, только мы их не видим. Такие говорят, что раз мы существуем и наблюдаем, то Вселенная должна быть такой-то и такой-то. Они думают, что решили проблему, но это все равно что сказать: «На Земле есть вода и кислород, потому что на ней живем мы». Это — антропоцентристская точка зрения, и она уводит от сути дела. Другое направление ублюдочной космологии исходит из принципа неопределенности квантовой теории. Тут такая картина. Когда электрон сталкивается с протоном, ударная волна распространяется во все стороны, налево и направо. Если же эксперимент показывает, что частица пошла направо, левая часть волны гаснет. Куда же она девается? Согласно этим умникам, она убегает в другую Вселенную, как и сам наблюдатель, и его изображение, и его приборы, и комната, где он находился, и здание и так далее до бесконечности. Больше того — надо же договориться до такого бреда! — деление и расщепление ядер, тел и систем наблюдается вообще без наблюдателя. Это случается всякий раз, когда происходит квантовый переход, и всюду, на любой звезде, Вселенная раскалывается надвое, потом еще надвое, затем снова и снова до бесконечности. Как говорится, хочешь — верь, хочешь — не верь, поди проверь. Чтобы обойти эти острые вопросы, острые, если не признавать, что единственная созидающая сила — это Бог, один умник предложил считать, что в какие-то непредставимо малые доли первой секунды Большого взрыва под действием некоей антигравитационной силы, которую никто и нигде не наблюдал, Вселенная стала быстро расширяться. Первоначально ее диаметр был меньше кончика вашего карандаша, теперь он мгновенно умножается, от десяти до пятидесяти раз, пока она не вернулась в состояние нормального расширения. По этой гипотезе вместо множества Вселенных мы имеем одну, зато громаднейшую. Наш мир от Земли до квазаров на расстоянии десяти миллиардов световых лет от нас является лишь крохотной ее частью — впрямь пинг-понговый мячик на стадионе. И эти умники еще упрекают верующих в том, что те игнорируют научные данные! Но им не уйти от фактов. Факты — упрямая вещь. Поэтому они и извиваются как черви.

Он произнес это едва ли не со злорадством, не по-христиански.

— Я полагаю, что главная проблема попыток соотнести наблюдаемый космос с традиционными верованиями заключается в их удручающей экстравагантности, — заметил я. — Если Всевышний хотел, как утверждает Книга Бытия и утверждаете вы, хотел сделать мир театром, где играет человек, то зачем он сотворил его таким чудовищно огромным, бурным и разрушительным? Нам вполне хватило бы Солнечной системы и видимой россыпи звезд. Вдобавок еще вся наша Галактика и другие галактики.

Кончик моего карандаша, во много раз превышающий Вселенную при ее зарождении, слегка поблескивал. Если присмотреться, то на графите можно было разглядеть сточенные грани и крапинки угля на них. С восьмилетнего возраста, когда семейный офтальмолог похвалил меня за то, что читаю самую нижнюю строку его таблицы, острота зрения была предметом моей невинной гордости, чему не помешали даже очки для чтения, приобретенные семь лет назад.

— Да, это поразительно, я знаю, — согласился мой гость, неожиданно впав в раздражающую безмятежность и благодушие. — Это как демонстрация. Демонстрация того, что мы вкладываем в понятие «бесконечность». Чтобы не твердили мы везде «бесконечно величие Его». В конечном итоге наука — всего лишь цифры, измерение. Но есть вещи, которые нельзя измерить. Нельзя, например, измерить себя или...

— Вы хотели сказать — любовь?

— Разве хотел?

— Хотели, хотели, мистер Колер. Я имею дело с вашей возрастной группой с тех пор, как оставил приход, защитил диссертацию, стал доктором богословия и получил здесь профессорскую ставку. Все вы с ума сходите от любви. Может быть, скорее от мыслей о ней, поскольку настоящая любовь — роза с шипами...

— Сэр, я, вероятно, старше, чем та возрастная группа, которую вы имеете в виду. Мне уже двадцать восемь. Сам я из Акрона. В Кейс-Уэстерн получил диплом бакалавра-программиста, а потом, чтобы прочистить мозги, целый год прослужил пожарным в горах на реке Салмон в Айдахо. Затем перебрался на восток, поступил в аспирантуру, работаю в рамках различных компьютерных проектов.

— Так вы, значит, не физик?

— Нет, не физик. Я занялся космологией в связи с моими личными взглядами. Физики — им только цифры подавай. А до сути дела своим умом приходится доходить. Настоящие ученые — Картер, Хокинг, стоит, наверное, и Хойла включить — все они работают в Англии. А мы, американцы, чего хотим? Ни больше ни меньше как ВВТ — Великой Всеобъемлющей теории. А это — опять-таки сплошные цифры. Поймите меня правильно. Я стараюсь быть доброжелательным. Но атеисты жутко самодовольны и самоуверенны, они не подозревают, что у людей иных взглядов могут быть свои доводы.

Он развалился в кресле, протянув длинные ноги ко мне под стол.

— Двадцать восемь — это такой возраст, когда многие снова обращаются к религии.

— Я никогда от нее не отворачивался, — отрезал мой собеседник. Я давно заметил, что набожные люди допускают такую резкость суждений, которую в устах других сами сочли бы за грубость. — Я остался таким, каким меня вырастили. Мои папа и мама так мало дали мне в интеллектуальном отношении, что я не мог позволить себе отрекаться от чего бы то ни было. Перегородки у нас в доме были тонкие, и я часто слышал, как они вместе молились. — Зачем я рассказываю ему это? — Я видел, что молодой человек спрашивает себя об этом. Руки его начали двигаться, как бы готовясь к контратаке. — То, что вы и ваши коллеги именуете религией, правильнее было бы назвать социологией. Ведь именно так вы преподаете свой предмет, верно? Все, о чем говорится в Ветхом завете и в «Золотой ветви», у Мартина Лютера и Мартина Лютера Кинга, — все это происходило, было реальными историческими фактами. Древние тексты, антропология по-человечески интересны, это ясно. Но они безобидны, безопасны. Тут никогда не ошибешься. И вместе с тем даже самый закоснелый атеист не станет отрицать, что людям вообще присуще религиозное чувство. Иначе зачем они строили храмы? Зачем создавали обряды, разрабатывали системы запретов? Конечно, нормальный атеист скажет, что все это — поэтические выдумки, приятное заблуждение, как и многие другие стороны человеческой истории, в сущности, все ее стороны, если принять во внимание, что человек смертен, а при жизни почти все свои усилия тратит на то, чтобы накормить себя, жить в теплом жилище и... как бы это лучше выразиться?..

— ...производить на свет себе подобных? — подсказал я.

— Вот именно. — Он наклонился еще больше. — Перед приходом к вам я заглянул в программы вашего факультета. Предметы, которые здесь преподают, — ни к чему не обязывающие общие места культурной истории человечества. Я же пришел побеседовать с вами о Боге как о факте, факте, который вот-вот свершится в силу порядка вещей.

— Приму к сведению вашу точку зрения, — сказал я, положив на стол карандаш и незаметно глянув на часы: на три был назначен мой двухчасовой семинар, посвященный ересям, которые впоследствии осудил Никейский Вселенский собор. Сегодня нам предстояло заняться Маркионом, первым выдающимся еретиком. Этот человек довольно аргументировано утверждал, что Бог в Ветхом завете и Бог в Новом завете — это разные боги. Идея двоебожия вылилась в течение гностиков и предвосхитила манихейство. Маркион облил презрением древнееврейского Бога-творца, который сотворил зло и сделал своими любимчиками распутных мошенников вроде царя Давида. На ветхозаветного Бога, этого нерешительного невежду, была возложена вина за унизительный и болезненный процесс совокупления, беременности и деторождения — размышление на эту тему вызывало у Маркиона отвращение. Надо заметить, что он приводил убедительные доводы. — Как бы то ни было, — произнес я спокойно, — чем я могу быть вам полезен, мистер Колер?

На бледном нездоровом лице моего посетителя проступила краска волнения.

— Могу ли я рассчитывать, сэр, — проговорил он так тихо, что мне пришлось напрячь слух, — на получение гранта? Заинтересован ли факультет богословия в том, чтобы я продолжил разработку темы нашей беседы? Ну, как бы систематизировал свидетельства, которые доказывают, что Бог действительно существует.

— М-м... которые заслуживают того, чтобы их доказывали, скажем так... Вы очень внимательно изучили наши учебные программы, но я сильно сомневаюсь, что у нас найдется хоть один лишний цент. Да, мы чувствуем себя комфортно, как вы изволили намекнуть. Мы учим, что так называемые религии на самом деле существовали, и преподаем эфиопский и арамейский языки фанатичным приверженцам древности.

— Не обижайтесь, сэр, пожалуйста. Я же не знаю, во что веруете лично вы.

— Во многое, так мне кажется. И хотя прошло уже четырнадцать лет с тех пор, как я покинул свой приход, я остаюсь посвященным в сан священником, причем с хорошей, как говорится, репутацией. Кроме того, должен сообщить, что через семнадцать минут у меня начинается семинар.

— Доктор Ламберт, неужели вы остались равнодушны к тому, что я пытался сказать? Грядет Господь! В течение нескольких столетий человечество соскребало с физической реальности слой за слоем. Остался один, тончайший слой, еще одно, последнее усилие, и Бог посмотрит на нас оттуда оком своим!

— Страшновато, честно говоря, звучит. Будто кто-то смотрит на нас сквозь матовое стекло двери в ванную. Или... — из кладовых памяти выплыл образ, который много месяцев тревожил мне душу, — как тот бедняга-матрос из команды Франклина, которого прошлым летом нашли в Канаде. Он замерз в глыбе льда, превосходно сохранился и, похоже, смотрел на нас.

Колер подался вперед, прыщавый подбородок его перекосился, как бы под действием силы убеждения.

— Если Бог действительно создал Вселенную, то рано или поздно Он должен явиться, показаться нам на глаза. Он не может вечно скрывать свой лик.

— Если Он всемогущ, то в его силах никогда не являться нам. И знаете что — я вовсе не уверен, что ваша попытка смешать факт существования Бога с множеством других, земных фактов не отдает ересью.

— Вы начинаете язвить — знаете почему?

— А) Разве? Б) Ничуть.

— Потому что вы напуганы. Вы не хотите, чтобы Бог пришел к нам. Люди вообще этого не хотят. Им во что бы то ни стало надо оставаться просто недалекими низкими человеками, которые проводят выходные дни с банкой пива. А Бог — пусть сидит себе в церкви, глядишь, они и туда заглянут, и, может быть, Он придет к ним на помощь при последнем издыхании и выведет их на стезю света. Об этом свете постоянно говорят те, кто был при смерти, вспоминают, как Он явился им. Конечно, если бы не современное медицинское оборудование, никакой врач не вытащил бы умирающего из могилы... Впрочем, не буду тратить даром оставшиеся семнадцать минут.

— Уже двенадцать. Вернее, десять, потому что я должен заглянуть в свои заметки.

Я придвинул к себе лежащие на столе листки и прочитал про себя: Маркион отлучен, Рим, 144 г. Тертуллиан критикует М-на, ок. 207. Посетитель действовал мне на нервы.

— Разве я не прав, сэр? — продолжал он гнуть свое. — Вы приходите в ужас при мысли, что существование Бога можно доказать научным путем!

— Если я и прихожу в ужас, то от того, с каким невозмутимым видом вы богохульствуете.

— Почему богохульствую? Неужели богохульство — предположить, что Бог — это реальный факт.

— Да, факт, но факт нашей духовной жизни...

— Как виртуальная частица? Как струйка нагретого воздуха?

Я вздохнул и в душе пожелал ему провалиться. Паутина предположений относительно непостижимого и недостижимого, которую он плел, напомнила мне о моих мертвых, тех, что давали мне хлеб насущный, о тех покрытых дымкой времени мрачных столетий нечестивых анахоретах и неукротимых пастырях — оттенки их верований волнами катились тогда взад-вперед между Афинами и Испанией, между Гиппоном в древней Нумидии и Эдессой в древнем Двуречье. Одни утверждали, что Бог-Отец и Бог-Сын единосущны, другие же — что Бог-Сын только подобие Бога-Отца. Третьи выстраивали доктрину Логоса, снова отождествлявшую Логос с Богом-Отцом. Им возражали четвертые, полагавшие, что Логос — это Бог-Сын — земное воплощение Бога-Отца, глас Божий. Пятые... Все эти яростные споры, мученические попытки освежевать, распотрошить, рассмотреть божественную сущность — теперь всего лишь мертвый прах, как и люди, в них веровавшие.

— Христианская церковь учит... — начал было я, но перебил себя вопросом: — Вы считаете себя христианином?

— Абсолютно. Иисус Христос — мой Спаситель.

Пыл, с каким он произнес это, не моргнув своими ледяными глазами, был невыносим. Такие банальности в наших местах писали в свое время на стенах амбаров и вышивали на подушечках-думках.

— Церковь проповедует веру в Бога, Который совершает деяния и является нам в откровении и искуплении — подробнее о Нем можно прочитать в Ветхом завете, — а не в того, кто пустил в ход Вселенную, а потом скрылся из глаз. На нашем факультете заняты живым Богом, Который приходит к людям по воле Своей и по любви Своей и Который смеется над громадными нелепыми сооружениями, воздвигаемыми для поклонения Ему.

Я чувствовал, что повторяю Барта. На периферии памяти возникла точная цитата. Где он это писал? Под пиджаком у меня был надет кашемировый свитер с треугольным вырезом на груди, купленный под прошлогоднее Рождество на Бермудах («Цвет — верблюжий», — гласила этикетка, позабавившая Эстер, которая называла мою академическую специальность Учением Отцов в Пустыне), и мне вдруг стало жарко, меня бросило в пот. Кажется, я перестарался. Я давно сгреб в одну кучу все, во что веровал, и похоронил для пущей сохранности.

— Я знаю, знаю, — живо и заинтересованно откликнулся мой инквизитор, отнюдь, правда, не потрясенный моей проповедью. — И все же, если Он, как вы полагаете, совершает деяния, если Он представляет собой некую динамическую силу, то есть каким-то образом существует, то комплексное физическое исследование Вселенной, которого нам так не хватает в последние десятилетия, не может не обнаружить Его присутствие! Это все, что я утверждаю. Мы близки к цели, профессор Ламберт, однако наука, которая слишком долгое время была пропитана атеизмом, не желает этого признавать. Нужен такой человек, как я, который готов собрать все данные и прогнать их через компьютер. Компьютер, в сущности, несложное устройство, но простые задачи он решает с огромной скоростью...

— Это натяжка, упрощение, — прервал я его, — считать, что все ученые были атеистами. Эддингот таковым не был, а Ньютон, как известно, проявлял особое рвение в вопросах веры. Паскаль, Лейбниц, Эйнштейн рассуждали о Боге отнюдь не за игрой в кости.

— Ну конечно, исключения были. Но в большинстве своем... Я, в отличие от вас, едва ли не каждый день общаюсь с этим народом. Для них идея чего бы то ни было, что не является материей, абсурдна. Они гонят ее прочь. Я вижу, вам пора идти, но еще минутку, пожалуйста. Около пятидесяти лет назад физик Пол Дирак был поражен повторяемостью числа десять в сороковой степени. Квадрат этого числа, десять в восьмидесятой степени, — это масса видимой части Вселенной, выраженная через массу протона. Само это число, десять в сороковой степени, представляет собой нынешний возраст Вселенной, выраженный в единицах. И, заметьте, постоянная, которая характеризует силу земного притяжения, выраженную через силу притяжения двух протонов, показывает, что земное притяжение слабее в десять в сороковой степени раз! Кроме того, десять в сороковой степени приблизительно равняется количеству звезд в Галактике, количеству галактик во Вселенной и обратно пропорционально... И если вы...

— Может быть, вам лучше приберечь эти данные для своего компьютера?

— Значит, вы даете зеленый свет моему проекту?

— Ни в коем случае. Не в моей компетенции давать вам какой бы то ни было свет. Если вы претендуете на специальный исследовательский грант нашего факультета, который, должен заметить, функционирует на весьма скромные пожертвования, поскольку священнослужители — не самый состоятельный класс среди наших выпускников, хотя многие рассчитывают на благотворительность с их стороны, — повторяю, если вы хотите получить грант, то для этого существует определенная процедура. Внизу, в канцелярии, вы можете взять соответствующие бланки. Добавлю, что представителем комиссии по грантам является приятный и покладистый джентльмен, его зовут Джесс Клоссон. Что касается меня, то, признаюсь, нахожу вашу идею совершенно неприемлемой как с эстетической точки зрения, так и с этической. С эстетической — потому что она предлагает такого бога, который дает заманить себя в интеллектуальную ловушку. С этической — потому что она выхолащивает религию, отнимает веру, лишает нас свободы веровать или сомневаться. Бог, существование которого можно доказать, — бессодержательная, неинтересная, заурядная фигура. Можно представлять Бога каким угодно, но только не заурядным.

— Но какое это будет утешение, сэр, тем, кто хочет веровать, но не осмеливается, так как находится под сильнейшим интеллектуальным давлением безбожников. Подумайте о том, какое успокоение будет для тех, кто испытывает боль и беду, кто хочет молиться!

— Никакие разумные соображения не способны остановить отчаявшегося человека сделать то, что он задумал.

Мое замечание удивило Колера. Брови и веки у него поползли наверх, а глаза засветились, став похожими на две крошечные комнатушки, где со стуком подняли жалюзи.

— Прошу прощения, сэр, но я не убежден, что вы правы. Люди стараются быть в курсе новейших достижений — посмотрите, например, на научные рубрики в газетах или познавательные передачи общественных телеканалов. Вы говорили о выхолащивании религии. Но я и такие, как я, — мы не пытаемся доказать, что Иисус Христос — воплощение Бога на Земле, мы молчим о Троице. Нашу идею равно воспримут христианин и иудаист. Правая рука у Фреда Хойла — сингалец Чандра Викрамасингх. Нет, мы оставляем простор для веры и обрядов. Я хочу сказать, что мы открываем первооснову вещей. Любой может строить на ней что угодно. Неизбежно сохраняются различные вероисповедания. Однако необходимо помнить, что первые христиане считали веру не вечной добродетелью, но лишь средством объединения. Потом Иисус Христос восстал из гроба, объявил о грядущем царстве Божием, и все стало на свои места. Святой Павел и прочие вообще не мыслили земной жизни после своей смерти.

— Ну, это еще вопрос, что именно мыслили мученики и что конкретно они видели. Но я должен идти, мистер Колер, меня ждет аудитория. Я скажу...

Увидев проблеск света, он кинулся в пролом:

— Да-да, сэр?

— Впрочем, я, кажется, ничего не должен говорить, — закончил я. Внутренний голос подсказывал, что мой многообещающий и одновременно заискивающий тон втягивает меня в некий тайный сговор с этим самонадеянным бледнолицым субъектом. Зачем мне это? Было бы любопытно полистать для разнообразия не только работы по феминистскому богословию или афро-американскому течению в христианстве. Или те жалкие дипломы и диссертации об «уличной религии», которые мало чем отличаются от цыганских гаданий и вообще предрассудков и примет насчет номеров на автомобилях и вагонах метро.

— Если вы все-таки надумаете подавать заявление, можете устно сказать, что беседовали со мной и что я нахожу ваши идеи и данные — м-м, как бы это выразиться?..

— Захватывающими?

— Увлекательными.

Я снова заглянул в свои записи. Маркион: более радикальный Павел. Галаты. Обрезание. Иудаизм: закон, замкнутость. Маркионова христология, поучительность, порядочность. Что все это значит?

У меня появилось дурманящее, давящее ощущение полной невежественности, как у путешественника, который приехал в чужую страну и забыл ее язык.

— Компенсировать затраченное время — вот, собственно, все, что мне нужно. — Мой молодой посетитель поднялся и спешил договорить. — А работать я буду на компьютере в моей лаборатории. Никто и не заметит. Как мне это сформулировать?

— Просто скажите, что будете грабить богатых в пользу бедных. Передайте привет Верне. Спросите, не хочет ли она, чтобы дядя что-нибудь для нее сделал.

— Да нет, она ничего от вас не хочет. А вы не такой крутой, как она рассказывала.

— Крутой? Так вот каким она меня считает? В таком случае нам с ней следует объясниться. Чтобы она не думала, что у нее плохой дядя.

Мы простились без рукопожатия. Он стоял, напряженно полусогнувшись, чтобы быстро пожать мне руку, если моя рука сделает соответствующее движение. Поскольку такого не последовало (американская жизнь и без того изобилует рукопожатиями и пустыми пожеланиями абсолютно незнакомым людям «доброго дня», «приятных выходных», «веселого праздника», «спокойной ночи»), он обвел взглядом стены, заставленные книгами: результаты исследования средневековья и сакральности, темные толстые тома немцев в твердых переплетах и яркие веселенькие галльские книжки в мягких обложках, единообразные комплекты теологических текстов, похожие на ряды обрубленных органных труб. Из книг частыми гребешками торчали помятые полоски бумаги — закладки, указывающие на соответствующую страницу, и полки словно пенились, как пенятся ряды кустов у синтоистских храмов в Японии от привязанных к ним бумажек с молитвами или Стена плача, расщелины которой утыканы молельными записочками. За сводчатыми окнами хмурились небеса, серенький осенний свет едва проникал под непомерно высокие потолки моего кабинета; посреди книг и потрепанных закладок мы с Дейлом, «души», по определению гностиков, черепки расколовшегося разума Божьего, казались только что выпущенными из заточения темнеющих глубин материи и стояли растерянные перед нескончаемыми этажами полок, перед сонмом ангелов с их запутанной иерархией почти неразличимых степеней и ступеней, какими двадцать столетий назад популярный общедоступный гностицизм беспорядочно и непонятно зачем уснастил свой вытекающий из здравого смысла дуализм. (Нет в религиозном побуждении ничего более странного, чем страсть к усложнению и нагромождению частей, которая делает уродливыми большинство культовых сооружений и почти комическими — все существующие вероисповедания.) Нас с Дейлом словно понесло в неизведанные пространства бытия.

— Желаю удачи, — сказал я.

— Будем держать связь, — отозвался он полувопросительно.

Вряд ли, подумал я, и не надейся. Мысли мои устремились к предстоящей лекции и ее неизменному заключению: Маркион является мощной отрицательной фигурой в истории ранней христианской церкви. Образ его складывается из трудов других людей, из антимаркионских трактатов Тертуллиана, Иренея, Эпифания. То тут, то там возникали маркионистские церкви, иные просуществовали в Сирии до седьмого века. Трудно постигнуть привлекательность его учения. Он требовал запретить брак. Отрицал идею земного воплощения Бога. Интересно, однако, что именно он оставил своим последователям первый новозаветный сборник, включавший десять сильно отредактированных посланий Павла, и Евангелие, близкое к Евангелию от Луки. Эта компилятивная работа побудила Валентина, Юстина Мученика и Татиана сложить ортодоксальный канон Нового завета с кучей кричащих противоречий, в блаженном неведении оставленных ими. Главный пункт: в противовес Маркиону Рим все больше замыкался в догме и укреплял свой авторитет. Ни единого Маркионова слова до нас не дошло, и тем не менее он продолжает привлекать умы: взять хотя бы два исполненных чувством тома Харнака. Пауль Тиллих усматривает влияние маркионизма в разоблачительной строгости Карла Барта, этого негодника и, признаюсь, моего любимца.

В аудитории наверняка будут хихикать. В моем семинаре, где преобладали свободомыслящие унитарии и квакеры, мало-помалу отпавшие от веры отцов, имя Барта щекотало нервы и приятно возбуждало — как волнует учеников начальной школы упоминание о сексе. В начале учебного года студенты еще не зачерствели душой и живо отзываются на любое заигрывание со стороны преподавателей. Мрачный седеющий «проф» приподнимает власяницу, чтобы показать заплывший жирком животик, — каково зрелище, а?

Я знал, что меня ожидает в ближайшие часы и минуты, но вдруг в это знание вошло непрошеное видение тех же часов и минут у Дейла. Настал один из тех загадочных моментов, какими полна жизнь, — например, тупое ощущение огромности собственного тела, когда встаешь после долгого сидения, или череда пестрых пустых картинок, которые видишь внутренним зрением, засыпая, — и мой мозг, освободившись от телесной оболочки, последовал за Дейлом Колером, по пути проникаясь его самочувствием. Вот Дейл проходит по нашему длинному коридору, на полу линолеум шоколадного цвета, а по стенам — двери с матовым стеклом, открывающиеся в аудитории. Вот он подходит к широкой дубовой лестнице и спускается на площадку под высоким и узким, как прорезь, окном с ромбовидными стеклами, оправленным в тесаный гранит. Вот он идет, шурша своей камуфляжной курткой, по главному коридору на первом этаже и слышит, как из некоторых аудиторий доносится громкий смех, в других стоит гробовая тишина. Стены испещрены остатками старых плакатов, обрезками скотча, обрывками ксерокопий. Состязаясь с потоком сообщений, недавно вывешенная доска объявлений зовет на собрания против загрязнения окружающей среды в Мэне и военного вмешательства в Центральной Америке, в дискуссионные клубы для обсуждения проблем «Богоженщины» и «Что мы знаем о голоде?». Чувствуя облегчение от того, что встреча со мной, «монстром Ламбертом», позади, он направляется в канцелярию, где в лабиринте низких перегородок стоит множество столов, — туда он уже заглядывал, чтобы справиться, как меня найти. Он снова обращается к секретарю, миниатюрной черной девице, — волосы у нее уложены правильными колечками, будто зерна в кукурузном початке. Зовут ее Норин Дэвис, но он этого не знает. Растянутые в улыбке губы, покрашенные огненно-красной помадой, словно пылали на бледно-коричневом, с лиловатым отливом лице. Грим довершали серовато-фиалковые румяна на щеках и подведенные таким же карандашом глаза. Дейл чувствует легкое возбуждение (я не представляю его гомосексуалистом), но с огорчением понимает, что улыбка предназначена не ему, а вызвана какой-то шуткой, отголоски которой повисли в этой большой комнате, где все — лысый мужчина за столом у стены, кудрявая женщина, разбирающая папки с бумагами, и остальные сотрудники — тоже мило улыбаются, дожидаясь его ухода.

Наступит день, думает Дейл, когда эта чернокожая девица будет заново переживать эти замечательные мгновения, будет с радостью вспоминать его застенчивость и бедное платье, его прыщи и растерянный вид, ибо в ближайшие годы ей предстоит жить в мире, который он откроет и о котором провозвестит, в мире Явленного Бога, чьи неуловимые черты примут единственно верную форму очевидности. Она улыбается чуть-чуть насмешливо и вместе с тем как бы приглашая робкого посетителя также улыбнуться, и подает ему бланк заявления, а он видит их обоих заключенными, словно две гипсовые фигурки в стеклянном шаре, в это будущее, в откровение, которое он принесет.

Тут мои мысли потекли в обратном направлении. Картинка переменилась: он возвращается по коридору, поднимается по лестнице, подходит к моему кабинету, открывает дверь, и я вижу себя, каким он должен был видеть меня: седина, серый пиджак, очки для близоруких, поблескивающие двумя отражениями, и небо позади, где столпились слепящие свинцом серенькие облачка. Серебро, растворенное в серебре, — это я, незаметная дверца, за которой перед ним расстилается дорога к деньгам и, если его идеи окажутся верными, к бессмертию.

## 

## 2

Сгущались сумерки. После семинара и беседы с одной из моих подопечных я шел домой, и мне казалось, будто я иду по стопам Дейла Колера. Выйдя из Дома Хукера — так называется главное здание нашего факультета (Томас Хукер — это, разумеется, тот выдающийся пуританский проповедник, который придерживался не вполне ортодоксальных взглядов на крещение и внутреннюю подготовку к вечному блаженству, за что и был выслан из Массачусетса в дикие леса Коннектикута), — он должен был пройти по этим самым улицам, какими хожу и я, улицам моего района. Обитаю я в трех тенистых кварталах от места работы, на довольно уединенной маленькой улочке, — аллее Мелвина, где постоянно повышается стоимость жилья. Тротуары у нас кирпичные, но местами выложены плиточным сланцем, причем плитки изящно приподнимаются под напором разрастающихся древесных корней. Кроны над головой в этот предвечерний час особенно свежие, то темнеющие, то яркие в лучах уличных фонарей, этих островков света в волнующемся море листвы. Дома в нашем районе большие, деревянные, многие огорожены восьмифутовыми деревянными заборами, но все как один стоят на жалких клочках земли, составляющих десятые, а то и сотые доли тех обширных участков где-нибудь в пригороде, которые под стать амбициям и размаху их хозяев, под стать портикам с колоннами и сводчатым окнам, многочисленным мансардам, замысловатым дымоходам и пряничным карнизам. Наши узкие дворики заполняют старые буки, клены, дубы; их ветви цепляются за телефонные провода и перила на верхних верандах. Сейчас, в конце октября, мокрые распластанные листья покрывали тротуары роскошными парчовыми узорами.

Беседу буквально навязала мне чрезвычайно серьезная и весьма непривлекательная молодая особа, будущий магистр богословия, которая внесла в свою диссертацию («Елена и Моника — две женщины раннехристианской церкви») столько жгучих вопросов современного секса, что стоило немалого труда и такта делать замечания и давать советы. Я брел под золотом буков и ржавчиной дубов, и из головы у меня не выходило лицо будущего магистра богословия — какое-то квадратное, ослиное, с бесцветной, отвлекающей внимание бородавкой под левой ноздрей. И ее робкие, однако в то же время решительные возражения, постоянно срывающиеся с губ, тоже бесцветных...

Под ногами на ковре света между тенями двух деревьев я заметил покоробившийся бледно-розовый кленовый лист, а на нем, как в человеческой горсти, — грудку буковых листьев и подумал, что тремя часами раньше этот лист видел незваный пришелец с восковым лицом.

На нашей улице обитают в основном преподаватели факультета, состарившиеся девы — дочери покойных профессоров античной словесности и художеств, хилые отпрыски богатых семейств, так давно сколотивших свое состояние, что для потомков деньги стали пустой абстракцией, всего лишь колонками цифр на бумаге. От наших кварталов веет пьянящим духом жантильности[[1]](#footnote-1) и умиротворения, внушающим уверенность, что лучшего места на свете нет и быть не может. Этот дух притягивает молодого человека, убаюкивает его, и по книгам, лампам, безделушкам, которые видны сквозь шторы, он пытается представить себе образ и вкус нашей жизни и завидует нашему имуществу. Может быть, Дейл направился не домой, а решил навестить мою беспутную племянницу Верну, которая с полуторагодовалой дочкой живет в какой-то похожей на тюрьму новостройке. Решетки на окнах нижних этажей. Похабные рисунки и надписи в подъездах. Громыхающие металлические лестницы. Верна открывает дверь и безо всякого энтузиазма бросает: «Привет». Она знает Дейла, знает, что он может и чего не может. (Есть вероятность, что он голубой.) Но делает вид, что рада ему. Они говорят обо мне и о том, как я реагировал на его намерение доказать с помощью компьютера существование Бога. Я слышу, как она говорит что-то вроде: «Дядя Роджер всегда был вредным занудой. Ты бы послушал, что о нем мамка говорила». Голос у нее по-детски скрипучий, интонация хитроватая. И такое же, как у Эдны, бледное, мягкое, тестообразное тело, способное разнести свой острый запах по всему дому. Светло-коричневая Вернина малышка ковыляет на маленьких ножках с шишковатыми коленками и, тыча в Дейла пальцем, повторяет односложное «па, па», пока ее мать не закричит: «Да не па это, не па, чертовка!» — и привычным жестом не шлепнет больно бедного ребенка. Дейлу, невольному свидетелю родительской жестокости, становится неловко, ему не терпится сбежать в свой Куб.

Что за абсурдная самонадеянность — вычислить Бога из данных физики больших энергий и космологической теории Большого взрыва. Теология обжигается всякий раз, соприкасаясь с точной наукой. Астрономия в шестнадцатом веке, микробиология в семнадцатом, геология и палеонтология в восемнадцатом, дарвинизм в девятнадцатом настолько расширили картину мира, что церковникам срочно пришлось искать убежище в еще более укромных уголках, в темных пещерах психики, откуда их теперь жестоко гонит неврология, вымаривает из мозговых извилин, как мокрицу из штабеля бревен. Прав был Барт: totaliter aliter — все переменилось.

Единственное безопасное для Бога место — по ту сторону человеческого понимания. Туда и помещают Бога. Бонхеффер назвал это позитивизмом откровения. Все остальное — убогое умствование, толчение воды в ступе, сбивка сыра из ничего, как выразился Оливер Уэнделл Холмс-младший, член Верховного суда, который оставил все свое земное имущество правительству Соединенных Штатов. Самое скорбное завещание, какое только мог составить человек в здравом уме.

В полутьме я разглядел, что мне навстречу, припадая на одну ногу, семенит соседка, миссис Элликотт, со своим маленьким тибетским терьером на длинном красном поводке. Светло-желтая шерсть закрывала собачке глаза и спадала так низко, что казалось, вместо ног она движется на колесиках, словно игрушка. Песик суетливо обнюхивал основания деревьев и столбов, выискивая местечко, достойное того, чтобы помочиться.

— Добрый вечер, профессор, — прокаркала старая дама. В цвете лет у нее была редкая страсть — доводить своих мужей до самоубийства. По меньшей мере двое наложили на себя руки, оставив безутешной вдове недвижимость со всем содержимым, и теперь ее имущество напоминает пласты осадочной породы, спрессованные временем и переменами в экономике, которые произошли за два-три последних десятилетия. — Неважные перспективы у наших, — добавила она.

До меня едва дошло, что она имеет в виду предстоящие выборы. Я-то ожидал, что она заведет разговор о погоде, и невпопад отозвался:

— Да, не слишком жарко.

Как большинство других обитателей округа, миссис Элликотт была радикальной либералкой и изо всех сил боролась за то, чтобы у нее отняли ее состояние. Но усилия старой дамы пропадали даром, состояние не отнимали.

— Ужасно, правда? — воскликнула она вдогонку мне, внезапно пришпиленная к покоробившемуся тротуару, поскольку собачонка облюбовала наконец-то местечко, уже потемневшее от частого употребления, чтобы пустить золотистую струйку.

Я надеялся, что почтенная дама припишет мое замечание изъяну собственного слуха. Правда, эти брамины-богатеи так закоснели в собственной бестактности, что вряд ли замечают бестактность со стороны других.

Впереди замаячил мой дом, показался зовущий теплый свет в окнах. Я свернул на тисовую аллею и с довольным хозяйским покряхтыванием подобрал рекламные проспекты с кирпичной дорожки и полукруглого крыльца с четырьмя коническими колоннами и искусно вырезанными волнистыми поясками на них.

Я любил свой дом, построенный в начале нашего стареющего столетия, когда трудящиеся классы и рабочая этика шагали рука об руку и когда был недорог квалифицированный труд, о чем свидетельствует масса милых деталей — взять хотя бы изящные высокие решетчатые окна. Нагнувшись к одному из них, чтобы при свете из фунтовой груды металла, которую в наши коварные дни приходится таскать в кармане, выбрать ключ от парадной двери, я увидел свою жену, ее худенькую невысокую фигуру и зачесанную наверх копну рыжих волос — сутулясь, она сосредоточенно несла в руке из гостиной в столовую бокал багровой жидкости, то ли крови, то ли бургундского.

Меня всегда тянуло подсматривать, даже без дурных намерений, за людьми, не подозревающими, что за ними наблюдают. Отчетливо помню в дни моего служения залитые светом окна моих прихожан, когда я в своем черном, как у грабителей, одеянии, крадучись подходил по дорожке к дому, чтобы нагрянуть с неожиданным визитом и напомнить о заветах Вседержителя.

Окна моего дома — что глаза человека — ясные, добрые, беззащитные, а округлости спинок дивана, кресла и абажура торшера — что извивы его внутренних органов. Я смотрел на Эстер как бы со стороны и видел желанную добычу, которую можно взять силой, осквернить чужую жену, передать ее мужу послание, закодированное в твоей сперме. Губы ее беззвучно шевелились, очевидно, она выговаривала нашему сыну, который, должно быть, сидел в кухне и на столе, за которым через час мы будем есть, делал уроки. В распоряжении Ричи были гостиная, библиотека, его собственная спальня немалых размеров, однако он предпочитал заниматься здесь, где его мать расставит тарелки и разложит салфетки, где у самой головы бормочет и поет крохотный «сони». Я этого не понимаю. Вернее, я так говорил во время неоднократных наставлений сыну, потому что в душе объяснял это пережитком примитивной тяги к домашнему очагу. Телевизор с его неотразимой притягательной силой, с его дурным очарованием — подобие пламени. Входя в комнату, мы машинально включаем «ящик», и на экране явственнее, чем неопалимая купина, появляется говорящее лицо. По сравнению с кухонным теплом и толкотней остальной дом действительно кажется пустыней двенадцатилетнему мальчишке, который, может быть, вдобавок верит если не в привидения, как во времена моего средневекового детства, то в реальных грабителей, насильников и накачанных наркотиками бродяг — из-за них-то обитатели нашей уединенной респектабельной, располагающей к налету улицы вынуждены носить кожаные кармашки с ключами, предмет столь же необходимый, как молитвенник в руках священника. Ни одна часть города не расположена от любой другой дальше, чем в часе езды на автобусе или на метро, а идеалы демократии вкупе с общепринятой демократичностью одежды не позволяют ограничить доступ кого бы то ни было куда бы то ни было. В наше время по костюму преступника не отличишь от преподавателя, и у нас на улице многоязычный студент-идеалист, прибывший по обмену из Африки, и какой-нибудь свихнувшийся неуловимый мститель из гетто — как кошки ночью — оба серы. Десять лет назад тридцатилетнюю дочь миссис Элликотт затащили в расположенный неподалеку приятный скверик с цветущими рододендронами, изнасиловали и задушили. Ее крики о помощи соседи приняли кто за телевизионные вопли, кто за скрежет автомобильных шин. После этого происшествия сквер переименовали, но преступника не нашли.

Я вошел в прихожую. Прикрепленные к стене скамьи для пакетов и сумок были завалены журналами и книгами. После коммерческого успеха книжки одного раввина, задавшегося вопросом, почему плохим людям везет, а хорошим — нет (или наоборот, не помню), священнослужители принялись строчить сочинения с такой же быстротой, как и южане, и многие труды присылались мне наряду с написанными на деньги благотворителей учеными трактатами в тисненных золотом переплетах об Афанасии и других отцах церкви. Я повесил на прочную дубовую вешалку шарф и высокую шляпу (она выглядит помпезно, знаю, зато я ни разу не застудил голову с тех пор, как купил ее в аэропорту Шэннон на другой день после просмотра рукописной «Книги Келлса» с цветными миниатюрами, куда я заглянул и — разочаровался) и, сунув в рот трубку, с кейсом в руке прошел налево, в свою библиотеку. Мне хорошо и уютно в этой комнате.

Как я и предполагал, Эстер слышала, как стукнула дверь, и вышла в коридор. Почему женские шаги звучат воинственнее, чем мужские? Высокими каблуками это не объяснишь, в самой женской природе заложена особая энергетика, пританцовывание и прыгучесть. И вот она вошла, все сто фунтов знакомого тела, и ощущение, что она — чужая жена, желанная добыча, — мгновенно улетучилось. От Эстер несло скукой, как от белья с высохшим, застарелым потом, скукой смертельной, способной нагнать тоску на других. Я с трудом сдержал зевоту, даже челюстям сделалось больно.

Эстер тридцать восемь лет, она на четырнадцать лет моложе меня. За те четырнадцать лет, что мы встретились, сошлись и после моего развода поженились, разница в возрасте не сократилась, а стала, напротив, заметнее. В ту пору я служил приходским священником, но она была не из числа моих прихожанок, более того, одна из ее прелестей заключалась в том, что она была абсолютно безразлична к религии. Быть тогда с ней, неверующей, — все равно что глотнуть свежей воды после обильного приема кислого вина. Теткина подруга на Рождество привела Эстер в церковный хор. Было ей тогда двадцать четыре года, и она служила секретарем у налогового адвоката. Она любила пение, когда словно раскрываешь себя всем ветрам, превращая свое тело в трубу с мышечными клапанами. Ее голос — меццо-сопрано — был на редкость сильный, сильнее ее хрупкой фигуры и мягче, чем выражение лица. Она постоянно кривила поджатые губы, но когда пела, рот делался похожим на большую скважину, из которой била радость. Когда меня не было дома, она включала на полную мощность Лучано Паваротти, и тот, рыдая и рыча, нечленораздельно тянул какой-нибудь избитый мотив. Я представлял себе его неизменный смокинг, небрежно сунутый в кармашек белый платок, его противную бородку, прикрывающую мощные челюсти. Помню, как в Саут-Юклид мои родители каждую субботу в полдень ловили нужную станцию и слушали трансляцию из «Метрополитен-опера». Меня это угнетало. Плачущие, протестующие, победные голоса наполняли наш большой дом, преследовали меня наверху, в моей комнате, пробираясь даже в очередной детектив, или внизу, в подвале, где ждали сборки миниатюрные части модели самолета. Когда в третьем акте действие достигало пика, трясся потолок в подвале вместе с проложенными по нему трубами, оттуда сыпалась пыль и падала в авиамодельный клей с незабываемым запахом эфира, пока он твердел, схватывая бальзаминовые нервюры. Что касается моих музыкальных вкусов, то они тяготеют к негромким, исполняемым под сурдинку струнным квартетам, к изысканным ренессансным ансамблям, к камерным концертам для гобоя, к маленьким, в духе Моцарта, оркестрам с набором хрупких старинных инструментов. «A te, o cara», — ревел Паваротти, и от его рева дрожали стекла в книжных полках.

— Дорогой, — сухо сказала Эстер, подставляя щеку для поцелуя.

Хотя сам я невысокого роста, она еще ниже. Иное дело моя первая жена. Лилиан носила низкие каблуки и даже немного сутулилась ради меня. В те опьяняющие дни наших тайных свиданий мне казалось, будто я гораздо выше Эстер, и это ощущение усиливалось из-за ее лица: широкий чистый лоб, большие зеленые глаза, сходящиеся к веснушчатой култышке носа, поджатые губы и небольшой, слегка отвислый подбородок — поэтому она кажется ниже своего роста, даже если смотреть вровень с ее глазами. Она очень своеобразна, острый ум словно слегка выдавливает ей глаза и придает им тревожное выражение, но язвительно поджатые губы рассеивают эту тревогу. Верхняя губа у нее припухлая, нижняя будто прячется под ней, а рот в целом не поддается описанию. В минуты радости или горя черты его теряют определенность — так иногда туманится зеркало, и даже сейчас, по прошествии стольких лет семейной жизни, я чувствую, что она скажет что-нибудь необыкновенное.

— Ты так припозднился. — После бургундского дыхание ее отдавало кислым вперемешку с запахом табака. Интересно, сколько бокалов она высосала, она, Паваротти и его cara.

— Да все эта проклятая Карлисс Хендерсон со своими святыми в юбках! Сегодня она доказывала, что Моника прославилась бы, даже не будучи матерью Августина. Переубедить ее нет никакой возможности. Если они и знамениты, обе эти женщины, то только благодаря своим сыновьям. Кроме этого о них сказать-то нечего.

— С нами всегда так, — отозвалась мать моего сына.

— Как простуда Ричи?

— Похоже, что захватила грудь. Еще бы, после занятий они так гоняют на стадионе.

— А он не мог бы освободиться от физкультуры?

— Он сам не хочет освобождения. Говорит, лучше уж болеть. Наверное, — продолжала она насмешливым напевным тоном, — думает, что у него хорошо получается играть в футбол.

— А ты думаешь — плохо? — Теперь, когда наш сын повзрослел, ее недоверие к мужчинам распространилось и на него.

Эстер посмотрела на меня, моя дорогая несостоявшаяся феминистка, зрачки ее застекленели: словно большеглазая белая рыба подплыла к зеленоватой стенке аквариума и выпустила яростную струю неизбывной скуки оттого, что день за днем одно и то же — кружение и кружение в прозрачном ящике.

— Нет, мой дорогой, я этого не сказала. — Чистый звучный голос, чуть тронутый хрипотцой от возраста и сигарет, зазвенел, заиграл. — Надеюсь, он неплохо играет в футбол. Только вот не знаю, в кого он пошел. Я лично всегда была ужасной мазилой, да и ты, говорят, не очень-то блистал.

— Когда я учился, в теперешний футбол не играли. У нас был другой футбол, американский, он похож на регби у англичан, в него крутые ребята играли. Отец презирал меня за то, что я не играю. Боялся, что меня задавят. А в тот, европейский, я бы с удовольствием сыграл. Кто знает?

— Разве кто-нибудь что-нибудь знает?

— Ты, кажется, не в настроении?

— Осень на нервы действует. Я сегодня выходила, подумала, что надо бы купить соснового лапника, чтобы укрыть на зиму дубовые листья на клумбах. Но разве в этом городе найдешь лапник? Каждый год одно и то же.

— Подожди до Рождества, срубим одно деревце.

— Ты каждый год это говоришь. А что я говорю?

Я задумался, окинул взглядом книжные полки и вспомнил, что хотел посмотреть одно место у Барта.

— А ты говоришь, что будет слишком поздно. Листья по всему двору разнесет ветром.

— Правильно. Ты молодец, Родж.

— И как же все-таки мы обычно решаем проблему лапника? Напрочь из головы вылетело.

— Едем за город, в лес и спиливаем там сколько нужно. Беда в том, что нижних ветвей почти не осталось. Придется взять ту пилу с длинной рукояткой. Чего она в гараже ржавеет.

— Я думал, Ричи сломал ее, когда строил себе домик.

В действительности же я ни в чем не винил Ричи — не будь у нас с Эстер этого мальчишки, нам не о чем было бы говорить и мы отдалились бы друг от друга еще больше. Я мучительно соображал, что бы сказать еще, кинуть ей подачку, а она смотрела на меня своими тоскливыми, как у собаки, глазами.

— А до этой Карлисс Хендерсон у меня была еще одна встреча. С каким-то сумасшедшим малым, к тому же неприятным, хотя с виду вроде бы нормальный человек. Один из этих компьютерщиков из университетских лабораторий. Одному богу известно, что привело его на наш факультет. Впрочем, я знаю. Кстати, он водит дружбу с ужасной дочерью моей ужасной сестрицы Эдны, с Верной. Ну, той, что завела себе черного ребенка и живет где-то в трущобах — помнишь?..

— Ты говори, говори, а я мигом на кухню. Посмотрю, не убежала ли там брокколи.

Эстер кинулась по коридору, свернула направо, под дверную арку столовой, исчезла в кухне. Люблю смотреть на нее сзади: вскинутая головка, округлая плотная попа, мелькающие лодыжки. Ничто не изменилось с тех пор, как я провожал ее жадными глазами, когда она после репетиций хора бежала по коридору между рядами, роняя церковный прах с подошв. Тогда, в эпоху мини-юбок и «власти цветов», она не укладывала волосы, а носила их распущенными, и пышная светло-рыжая грива, казалось, перевешивая ее тело, волнами сбегала по спине. Прошли годы, появились белые прядки, особенно на висках, она стала «делать голову»: подрезать, подкалывать, подкручивать волосы, придумывая бесконечно разнообразные прически — от легкомысленных челок через нейтральные пучки до чопорных венцов, какие подобают фрау профессорше. На ночь она распускает волосы, и они смотрятся даже более соблазнительно, чем ее зовущая нагота. Она следит за фигурой и «держит вес» очень простым способом: каждое утро встает на весы и, если стрелка переходит стофунтовую отметку, садится на салат, морковь и воду, пока стрелка не возвращается в идеальное положение. Вдобавок она неплохо «сечет» в математике. Не раз помогала нашему налоговому адвокату разобраться с цифрами.

Я не пошел вслед за Эстер, а воспользовался моментом, чтобы посмотреть Барта, то место, где он перебирает множество путей и доказывает, то ни один не ведет к Богу. Кажется, это в «Слове от Бога и слове человека». Я достал мой старый экземпляр, книгу в мягкой обложке, зачитанную до дыр, испещренную карандашными пометками на полях, которые делал молодой человек, полагавший, что обрел Путь, услышал Глас, нашел способ укрепить в себе и передать другим христианскую веру. Перелистывая страницы, я снова чувствовал железную логику пассажей, безупречную великолепную цельность и насыщенность прозы, специфически христианской, которая, увы, слишком часто страдает интеллектуальной вялостью и полна всевозможных уловок. «Человек представляет собой загадку и ничего более, и его Вселенная, как бы ярко она ни воспринималась и ни ощущалась, — это вопросы... Решение загадки и ответ на вопрос — абсолютно новое явление... Пути к этому явлению не существует».

Вот, кажется, нашел, здесь, в «Задаче священнослужения», хотя нет: отрывок знаком, но не тот, который три десятилетия назад навсегда отложился в памяти молодого человека. Просматривая «Задачу» дальше, я наткнулся на предложение, отмеченное звездочкой на полях, — оно как будто оправдывало в какой-то степени систему аргументов Дейла Колера: «В отношении Царства Божия любая педагогика может оказаться хорошей или плохой; стул может быть достаточно высок, а самая длинная лестница коротка, чтобы силой войти в Царство Небесное». Силой — вот в чем заключалось его богохульство. Он трактует Бога как предмет, так, будто Он не имеет голоса в им самим сотворенном мире. Я лихорадочно искал нужную цитату, чувствуя, как ко мне протягивается скука, исходящая от Эстер, засасывает меня, зовет в кухню, скучать вместе с женой. Я уже потерял надежду найти нужный отрывок, как вдруг моя разваливающаяся книжица сама собой раскрылась на странице, где трижды подчеркнутые строки говорили о напряженных духовных исканиях тогдашнего молодого существа, раскрылась — только подумать! — на «Проблемах этики сегодня».

«Пути от нас к Богу нет, нет ни via negativa, ни даже via dialectica или paradoxa. Бог, которого можно найти в конце какого-либо человеческого пути, не есть истинный Бог».

Вот оно. Я закрыл книгу и поставил на полку. «Бог, которого можно найти в конце какого-либо человеческого пути, не есть истинный Бог». Мне стало стыдно: я всегда чувствую себя чище, полным новых сил после чтения богословского труда, даже второразрядного, исследующего трещины в непостижимом. Чтобы вы не приняли меня за религиозного ханжу, я испытываю такое же удовлетворение и вдохновение от порнографии, от подробного, вызывающего столько ахов и охов изображения немыслимо длинных и глубоких, твердых и податливых частей человеческого тела, когда они, как поршень в цилиндре, совершают рабочий цикл: трение, впрыскивание, вспышка, истечение. Даже «Opus Pistorum» недавно умершего Генри Миллера — какая несправедливость, что это последний его труд! — не покоробил меня. Напротив, эта работа, как и другие того же рода, обладает определенными очистительными качествами, поскольку выставляет на свет наше темное сырое подполье, кишащее многорукими бесами. Но вот камень отвалили, и что же проистекает из клокочущей клоаки нашего существа и наших низких неосознаваемых желаний? Дети и храмы.

Ричи сидел, уставившись затуманенными глазами в тетрадку и одновременно стараясь не пропустить, что происходит на экране: шел повторный показ «Острова Джилличена». Я потрепал его по голове, взъерошил волосы, тоже темно-каштановые, как у меня до того, как их сменила седина, не тронув только брови: густые, темные, торчащие.

— Как дела в школе?

— Нормально.

— Как твоя простуда?

— Нормально.

— Мать говорит, что тебе стало хуже.

— Па, я делаю уроки, не видишь? Сколько будет логарифм двадцати семи по основанию шесть?

— Понятия не имею. Мы логарифмы в школе не проходили.

Вообще-то я вместе с ним пытался разобраться в логарифмах и, внимательно читая учебник, по-моему, преуспел в этом, но мне не понравилось открытие, что основание десять не является священным числом. Это проделало ненужную дыру в моей личной вселенной. Думая о математике, я представляю себе, как, повинуясь непостижимым вечным законам, движутся в пространстве по восхитительным траекториям кривые, как они изгибаются и несут на своих дугах истину, подобно дельфинам, несущим херувимов, несут все дальше и дальше, то погружаясь в глубины космоса, то снова выныривая. Гностическая иерархия ангелов и степеней восприимчивости человека к плероме, а также «мера тела Господня», трудолюбиво исчисленная началами математики в мистицизме меркабы, ставили целью представить те всеобъемлющие невещественные формулы, которые служат связующим звеном между нами и абсолютами материи и энергии.

— И представь, — продолжал я, обращаясь к Эстер, — у этого типа, о котором я рассказал, хватило наглости просить у меня — чего бы ты думала? Содействия в получении гранта: он, видите ли, может доказать реальное бытие Бога на компьютере!

— Не понимаю, чего ты на него взъелся. Ты же верующий, во всяком случае, был верующим.

Чувствуя настроение Эстер, я понимал, что Ричи не должен бы слышать то, что исторгнут ее уста, но мы находились в кухне, где властной хозяйкой была она. Хочешь есть, мирись с кухаркой, какая ни есть.

— Я и сейчас верующий, — сухо возразил я. — Но верую не потому, что мне подсказывает компьютер. Его затея выхолащивает идею.

— А если этот молодой человек считает, что Бог не просто идея?

— Ты словно повторяешь его слова.

— Слушай, он высокий?

Неожиданный вопрос, но я ответил:

— Длинный. Футов шесть, не меньше.

— Так ты сварганишь ему грант? — протяжно произнесла она, перейдя на просторечие, и небрежно потянулась сигаретой в зубах к раскаленной горелке электрической плиты. Она наклонилась так низко, что одно ее неверное движение или легкий толчок со стороны — и жуткий ожог на лице.

— Ты бы бросила курить, — сказал я.

— Кому от этого вред?

— Тебе самой, дорогая.

— И всем остальным тоже, мам, — вставил Ричи. — Наша училка говорит, что у людей, которые живут с курильщиками, такие же больные легкие, как и у самих курильщиков.

На экране грузный блондин, одетый в купальный костюм с яркими разводами, бомбил с вертолета шарами с водой коротышку в саронге, а тот выкрикивал какие-то лающие фразы.

— Я вряд ли смогу ему помочь. Это не моя епархия.

— По-моему, в нем есть что-то трогательное, — сказана Эстер безо всяких к тому оснований.

Ричи опять прервал нас:

— Ма, сколько будет двадцать семь по основанию шесть? Папа не знает.

— Сорок три, — ответила она. — Это же так просто. Двадцать семь разделить на шесть будет четыре и три в остатке. Господи, когда ты научишься работать с учебником? Там все это есть.

Я догадывался, что Эстер защищает незнакомого ей человека только для того, чтобы досадить мне, и размышлял, не стоит ли перед ужином пропустить бокал бурбона. Она плеснула себе еще бургундского из зеленой фирменной бутылки и немного растрепавшейся прической да и всем своим видом дала понять, что готова к бою. Хлебни я побольше — достойно приму бой, но тогда прощай вечернее чтение, а я ведь наметил полистать книжку об Афанасии и каппадокийских отцах церкви, написанную нашим бывшим студентом, который добивался моего благословения и поддержки: он отчаянно карабкался по лестнице академического успеха, как по лестнице, привидевшейся Иакову в пустыне. Я пошел на компромисс: отказался от бурбона и налил себе бургундского. Вино было густое и отдавало затхлостью. Предпочитаю белые вина, а по-настоящему люблю шампанское.

— С каких пор, — примирительным тоном спросил я, — ты стала богословом?

— Никем я не стала, — возразила она. — Ты знаешь, что я думаю. Ничего не думаю. Я хочу сказать, что это не имеет никакого значения. Все это чепуха. Но забавно видеть, как ты отстаиваешь собственную чепуху и отрицаешь чью-то еще. Все вы голые короли. Цепляетесь за свои кресла. К тебе приходит молодой человек и предлагает доказать, что Бог существует, а ты кривишь верхнюю губу, супишь брови и мысленно посылаешь его куда подальше. Лишь бы не в церкви. В твоих глазах он еретик.

— Много чести — еретик! Он недостоин этого, — ответил я с достоинством. — Слишком молод, горяч. Не пройдет и месяца, как ему придет новая бредовая идея. А Бога он приплел, чтобы получить грант. Целое поколение выросло, которое, кроме грантов, ни о чем знать не хочет. Социально обеспеченный академический класс.

Вино действительно было кисловатым, вот почему ее дыхание отдавало затхлостью. Брожение — это, разумеется, своего рода гниение, как и сама жизнь, а с точки зрения энергии — форма распада. И все-таки есть своя прелесть, милосердное мерцание благодати в первых глотках, когда вино смешивается с кровью и растекается по жилам. Я не сводил глаз со скорбно поджатых губок Эстер, с которых готова была сорваться очередная реплика. Она сказала, что я кривлю верхнюю губу, но не моя, а ее губа то и дело меняла форму. Сейчас на ее рот набежало облачко печали, лицо затуманилось, приняло чуть обиженный вид, и сквозь округлившийся рот словно бы уже слышалась грустная мелодия. В свое время она немало поработала ртом. Когда мы только сходились и ее одолевало любовное влечение и желание отбить меня у другой женщины, обеспечить себе опору и защиту, ее губы постоянно тянулись к моей ширинке. Веду, бывало, машину, и вдруг голова ее стукается о руль, и справляться с машиной становится затруднительно. Или у себя в церковной комнатушке устроюсь поудобнее в кресле, обитом искусственной кожей, где обычно сидели прихожанки, пришедшие за советом и утешением к своему духовнику, и воздеваю глаза к небесам наподобие Святой Терезы (которая, кстати сказать, не упускала случая причаститься малого Тела Господня: «Más, más, Dios» — «Еще, еще, о Боже!»). Или в постели после трудов праведных Эстер положит свою прелестную головку ко мне на живот и нежно берет меня в рот, как будто для пущей сохранности, и я, засыпая, чувствую, как он снова твердеет. Теперь это случается редко, и всякий раз она дает понять, что я ей отвратителен. Я не виню ее: с годами чувства меняются, а с ними и качественный состав наших желаний.

— Почему бы не пригласить его к нам? — предложила она с наигранно невинным видом.

Мне пришло в голову, что ее глаза, как и глаза моего недавнего визитера, омыты светом из окна, только у нее голубизна тяготела к зеленому краю спектра, а у него — к серому. Для полноты картины добавлю, что мои глаза цветом напоминают растопленный шоколад — влажные, темно-бурые — и придают мне сердитый или жалостливый вид, в зависимости от восприятия стороннего наблюдателя.

— Я целую вечность не слышала никаких бредовых идей, — саркастически добавила Эстер.

— В этой дурацкой книжке говорится только о множествах. Кучи иксов, которые не имеют ничего общего с цифрами! — вмешался Ричи.

Недовольным, но грациозным движением Эстер нагнулась — так же, как она наклонялась к раскаленной горелке, — и из-за спины сына пробежала глазами страницу.

— Двадцать семь — это сокращенное выражение двух десятков плюс семь единиц. Чтобы записать это число по основанию шесть, нужно узнать, сколько раз шесть единиц содержится в двадцати семи. Пошевели мозгами.

— М-м... — мямлил бедный мальчишка.

— Четыре же, четыре! — воскликнула Эстер, едва скрывая презрение. Она ткнула пальцем в книгу. — Шестью четыре будет двадцать четыре. Присоединяем остаток. Получается сорок три. Видишь?

Вижу. Картинка «Острова Джилличена» сменилась рекламой кошачьего питания. Пушистый, цвета жженого сахара кот в бабочке воротил морду и от куска сырого мяса, и от свежей рыбины, зато жадно, по самую шею зарывался в миску с серо-бурыми катышами. Где-то там, за кухонной дверью заливался Паваротти, все выше и выше по ступеням фальшивого чувства приподнимался его голос. Потолок в нашей старомодной, рассчитанной на прислугу кухоньке давно пошел трещинами и отливал подозрительной желтизной, словно подтекали трубы, проложенные под полом второго этажа.

Из большого окна, проделанного в пятидесятые годы ради красивого вида, открывавшегося отсюда, можно было видеть не только наш дворик и забор, но и заглянуть в столовую соседей, Кригманов. Майрон преподает бактериологию в медицинском училище, а Сью пишет книги для детей. Три молоденькие девушки, их дочери, прекрасно смотрятся вместе. Я выглянул в окно: да, все пять голов в свете лампы от Тиффани над обеденным столом. Майрон сидит, подавшись немного вперед и приподняв плечи. Я даже различил, как открывается и закрывается его рот на одутловатом лице, как рубит он свободной рукой по воздуху, как ритмично кивают в знак согласия и одобрения освещенные прически его женщин. Мы частенько встречаемся с Майроном на вечеринках. Он большой любитель «трепа по маленькой», то есть обожает поболтать о пустяках, интересуется всем на свете, кроме своей специальности. Сколько часов мы провели рядом с разбавленным виски в одной руке и расползающейся по тарелке закуской — в другой, сколько слов сказано, но ни разу он не коснулся одной темы — бактерий и ни разу не спросил меня о христианских ересях.

По контрасту с нашим потрескавшимся потолком и нездоровой, взрывчатой атмосферой в доме семейство Кригманов казалось абсолютно счастливым в своем обыденном заповеднике, стены которого, едва освещенные многоцветной лампой, были увешаны всякой всячиной: африканские маски и барабаны, пастушьи рожки с Карпат, эфиопские кресты, русские балалайки — следы заграничных поездок, выставленные напоказ, как в другие времена в других империях и другие классы выставляли головы куду и леопардов. Я позавидовал зримому, очевидному счастью Кригманов, тому, как удобно и уютно устроились они в своей «экологической нише», которую приобрели вместе с жильцами — семейной парой на третьем этаже, служащей средством облегчения налогового бремени и дополнительным препятствием возможным взломщикам, вместе с летним домиком на малолюдном островке у берегов Мэна, вместе с оравой на редкость неподходящих ухажеров для дочерей — на нашем уровне спроса и предложения эти шалопаи с соседних улиц (некоторые из них впоследствии стали мужьями) были тем же, чем, по Веблену, были яхты и летние коттеджи для богатых. Мы с Эстер с нашим единственным ребенком и моей невидной работой на задворках богословского факультета не сумели обустроить нашу нишу, как это сделали Кригманы, наперекор моде мы даже не потрудились соорудить на третьем этаже квартиру для сдачи внаем, а предпочли использовать эти заброшенные, предназначенные для прислуги комнаты как склад старья и студию для Эстер, когда ей — с течением времени все реже и реже — хотелось отдаться живописи. За те же десять лет, что мы прожили здесь, она запечатлела на холстах все крыши, которые видны из окон третьего этажа по всем румбам на компасе, освоив тем самым окружающий мир. Изображения были мрачноватые, полуабстрактные. С годами ее художественная манера становилась все более напористой, агрессивной: широкие, размашистые мазки мастихином и кистью, скипидарные кляксы и прилипшие к ним незадачливые мухи. В детских книжках, которые писала Сью Кригман, непременно фигурировали несчастливцы: люди, переживающие материальные трудности, распавшиеся семьи или те, кто не мог справиться с грязью в жилище из-за обилия кошек и старых диванов с торчащей набивкой, — при том, что свой дом, стоящий на другой стороне переулка, хотя его окна глядели в наши, сочинительница содержала в идеальном порядке, в чем мог убедиться всякий, побывавший там.

— А все-таки почему? — повторила Эстер, чтобы избавиться от накопившейся за день скуки, закончив его хорошей ссорой. Последние несколько лет она работала в детском садике, находящемся в другой части города, четыре дня в неделю. Начав с добровольной помощи, она доросла до скудно оплачиваемого заместителя заведующей, но это занятие только обострило в ней чувство, что она напрасно тратит силы, что жизнь проходит мимо, уходят годы.

— Почему — что? Извини, я отвлекся. Смотрю на Кригманов и завидую: до чего же счастливые люди!

— Мы тоже кажемся им счастливыми. Брось, все семьи счастливые — если смотреть только в окна.

— Кора Кригман — шлюха, — подал голос Ричи.

— Что это такое — шлюха? — поинтересовался я у сына.

— Да ладно тебе, па. Сам знаешь, — ответил сын и скрылся в дебрях «Острова Джилличена». Там, похоже, наступил мир: под искусственными пальмами обнимались люди. Тихоокеанское солнце, сотворенное студийными юпитерами, не давало тени.

— Позови его на чай, — настаивала Эстер, — вместе с твоей племянницей.

— Почему я должен приглашать этого сумасшедшего компьютерного маньяка в нашу благословенную обитель? Разберусь с ним на факультете заодно с другими неприятными делами.

— Что-то непохоже, что разберешься. Уж очень ты взволнован.

— Взволнован? Нисколько. С чего ты взяла?

— У него увлекательная идея, а ты почему-то не хочешь этого признать.

— Я возмущен, что ты упрекаешь меня из-за него. И еще возмущен тем, что он пытается упрекать меня из-за Верны. Считает, что я должен чем-то помочь ей.

— Наверное, должен. Тебе не кажется странным — она больше года в городе, а ты ей даже не позвонил?

— Нет, не кажется. Эдна не велела. Сказала по телефону, что девчонка опозорила себя и всю родню, и меня в том числе. И тебя, и Ричи. И даже Кригманов и миссис Элликотт. И это не натяжка!

— Чего ты разоряешься, Родж? Тебе же безразлично, что там говорит Эдна. Ты всегда был от нее не в восторге.

— На дух ее не переносил — так будет вернее. Неряха, недалекая, любит задаваться. Наверное, дочка в нее пошла.

— Подумать только — за какое же ничтожество я вышла замуж! — С последним глотком спиртного ее зеленые глаза навыкате совсем остекленели, прическа с одного бока растрепалась, а прядь упала на плечо. — До чего же бесчувственный, трусливый и самовлюбленный тип...

Я прервал ее, как обрывают студента, начавшего распространяться не на тему:

— Дорогая, с той минуты, как я переступил порог, ты ищешь повод, чтобы поссориться, но, кажется, не находишь. Я не сторож моей племяннице. Когда же наконец мы будем ужинать?

Недовольный нашей ссорой — дети принимают дружеские перепалки родителей всерьез, — Ричи оторвался от экрана:

— Правда, мам, когда ужин? Кушать хочется.

Одновременно где-то там в гостиной Паваротти дошел до конца своих слезливых, душещипательных арий-историй и автоматически отключился.

Четырнадцать лет мы пользуемся одним и тем же дешевеньким таймером, подаренным нам с Эстер на свадьбу одной старой дамой из моего прихода, которая не подозревала, что я обрек себя на пребывание во тьме сущей, где нет таких милых домашних вещичек, а только муки вечные. У таймера был удобный циферблат, который, поворачивая, ставишь против нужной отметки. Когда положенное время истекает, устройство начинает ворчливо верещать.

Похожая на одного из шекспировских плоскогрудых, переодетых в женское платье юношей в растрепанном рыжем парике, Эстер поклонилась электропечке, как партнеру по сцене, театральным жестом протянула руку ладонью кверху и провозгласила перед двуглавой аудиторией:

— Voilà! Ле котлеты поданы!

— О cara mia, — отозвался я и подумал: Más, más. Люблю котлеты, их легко жевать.

Тоненькое запястье, высунувшееся из широкого рукава свитера, было похоже на собачью лапку. Отважная и отдающая отчаянием попытка Эстер сыграть роль образцовой домохозяйки пробудила во мне прежнее очарование, то старое, не угасшее за четырнадцать лет чувство, будто силовое поле вокруг нее священно, заряжено электронами, которые взаимодействуют с твоими собственными. Катексис (или, попросту говоря, энергия поступка, состояния), как неоднократно повторяет Фрейд, не помню где, не исчезает вовсе — просто о нем забывают, как забывают о кукле с оторванной рукой, заброшенной на чердак вместе с истершимися свернутыми коврами и пустыми рамами для картин.

## 

## 3

Через несколько дней я опять шагал по стопам Дейла Колера, тем маршрутом, что представлялся мне в тот день, когда мы познакомились. Листва еще пооблетела, но погода стояла точно такая же, серенькая. Так же плыли, то сливаясь, то распадаясь, по воздушному океану подбитые голубым облака, так же пестрели национальные флаги, когда проглядывало солнце. Мой путь пролегал мимо пожарных депо, школ, больниц и других зданий, посредством которых нация раздавала общественные блага. На всякий случай я заглянул в городскую телефонную книгу и удивился, обнаружив там имя Верны Экелоф; безденежной девчонке, вообще не имеющей особых причин на то, чтобы жить в нашем городе, поставили муниципальный телефон.

Надо сказать, что наш город — это, по сути, два города, даже больше — нагромождение кварталов, разделенных рекой, несущей свои мутные воды в гавань, которая стала raison d'eáère, основанием для колонистов поселиться здесь. С тех давних времен, когда на этой земле, уже частично расчищенной индейцами, то тут, то там стали появляться деревни, выросло множество муниципальных образований, каждое со своей держащейся за власть администрацией, однако автомобили и дороги в начале двадцатого века соединили их в одно. Мы так быстро проносимся мимо указателей разграничительных линий, что не успеваем их прочитать. Берега реки соединяют мосты, одни стальные, выкрашенные, другие — каменные, арочные. Когда из подземного тоннеля поезд внезапно выныривает на один из таких мостов, словно сложенный руками каких-то титанов-трудяг из громадных глыб песчаника, перед удивленным пассажиром открывается величественная панорама: дорогие отели, торговый центр, сверкающий стеклом и анодированным металлом, розоватые или голубоватые небоскребы финансовых империй, возвышающиеся над ломаным силуэтом жилых кирпичных домов, которые возвели сто лет назад на засыпанных гравием болотах, новые кооперативные склады и заброшенные церкви, зеленеющая вдоль берега полоса Олмстедского парка с оркестровыми раковинами и планетарием, качающиеся на блистающей водной глади лодки — все эти рукотворные чудеса залиты безразличным светом ближайшей к нам звезды, Солнца.

Университет расположен на менее живописной и ухоженной стороне реки. Миновав богословский факультет, несколько кварталов добротных, построенных на переломе двух веков зданий, каждое из которых за последнее десятилетие несколько раз удваивалось в цене, я вышел на просторную улицу, бульвар Самнера, названную в честь фанатика-аболициониста, которого лучше знают по забавному эпизоду: его стукнул по лысине оппонент, некий убежденный в своей правоте конгрессмен. Этим некрасивым бульваром и заканчивается собственно территория университетского городка.

Передо мной вдруг возник стоящий, будто вкопанный пограничный столб, молодой здоровяк в поношенном стеганом пальто с копной нестриженых вьющихся волос цвета свежих древесных опилок и бородкой в мормонском стиле. Это мог быть стареющий студент-теолог, или ремонтник с телевидения, поджидающий, пока его напарник припаркует их фургон, или обыкновенный сумасшедший, готовый наброситься на меня, чтобы заглушить непрошеные гудящие голоса в голове. Он стоял, не двигаясь, посереди тротуара, внося угрожающую нотку в тишину округи.

Бульвар Самнера, ведущий по диагонали к реке, протянулся на целую милю. Супермаркет загородил нижнюю часть своих витрин деревянными щитами — так труднее их расколотить. Лавочка зазывала посетителей мертвенной неоновой вывеской. Простую деревянную обшивку домов сменила виниловая, как на допотопных трехпалубных теплоходах. Вместо раскидистых дубов и буков, как на аллее Мелвина, здесь с удручающей правильностью, точно телефонные столбы, были рассажены более выносливые породы — яворы и гинкго, это «живое ископаемое» с корой, как бы покрытой струпьями. Вместо приземистых пластиковых баков с опавшими листьями, аккуратно поставленных для мусорщиков у заборов, кучи разодранных собаками мешков с отбросами на обочинах и груды картонных коробок. Не видно ни одного «вольво» или «хонды» — только помятые «шевроле», «плимуты», «меркурии», старые детройтские колымаги, которые поддерживают на ходу бедняки из бедняков. «Трансамерикан», «Гран Турино», «Саноко», «Амоко», «Колониальные коттеджи», «Бутылочный бульвар», «Профессиональный педикюр»... В треугольнике, образуемом тремя пересекающимися линиями, — табличка с итальянским именем солдата, убитого во Вьетнаме. Причудливо раскрашенные «под камень» рамы окон зеленной лавочки на углу. На площадке у бензозаправочной станции — неописуемо чистая зеленая лужа: из какой-то машины вытек антифриз, но я чувствовал, что для Дейла этот прозрачно-зеленый цвет был неким чудом, свидетельством, знамением свыше. Такому наивному верующему, как он, сам воздух здесь казался напоенным благодатью, а от простора этой уродливой торговой улицы, где местами еще сносились ветхие здания, у него светились глаза. Над плоскими крышами и пережившими непогоды трубами за рекой на фоне бегущих облаков вздымались серебряные и изумрудные верхушки небоскребов, образующих стальное сердце города.

В пыльной витрине магазина сантехники «Краны и трубы Крейна и Траба» красовалось дерево, увешанное туалетными сиденьями — белоснежными и пастельных тонов, простыми и в матерчатых чехлах, а самое нижнее было разрисовано голыми японками, у которых, к сожалению, не было ни сосков, ни волос под животом. Бульвар постепенно спускался к реке, и чем дальше, тем непригляднее и безжизненнее становился. «Кунг-фу», «Суперзащита: замки», «Центр Санто-Кристо», «Тодо пара каса»... Ирландцев и итальянцев в этом районе сменили португальцы и латиноамериканцы, которых в свою очередь теснят вьетнамцы, скупающие мелкие продуктовые магазины и уже открывшие несколько забегаловок с подозрительно острой кухней. Вьетнамские женщины миниатюрные и низкорослые, точно дети; а у мужчин — некрасивые квадратные головы на тонких шеях, змеевидные усики над краями ртов и тусклые черные волосы, не такие, как у китайцев, японцев или индийцев. Мы, американцы, растеклись по дальним морям и, выбираясь оттуда, потянули за собой иммигрантов, они прилипали, словно краска к мешалке. В этих людях, доставшихся нам после великих военных авантюр, было что-то отталкивающее и эротичное, но одновременно в глобальном смешении рас и народов было и нечто высокое. Какое многообразие телосложений и цветов кожи в этой толпе на этой торговой дороге! Ни дать ни взять — живой учебник антропологии. И это многообразие вливалось в жизнедеятельность американских магазинов и жилищ, наших котелен и авторемонтных мастерских, вливалось и активизировало ее. Вот идет пара — вне всяких сомнений, не супруги, но явно живущие вместе: высокий бледный негр и его латиноамериканская подруга с кожей цвета бразильского кофе, не уступающая ему ростом, оба в тугих джинсах и коротких черных кожаных куртках, у обоих волосы сбиты в высокие напомаженные пучки, а в мочки ушей продернуты кольца. Они шагали рука об руку, ровно, уверенно: раз-два, раз-два — впечатляющее зрелище! Приближались выборы, и повсюду — на почтовых ящиках, на бамперах автомашин, на листах фанеры, закрывающих брошенные подъезды и расколотые окна, — были расклеены красно-голубые плакаты. Вот старая женщина тащит за собой тележку из супермаркета, в которую погружено все ее имущество, включая пластиковый, под слоновую кость, радиоприемник; розовое личико, вязаная шапочка делали ее похожей на большого ребенка. Я шел по стопам другого человека и чувствовал, как в меня проникает его дух, ощущал то жадное и слепое блаженство молодости, когда кажется, что мир подчиняется нашим прихотям и полон счастливых примет и добрых предзнаменований. Худосочный пьяница в зимней русской шапке с ушами пробормотал что-то насчет чужеземной наивности, написанной на моем лице, и беспричинной радости не по возрасту.

В каждом квартале выстроились в шеренгу узкие старомодные торговые и прочие заведения. Цветочная лавка, салон красоты, прачечная, магазинчик с вывеской «Приманка и улов», в витрине десятки крючков и бездна блесен, которые можно забросить в воду лишь на расстоянии многих миль от берега. Корявыми красными буквами продавец мужской одежды объявлял: «Выхожу из дела». Небольшая платяная лавка на углу рекламировала «Костюмы к Хэллоуину для Веселых взрослых»; звериные морды — тупоносая свинья, клыкастый боров, оскалившийся волк — смотрелись на кружевном дамском белье, как куски сырого мяса на белизне льда. «КРУПНЫЕ ЯЙЦА — 49 центов за дюжину! При покупке на 10 долларов дюжина клиенту бесплатно». Зазывала не подозревал, что обращается к бедноте с предупреждением не поддаваться на эту хитроумную уловку, — кому нужны двести сорок штук яиц зараз? «МЕГАБАКСЫ. Ты тоже можешь стать миллионером!» По газетным интервью редких счастливчиков я узнал, что поначалу те бывают обескуражены свалившимся на них бременем богатства, иные даже тянули с получением выигрыша, который превращал в ничто их жизнь до того.

Магазинчики кончились, улица как будто прервалась: здесь ее пересекала старая, заброшенная железнодорожная ветка, уходившая в дебри громадных, сероватых, как гипс, зданий, с голыми, без окон, стенами — островок тяжелой промышленности, который не успели еще переделать в художественные мастерские и лаборатории высоких технологий. За железнодорожной линией тянулись новые корпуса естественнонаучных факультетов. Университет с его деньгами расползался по городу, как раковая опухоль, вбирая в себя целые кварталы. Далеко за городом, на горном плато, даже был заповедник, еще в прошлом веке завещанный университету, где будущие лесоводы в касках и кожаных крагах учились рубить деревья и пробовать на зуб молодые побеги, дабы получить диплом.

Смотрел на все это я глазами глубоко верующего Дейла. На новом тротуаре за железнодорожными путями я увидел удивительно черную, как смола, кучку, оставленную бродячей собакой. Какая-то особая порода или необыкновенная еда? Или явленное чудо наподобие той зеленой лужи, знак свыше? Потом прошел похоронное бюро со стеклянным фасадом и площадкой, уставленной тесаным и полированным мрамором. На одном розоватом памятнике в углублении между барельефными колоннами по краям была высечена раскрытая книга. На двух страницах было выбито всего шесть слов.

Слева:

Яви

Милость

Иисусе

Справа:

Молись

За

Нас

По уходе от меня Дейл Колер, конечно же, остановился здесь в размышлении, пытаясь найти связь между молитвой, запечатленной механическим путем на камне, превращенном в книгу, и вселенской топкой Большого взрыва, ибо причудливые, поражающие воображение, космические масштабы этого явления содержали неоспоримое доказательство Божественного замысла. Прихотливые неправильности на крапчатой поверхности мрамора были похожи на те мельчайшие, но необходимые нарушения однородности первоначального хаоса, когда вся материя, содержащаяся ныне между землей и самыми далекими квазарами, была заключена в комке не больше бейсбольного мяча и таком раскаленном, что даже кварки еще не склеились, когда магнитные монополии не были гипотезой, а вещество и антивещество находились в состоянии яростной схватки, беспощадно уничтожали друг друга каждую наносекунду, пока в результате ничтожного таинственного перевеса сил не сохранилось определенное количество материи, необходимое и достаточное для образования нашей состарившейся, ослабевшей Вселенной.

Как бесконечны и неизбежны комбинации вещей и явлений! До странности длинный и гибкий молодой негр с бритым черепом в разноцветной шапочке нес на голове, чудом сохраняя равновесие, похожий на фантастический тюрбан стул с подлокотниками, но без ножек, на таких сидят в постели. Стул был персикового цвета и завернут в прозрачный целлофан. Когда мы проходили мимо друг друга, пересекая ушедшие в землю и покрытые слоем асфальта рельсы, я слышал, как шуршит целлофан. Кто он такой, этот экзотический чернокожий? Заядлый любитель ночного чтения — что бы там ни говорили демографические данные? Может быть, он несет это нехитрое приспособление своей старой бабке или дяде-деду? По статистике негритянские семьи распадаются, хотя в действительности люди сохраняют живые родственные связи. Суммарные факты редко соответствуют конкретным; каждое новое поколение дает нашей стране шанс возобновить обещания и заветы. Такие патриотические, исполненные надежд мысли пришли мне в голову прямехонько из наивного сердца Дейла Колера.

На кирпичной стене пожарного депо, выстроенного под углом к улице, высоко над землей была намалевана фреска: Джордж Вашингтон без видимого удовольствия принимает уведомление об отсрочке кредита от делегации почетных граждан невыразительного обличья в широких, как у него самого, застегивающихся у колен штанах. За депо высилось огромное старое административное здание из песчаника двух тонов, напоминавшее венецианские палаццо; его длинные византийские входы были оклеены предвыборными плакатами, а ступени стерты до глубоких впадин башмаками просителей, прошедших здесь за столетие. По этой округе в последние годы прошла волна так называемой джентрификации: вырос ряд трехэтажных домов, выкрашенных в богемные цвета, такие, как лавандовый и лимонный, — здесь разместились бутик, диетический магазин и лавочка с рискованным названием «Взрослые сласти», выставившая в витрине «Эротические торты и другие любовные лакомства». Я был уверен — Дейл не стал задумываться над тем, во что могут облечься сексуальные фантазии выдумщика-предпринимателя. Форма и слизисто-свернутая структура морщинистых человеческих гениталий, очевидно, не относились, по его мнению, к числу феноменов, свидетельствующих о существовании Бога. Мне представилось, как на его восковом лице выскакивают прыщи онаниста. Я почувствовал превосходство, поскольку с тех пор, как неуклюжую Лилиан сменила Эстер, был совершенно здоровым в сексуальном отношении мужчиной. До замужества, во время наших тайных дневных свиданий, моя вторая жена показывала чудеса постельной пластики. Ее нежно-розовые нижние губы при солнечном свете смотрелись как кусочки марципана.

Соприкоснувшись с краем процветания, бульвар Самнера круто пошел вниз, у спешащих пешеходов появился вид отчаявшихся беглецов. На обочине тротуара праздно стоял тучный человек, тучный настолько, что казался грудой одежды, вывешенной для проветривания. Я прошел близко от него и увидел, что большое озабоченное лицо поражено отвратительной экземой, кожа висит струпьями, словно отклеившиеся обои. В доме на том же перекрестке, похоже, был пожар, оставивший на верхних этажах обгорелые оконные проемы, однако внизу с новой вывеской необычных — модных — цветов работал бар: шум, доносившийся оттуда, — мерные стуки видеоигр и смешанный, мужской и женский, смех — указывал, что от посетителей отбоя нет, хотя до дарового «Доброго часа» было еще далеко. Отсюда уже видны были фермы, обмазанные оранжевым антикоррозийным покрытием и покатый въезд на мост через реку, в грязных водах которой рыба дожидалась местных удильщиков.

Улица Перспективная. Названа так из-за вида, который когда-то открывался отсюда, но сейчас все застроено, загорожено. Здесь я сверну: указанный в телефонной книге адрес Верны привел меня именно на эту бесперспективную улочку. До нее надо было пройти несколько кварталов. Иные строения еще претендовали на то, чтобы называться домами: крохотные газоны перед фасадами, цветочные клумбы с распускающимися бутонами красных и желтых хризантем, крашеные религиозные изваяния (Пречистая Дева в небесно-голубом одеянии и Младенец на руках с глинистым светло-коричневым личиком). Но большинство построек уже ни на что не претендовали: дворы по колено заросли сорной травой, где, как на свалке, валялись пустые бутылки, банки, коробки. Фасады облезли, хотя редкая занавеска или горшок с живым цветком говорили, что здесь еще живут люди. Домовладельцы давно сгинули либо по причине недостатка средств, либо в результате бухгалтерской ошибки, сгинули, бросив свою собственность на произвол судьбы, и брошенные дома выглядели словно вышвырнутые на улицу пациенты психушек. Некоторые строения были совсем необитаемыми, конечно же, разграблены и пришли в полный упадок. Двери и окна заколочены фанерой, но оставались еще черный ход и подвальные окна. Эти убогие сооружения давали приют наркоманам, пьяницам, бездомным, бродягам. Даже китайский ясень между домами и акация, высаженная вдоль тротуара, казались напуганными: нижние ветви поломаны, кора безжалостно изрезана и содрана.

Я пошел дальше и через пять минут оказался у новостройки, где жила Верна. Я проезжал мимо раз десять за десять лет моего пребывания в городе. Когда-то здесь располагалось четыре квартала запущенных домов для рабочего люда, но в эпоху президентства Кеннеди их снесли и отстроили скопище башен из желтоватого кирпича с недорогими квартирами. Страсть архитекторов к взаимосвязанным комплексам вылилась в полукруглые ряды домов, поставленные друг против друга, причем внутри каждого полукружия размещалась либо парковка, либо площадка для малышни, либо небольшой сквер со скамейками для стариков. Строители видели здоровый, экологически чистый микрорайон, но их видение было омрачено жителями. На травяных газонах протоптаны дорожки, спрямляющие путь, кусты поломаны, скамейки растащены или разбиты, несколько баскетбольных стоек словно какими-то злобными гигантами погнуты до самой земли. Создавалось впечатление перенаселенности, беспорядочного сгустка человеческой энергии, энергии яростной, не способной оставаться в замкнутом пространстве. Детские игровые площадки, первоначально оснащенные легкими качелями и каруселями, постепенно превратились в кладбища металлолома, где вместо надгробий и крестов — старые шины от грузовиков и сточные бетонные трубы. По обочинам тротуаров, у стен домов сверкали грязноватые груды битого стекла. «Se prohibe estacionar» — испаноязычное запрещение ставить машины. Другое объявление предупреждало, что «владельцы брошенных и незарегистрированных автомобилей подвергаются штрафу». В этот час кругом было пусто, не видно ни одного человека. Никем не замеченный и словно бы зачарованный, я зашел в подъезд дома номер 606. Замки в дверях были распотрошены или вообще отсутствовали, их заменяли цепочки, продернутые сквозь дыры. Несло пещерным запахом мочи, сырой штукатурки и краски — ее, чувствовалось, неоднократно наносили и смывали, наносили и смывали. Сквозь эту сложную смесь ароматов вела лестница. «У Текса что надо» — гласила свежая надпись, сделанная пульверизатором на стене, а внизу подпись в завитушках: «Марджори». На следующей площадке тот же спрей в том же стиле сообщал, что «Марджори сосет», и подпись — «Текс». Размашистое «с» в конце выдавало надежды автора на светлое будущее.

В подъезде над прорезью в почтовый ящик 311 я увидел выведенную карандашом фамилию — «Экелоф». На третьем этаже тянулся длинный пустой коридор, хотя углубления и отверстия в стенах свидетельствовали, что когда-то здесь висели картинки и другие домашние вещи. Вдруг я спохватился: номера квартир возрастали четными числами — повернул назад и подошел к двери, где цифры 3, 1 и 1 на зеленой краске были едва различимы, как привидения, и к тому же продырявлены гвоздями. Моя рука поднялась было, чтобы постучать, и тут из-за двери донесся детский лепет. Ребенок хныкал и, заливаясь слезами, лепетал что-то на своем забавном языке. Рука у меня замерла, потом неуверенно опустилась. Из квартиры слышалось также пение. Пела женщина. Пела громко, вызывающе. Я постучал.

Раздались скрип, шарканье, потом шлепок. Хныканье прекратилось. Я чувствовал, что меня разглядывают сквозь глазок. Прошло порядочно лет с тех пор, когда я последний раз видел маленькую Верну.

— Кто там? — Голос звучал настороженно, хрипловато, как-то гулко, трубно.

Я откашлялся и представился:

— Роджер Ламберт, твой дядя.

Если бы следователям понадобилось снять отпечатки пальцев с ровной поверхности двери, они обнаружили бы много интересного — до того она была захватанная. Верна открыла дверь, из квартиры потянуло кисловатым запахом, как от земляного ореха или залежавшихся специй. Знакомый затхлый запах Среднего Запада. Я остолбенел: передо мной стояла сестренка Эдна в пору нашей молодости.

Впрочем, нет, Верна была на дюйм ниже, и у нее был большой бесформенный нос, унаследованный от папаши, белобрысого тупицы. У Эдны совсем другой — потоньше, с точеными ноздрями, которые раздувались при волнении и облезали на летнем солнышке. Я чувствовал в Верне что-то рискованное, опасное — у моей единокровной оно скрывалось за мелкобуржуазной осмотрительностью. Эдна могла быть нескромной, задиристой, но в конце концов играла по правилам. А эта девчонка не желала знать правил. Глаза ее под короткими реденькими ресницами немного косили. Она смотрела на меня долгим взглядом и вдруг расцвела милой полудетской улыбкой, обнажив ряд мелких округлых зубов. На бледной щечке появилась ямочка.

— Привет, дядечка, — медленно произнесла она, словно мой долгожданный приход был ей приятен, но почему — непонятно.

Верну нельзя назвать красавицей: скуластое лицо, нечистая кожа, припухшие глаза в раскос. Но в ней было что-то — что-то такое, что попало в западню и пропадало зря. Каштановые с платиновым отливом волосы густые и вьются. На ней махровый халат, открывавший розоватое влажное горло и верхнюю часть груди.

— Мне следовало бы позвонить, — сказал я перед лицом того несомненного факта, что она только что принимала душ. — Но я не собирался, — соврал я, — просто проходил мимо.

— Само собой, — сказала она. — Заходи. Не обращай внимания на беспорядок.

Обстановка в комнате жалкая, один ковер — багрово-фиолетовый, с ужасными узорами, постланный, похоже, еще прежними жильцами — чего стоил, зато из окна виден центр города. По мере удаления шли: противоположный край новостройки, несколько трехэтажных домов под крышами, крытыми асбестовой плиткой, утыканными телевизионными антеннами, огромный щит, рекламирующий мазь для загара, купола университетского кампуса, доходящего до реки, верхушка небоскреба, застекленная смотровая площадка на ней и вращающийся ресторан и, наконец, бегущие тучи со свинцовыми серединами и светлеющими краями. Под окном на пластиковой коробке из-под молока стоял телевизор с отключенным звуком. Актеры молча переживали перипетии дневной мыльной оперы.

— А я залезла в ванну понежиться, — негромким и до приятности проникновенным голосом проговорила молодая женщина, — не думала, что это ты. — Так она объяснила нескромность своего наряда, едва доходившего до середины бедер. Ноги у нее — с них уже сошел летний загар — были красивее, чем, помнится, у Эдны, ступни поменьше и лодыжки покрепче. — Да помолчи ты, Пупси! — лениво сказала она своей девчушке, которая тыкала в меня пальчиком, стараясь выговорить «па-а» или «ба-а». На ребенке не было ничего, кроме подвязанной к поясу одноразовой пеленки. В квартире было жарко. Шипели под напором пара радиаторы. Простенькая темно-бордовая занавеска, подвешенная к большим пластиковым кольцам на позолоченной перекладине, отделяла заднюю комнатку; оттуда доносился слабый запах еды. Я остро ощутил неуместность моих мышиных замшевых перчаток, модного твидового пиджака с декоративными кожаными заплатами на локтях, серого кашемирового кашне.

— Вот я и думаю, — начал я, снова откашлявшись, — дай, думаю, загляну... с большим, должен признаться, запозданием... посмотрю, как поживает моя маленькая племянница.

Из соседней комнаты громко зазвучало: «Будем-будем бу-удем!»

— Синди Лопер? — спросил я.

— Откуда ты знаешь? — удивилась она.

— От сына. Ему двенадцать, и он как раз влезает в попсу. Ты повзрослела и, наверное, уже вылезаешь?

Она видела, что я оглядываю ее жилище, и сделала трогательно-неопределенный жест: подняла розовые руки, словно поправляя, как покрывало на кровати, невзрачную обстановку.

— Очень может быть. Если бы у меня не было Пупси, я могла бы выбраться... Может, на работу устроилась или пошла бы учиться и вообще... А так — сижу вот дома и ничего не делаю. Иногда, правда, наденем лыжные костюмы и идем продавать талоны на питание. А питание-то — канцерогенная дрянь и вообще...

Как у большинства представителей молодого поколения, словарь у нее был не то чтобы скудный, а какой-то однообразный, особый, охватывающий и упрощающий все на свете. Когда Эстер нашла у Ричи под кроватью экземпляр «Клуба», позаимствованный им у дружка-одноклассника, сын сказал с обезоруживающей убежденностью:

— Ма, это скоро пройдет.

— Па-па-па! — лепетала девчушка — пухленькая, приятная, с кожей бледнее мокко или кофе, разбавленного молоком, да еще с медвяным отливом. Ее личику суждено было стать местом тихой схватки между негроидными чертами и приметами белой расы, а пока поражали ее огромные бездонные, как сама жизнь, глаза — но не карие, как следовало бы ожидать, а темно-темно синие, словом, чистейшие капельки дистиллята.

— Как девочку-то зовут? Я знал, но забыл.

— Пола. Моего психованного папашу зовут Пол. И когда предок выставил меня из дома, я назвала ребенка Полой, как бы в отместку.

Я вспомнил, как ее отец, выбившись из инженеров в управляющие, любил разглагольствовать о своих усилиях по модернизации производственного процесса, но ему не приходило в голову, что лучший способ повысить экономичность производства — сократить раздутые штаты своим уходом с работы, вернуть собственную завышенную зарплату и тем поправить финансовые дела умирающей сталелитейной промышленности.

— Не могу поверить, что он хладнокровно выставил тебя из дома, — сказал я только для того, чтобы еще раз услышать от нее, какой он бездушный, жестокий человек.

— Не, вообще-то мамка иногда присылает мне чеки, он не запрещает. Но вот видеть меня и Пупси он по гроб жизни не желает. Тут он насмерть стоит. Кроме того, он расист, они там за границей все такие. А главное, как говорит моя работница, он упертый в свою религию. Знаешь, когда я была маленькая, он до чертиков боялся заболеть раком — у него простата была или как там это у мужиков называется. Вот он и связался с одной сектой, о ней всю дорогу по радио и на телике говорят. И что бы ты думал? Подействовало. Рак как бы прошел, представляешь? Просто чудо какое-то! С тех пор он туго усвоил, что правильно, а что неправильно, не хуже ихних боссов. У них там в секте у всех вставные зубы, смешно, правда? А мужики огромные пряжки на ремнях носят. Дома он даже заставлял нас молиться перед едой. Меня воротило от этого и от всей этой трепотни об Иисусе Христе. Мамка тоже была не в восторге, но молчала. Она ведь трусишка — разве ты не знаешь? — Верна вскинула голову, будто хотела посмотреть, какое впечатление произведет на меня это сообщение. — Жаль, потому что по виду не скажешь. Слушай, может, некрасиво наезжать на него из-за веры? Ты ведь тоже религией занимаешься?

— Только с другого конца, — сказал я, снимая перчатку. — Не молюсь и не агитирую. Осуществляю контроль за качеством, если можно так выразиться. Ты сказала: «Моя работница»?..

— Ну да, социальная работница. Здоровая такая негритянка, ужас до чего умная и строгая. Говорит, что у меня артистичная натура и мне надо бы поступить в художественное училище. Между прочим, можешь присесть, если хочешь.

«Будем-будем бу-удем!»

— Значит, деньги тебе не так нужны, как образование? Я мог бы в этом помочь.

— Как же, от тебя дождешься! Мой кореш, Дейл, рассказывал, как ты помог ему с получением гранта, который ему нужен, чтобы найти на компьютере Бога. Послал его — правда, только в канцелярию, там ему велели заполнить какие-то дурацкие бумаги. Я, дядечка, конечно, не очень образованная, но за последние полтора года мне пришлось заполнить кучу бумаг, и, хочешь — верь, хочешь — нет, все они ни хрена не стоят. Выкинь их, говорю, в окошко или спусти в сортир, но он навряд ли послушался, робеет, бедняга. Вообще-то он славный, хочет спасти нас, чтобы мы на том свете спокойно жили. А мне на этом хочется пожить спокойно.

Я не спеша, палец за пальцем, стянул с руки вторую перчатку. Помимо перчатки, в поле моего зрения попали ноги Верны. Кто-то, вероятно, та социальная работница, надоумила ее обстоятельно рассказать о себе. Так уж повелось у этих словоохотливых новых бедных.

— Мы расстались на том, что я проявил определенный интерес к его идее. Но существует установленная процедура получения грантов, и молодой человек должен действовать по соответствующим каналам. Я не имею касательства к распределению факультетских фондов... Я всего лишь наемный служащий, как и твой отец на сталелитейном заводе, — добавил я, надеясь, что упоминание ее отца придаст вес моим объяснениям.

— Па? Это па? — допытывалась Пола, указывая на меня круглой ручонкой с добавочной складочкой между локтем и запястьем. Верна со злостью схватила ребенка, подняла с пола и принялась трясти, будто смешивала жидкости в колбе.

— Кому я сказала замолчать, ты, несчастная дрянь?! — заорала она прямо в личико девочки, сморщившееся от испуга. — Не «па» это, не «па»! — И с силой толкнула дочь. Та шлепнулась на пол. От падения у нее перехватило дыхание, она силилась и не могла зареветь, крохотные сосочки вздрагивали, точно жабры выброшенной на берег рыбки.

Когда Верна нагнулась к дочери, у нее распахнулся халат и оттуда выскользнула грудь. Она невозмутимо сунула ее назад и подтянула пояс.

— Жутко действует на нервы, — объяснила она. — А у меня и без нее нервы сейчас не в порядке. Работница говорит, что трудно первые полтора года, а потом они начинают говорить, такие забавные. Мне понравилось, когда в роддоме мне ее в первый раз показали, — вся мокренькая и похожа на цветущую лаванду. Я понятия не имела, какая она будет — белая, черная или серо-буро-малиновая. С тех пор все и пошло наперекосяк. Всю дорогу как бы торчат перед глазами, и от них не отойдешь. От детей то есть.

«Ты будешь, она будет, мы все бу-удем!» — жизнерадостно неслось из другой комнаты. Я решил, что за занавеской — кровать и ванная; когда я пришел, Верна, по-видимому, дурманила себя горячей водой и, с позволения сказать, музыкой, ревущей из приемника над ее уснувшим умом, спящим сознанием. Я с трудом нащупывал дорогу в ее жизнь.

Захотелось присесть, но я отыскал глазами только кресло, какие ставили на террасах лет десять назад, — плетеную корзину из тонких металлических труб на черных ножках.

— Здорово, правда? — сказала она, полузакрыв, точно в трансе, почти безресничные глаза с косинкой. — Дай я поставлю тебе одну кассету, у этой группы первое место в хит-парадах, хоть они и сопливятся.

Пола к этому моменту уже перевела дыхание и, набрав воздуха, начала реветь. Как ныряльщик перед прыжком в воду. Я долго готовился: положил перчатки на откидную доску шаткого стола — такой можно купить за десять долларов на распродаже, устроенной Армией спасения, — сел в плетеную корзину и взял визжащего ребенка на колени. Девочка оказалась тяжелее, чем я думал, и более крепенькая. Она стала биться, барахтаться и тянуться к матери ручонками со складчатыми запястьями и с толстыми конусообразными загнутыми назад пальчиками. Она вертелась и пищала, мне даже захотелось в виде наказания как следует потрясти этот маленький рыжевато-коричневый сосуд со смешанными кровями. Вместо этого я стал подкидывать ее на колене, приговаривая:

— Ну же, ну же, Пола. — Я вспомнил, как успокаивал плачущего Ричи, когда он был маленький, и начал напевно: — Как на лошадке едут леди? Шагом, шагом, шагом.

Верна принесла из ванной большущий сизый плейер со встроенными колонками, поставила прямо на мои перчатки, перемотала пленку.

— А вот как ездят джентльмены — рысью, рысью, рысью, — сказал я самым внушительным педагогическим тоном. Весь фокус в том, чтобы по приходе в аудиторию в твоем голосе сразу же услышали толику угрозы. — Ну а фермеры, — прогудел я в крошечное плоское ушко, — те скачут... — По коже у маленьких детей почему-то всегда пробегает мелкая дрожь, словно они хотят, чтобы их погладили. Я поцеловал ушко, мягкое, прозрачное.

— Поехали, — объявила Верна и, покачиваясь, легко пошла в танце под калипсовые ритмы песенки «Девчонки просто хотят повеселиться».

Видя, что мама теперь добрая, Пола, все еще икая от утихших рыданий, снова завертелась.

— ...галопом, галопом, галопом! — поторопился закончить я.

Голос у певички был молодой, но до времени потерявший гибкость. Хрипловатый, он восторженно возносился куда-то за пределы человеческих чувств. «Но девчонки хотят повеселиться, ах, девчонки просто хотя-ат...»

Пение сменила электронная дробь, напоминавшая лопающиеся пузырьки на воде, безличное искусство синтезатора.

Верна взяла Полу на руки и вместе с ней смешно затряслась в такт музыке. На левой щеке у Верны появилась ямочка. Поднятые вверх глаза ребенка полнились синевой.

Я сидел, смотрел на них, и у меня было такое чувство, будто я — Дейл Колер, серьезный, неловкий, сам нуждающийся в помощи, явившийся сюда с очередным благотворительным визитом. Этот радостный момент близости между матерью и дочкой словно что-то перевернул во мне, наделив ощущением одиночества. Я отвел от них взгляд и уныло уставился на стены, которые Верна попыталась оживить дешевыми репродукциями импрессионистов и собственными неумелыми акварелями: натюрморты с фруктами, вид, открывающийся из окна, части зданий, увенчанных башенками, — в лучах солнца, опускающегося все ниже и ниже с каждым днем, их блеск приближался к золотистому краю цветового спектра. С переходом на зимнее время с нашей национальной небесной тверди убудет на час световой день. В электронном ящике кончилась вялая мелодрама, и экран молча оживился, озарившись яркой рекламой «Средства Ж»: сначала гримасы человека, страдающего расстройством желудка, потом облегчение — просветленное лицо, обращенное к провизору.

Ощущение заброшенности у Дейла — что это, как не тоска по Богу, тоска, которая в конечном счете есть единственное свидетельство Его существования?

«Хочу одна пойти за солнечным лучом», — подпевала Верна, а ее наполовину темнокожая девочка гукала от удовольствия.

Отчего у человека возникает чувство потери, если нет чего-то, что жаль терять?

Плейер затих, песня кончилась. Верна посадила Полу на пол, поинтересовалась:

— Может, тебя угостить чем-нибудь, дядюшка? Чашечку чая или стакан молока? Вчера у меня была вечеринка в складчину, думаю, осталось немного виски.

— Нет, ничего, спасибо. Мне пора домой. Мне предстоит вечером выход, как говорится, собираемся поразвлечься. Ты мне лучше вот что скажи: часто видишься с Дейлом? — Мне захотелось узнать, спит ли она с ним.

Во время танца, такого зажигательного и стилизованного, как телереклама, из-под белого халатика то и дело мелькала изнанка ее бедра, тоже белая, но другого оттенка.

— С Дейлом? Довольно часто. Приходит посмотреть, не застрелилась ли я, не задушила ли ребенка и вообще. Просит, чтобы я помолилась с ним.

Я удивленно усмехнулся:

— Вот как? — Средство «И.Х.» для облегчения загробной жизни.

Верна кинулась защищать его. Ее надутый ротик сделался еще меньше, и восхитительно выпятился округлый подбородок — точно так же, как у Эдны в пору нашего детства, когда я начинал с ней спорить.

— Не знаю, что тебе самому нравится, дядюшка, но это лучше, чем лизаться, — заявила она. — Дейл хороший малый.

— Он говорил, что вы и познакомились в церкви.

— Ну да, на каком-то ужасно нудном собрании. Но вообще-то голова его другим занята. Говорит, что все будет тип-топ в Судный день, а то и раньше.

— Он это всерьез?

— Еще как всерьез! Конечно, он мне цифры не приводит и о том, чем он в Кубе занимается, не распространяется. Просто заглядывает пару раз в неделю — посмотреть, как я тут, и сидит, играет с Пупси, вроде тебя.

— М-м, ты... у вас серьезные отношения?

— Ты хочешь спросить, трахаемся ли мы? Одна я это знаю, а другие пусть гадают. Ну уж ладно, скажу. Нет, не трахаемся. Вообще-то я не против перепихнуться, так, от нечего делать. Но он почему-то не заводится, смешно, правда? Он, как моя работница, видит во мне очередной случай. Наверное, весь наш затраханный мир видит во мне очередной случай.

Мы обижаемся, когда нас типизируют. Иногда я думаю, что секрет бурного разлива христианства по Римской империи в первые века заключается в том, что римлянам осточертело быть только воинами, рабами, сенаторами, scortum — публичными женщинами. Человек хочет быть личностью, а не просто исполнять обязанности. Но почему? Я спросил:

— Что нужно сделать, чтобы ты получила аттестат об окончании средней школы и нашла работу по душе?

— Ну вот, приехали. Ты как Дейл. Я ему говорю: ты на меня не дави. Терпеть не могу, когда на меня давят. Мамка и папаша всю дорогу на меня давили. А на хрена? Чтобы стать еще одной замужней куклой в жемчугах и вертеть задом на вечеринках в Шейкер-Хайт?

— Это совсем не обязательно. Послушай, Верна...

— Мне не нравится, как ты говоришь «Верна». Ты мне не босс и не мамка с папкой.

Она начинала закипать. Это волновало, как волнует зрелище мчащегося на тебя на предельной скорости автомобиля. Собьет или врежется во что-нибудь и — вдребезги?

— Это точно.

Она прищурилась.

— Мамка с тобой перезванивается?

Я невольно рассмеялся: жаль, что она переоценивала свою родительницу. Какой же она еще ребенок при всей своей показной «крутости», если думает, что ее мамка, словно добрый Боженька на небе, не спускает с дочери заботливых глаз.

— Нет, — сказал я, с трудом сдерживая улыбку: она наверняка решит, что я вру, и от предчувствия ее реакции мой ответ прозвучал в моих собственных ушах лживо. Я принялся изучать большой палец левой руки, который по неосторожности поранил ножницами, в порез то и дело попадала какая-нибудь ниточка. Вот и сейчас я увидел застрявший в нем микроскопический обрывок нитки и попытался его вытащить.

— Я все про вас знаю, — продолжала племянница, огрызаясь, словно загнанный зверек. Она угадала мои мысли и поняла, что попалась в своей наивности.

— И что же ты знаешь? — Ниточка была багрового цвета, хотя пиджак и кашне у меня серые.

— А то. Сидим мы вечером на кухне, дожидаемся папашу с работы, она мне такое рассказывает... Похоже, между вами что-то было, дядечка.

— Неужели было? — Я не помнил ничего подобного и гадал, кто из них нафантазировал — Эдна или Верна.

— Так что нечего строить из себя неизвестно кого! Ни к чему мне это. Не хочу и вообще...

— Выбираться почаще из дома — вот что тебе надо, — мирно произнес я. Ко мне возвращался опыт приходского священника. Сколько ни шуми, этому полуребенку меня не запугать. Нужно только помалкивать и делать вид, что слушаешь, и тогда целое море человеческого горя раскинется перед тобой. Еще один оборот безостановочного колеса знакомых молений и жалоб. Природа поступает с нами не так, как мы хотим.

— Угу, но как это сделать?

— Как делают другие матери-одиночки?

— У них есть друзья.

— Значит, надо завести друзей.

— Легко сказать. Сам бы попробовал. В нашем районе половина жильцов — старые пердуны из Южной Америки, другая — черные пижоны. Скажешь кому-нибудь «Привет!», а он уже воображает, что ты перепихнуться зовешь. Эти подонки за милю чуют, что бабу бросили и ей плохо. Даже не видя Полы, чуют и все норовят погнать тебя на панель. По-ихнему, самый большой успех в жизни — орава белых девочек, которых можно посылать на заработки, честное слово. — Глаза у нее повлажнели. — Видно, мои родители правы. Я сама загнала себя в угол. И знаешь, мне так одиноко. Все одна и одна, не с кем словом перекинуться. Мужику что — он с кем хочешь запросто заговорит. А ты не разговариваешь, а вроде как переговоры ведешь. Вчера вечером по телику показывали «Династию», так мне теперь ихних переживаний на неделю хватит. — Она хотела посмеяться сквозь набегающие слезы, посмеяться над собой, над своими горестями, над погубленной жизнью.

— И все-таки не надо это вымещать на Поле, — посоветовал я.

Верну словно подменили. Ее настроение менялось каждое мгновение — так колышется пленка на поверхности воды от бегущего в глубине потока.

— Так вот ты зачем пришел — пожалеть бедную девочку? Прибереги свою жалость для других, дядечка. Бедная девочка как-нибудь сама о себе позаботится. Моя маленькая сучка целый день меня достает. Сижу с ней на площадке, а она жует битое стекло. И хоть бы хны, представляешь? Только какашки поблескивают. — Она рассмеялась собственной шутке. Я тоже заставил себя улыбнуться. Верна вытерла покрасневший нос. Приставить бы ей другой нос, не картошкой, и сбросить фунтов десять, она была бы прехорошенькой. — Вдобавок ко всему меня еще проклятая простуда мучит. Удивляюсь, почему люди редко совершают самоубийства.

— Не одна ты удивляешься, — сказал я и, вздохнув, встал.

Я больше не замечал спертого воздуха в квартире, не замечал острого аромата, как от земляного ореха, от нечистых пеленок ребенка. Вся обстановка обступала меня легко и свободно, как Вернин халат облегал ее тело. Мне стало хорошо здесь.

— Что, если я одолжу тебе немного денег? — спросил я.

Ее слова и слезы слились в одно сопение.

— Не надо, — сказала она и помотала головой, беря отказ назад, и всхлипнула: — Давай. — Потом поспешила объяснить: — Детского пособия едва хватает, чтобы платить за квартиру, а программа помощи одиноким матерям — это только талоны на питание. Хоть приличный стул куплю и вообще, а то люди приходят. Этот совсем развалился.

Я достал из бумажника две двадцатки, но, подумав о подскочивших ценах, добавил еще одну и отдал ей. По пути домой я могу пополнить убыль в банкомате, на экране которого всегда загорается вежливая надпись: «Спасибо и, пожалуйста, подождите завершения вашей операции». Когда Верна протянула руку, я увидел, что ладошка изрезана линиями того же лавандового цвета, какой была Пола, когда ее первый раз показали матери.

Несложная операция охладила нас обоих. Сунув деньги в карман халата, Верна тем же движением вытащила платок, последний раз хлюпнула носом, вытерла его и посмотрела на меня высохшими глазами вызывающе, как преступник. Удивительная моральная гибкость хорошо гармонировала с ее мягким податливым телом.

— Ну, что дальше? — спросила она.

— Я разузнаю насчет вечерних занятий и экзаменов экстерном, — сказал я.

— Ну да, так же, как ты разузнал насчет гранта Дейлу.

Я пропустил ее язвительное замечание мимо ушей. Пора было восстанавливать достоинство.

— Мне бы хотелось, чтобы ты побывала у нас дома. Познакомилась с Эстер, с нашим сыном Ричи. Вероятно, День благодарения — удобный повод.

— День благодарения? Ха-ха, благодарю, — отозвалась она насмешливо.

— Если не хочешь, Верна, не приходи. И я не буду ничего предпринимать. Я зашел посмотреть, как ты живешь. Вот посмотрел.

Она опустила голову. За отворотами халата я мог видеть весь изгиб ее юной груди, ее шелковистую упругость и тоненькие голубые вены. Она, как и Эстер, была ниже меня ростом.

— В День благодарения — удобно, — сказала она покорно.

Расставаясь с Верной, я постарался видеть в ней не полуребенка, а молодую женщину, самостоятельную и достаточно опытную, во всяком случае, успешный продукт биологического развития, а в ее жизни — существование не более тревожное, чем в большинстве наших животных жизней, какими они представляются гипотетическому Разуму наверху, существований в инстинктивном, неуправляемом, но и не приводящем к столкновениям движении.

— Как мило, что ты зашел, дядя, — добавила она, подставляя для поцелуя пухлую левую, с ямочкой, щеку.

Целуя ее (кожа у Верны оказалась на удивление мягкой, как мука, когда в нее запускаешь руку), я увидел, что маленькая Пола лежит плашмя на полу, очевидно, обнаружив что-то интересное в ворсе потертого ковра. Рот у нее был весь в багровых нитях. Она подняла слюнявую мордочку и улыбнулась мне. Я нагнулся погладить девочку по голове и чуть не отдернул руку — такая она была горячая.

И все-таки запущенность квартиры Верны снова подействовала на меня, когда я уходил. Запахи плесени вызывали в памяти картины кливлендской жизни, особенно подвала в нашем доме, где бабушка расставляла по пыльным полкам банки с законсервированными персиками и каждую неделю устраивала большую стирку в ручной машине, которую сопровождал запах щелока, щипавшего глаза. Жилье племянницы погрузило меня в то состояние, которое некоторые богословы называют «самопостижение духовным зраком». Вся наша жизнь — Ричи, Эстер и моя собственная — в доме с прочными стенами и широкими окнами, стоящем на «хорошей» улице в окружении таких же дорогих домов, показалась мне выставленной напоказ.

Выйдя, я помедлил за захватанной зеленой дверью и вдруг услышал крик: «Ты когда-нибудь перестанешь жрать эту пыльную дрянь?!» Потом последовал шлепок и задыхающееся хныканье, перешедшее в обиженный рев.

Между вами что-то было. Не могу вообразить, что наплела Эдна. Единственное, что я помню о своей единокровной, — это наши постоянные стычки из-за игрушек и поддразниваний. Я не таясь ненавидел сестрицу и жаловался матери, что летом приходится проводить с ней по несколько недель. Вспомнилось, что я прозвал ее Блинолицая, даже мама нет-нет да и ковырнет ее этим прозвищем. Оно приклеилось, потому что подходило, как подошло бы и ее дочери: обе широкие, плосковатые, малость расплывшиеся, как тесто. Когда мы подросли, наши драки, насколько я помню, прекратились, и если мои фантазии в пору полового созревания иногда, в те душные ночи на Шагрен-Фоллз, когда вспухала плоть, поневоле обращались к ней, лежавшей за тонкой перегородкой, то фантазии — ведь только мысли, а не поступки, во всяком случае, в нашей земной юдоли. Странно, что Эдна рассказала о чем-то, что якобы было между нами. Или Верна говорит, что она рассказала...

Навстречу мне, неслышно перепрыгивая через ступени, поднимались двое черных парней. Они выросли передо мной в своих потертых джинсах трубой, блестящих баскетбольных куртках и огромных бесшумных кедах, выросли и промчались по обе стороны мимо меня, как проносятся зажженные фары, которые оказываются мотоциклами. Сердце у меня упало, я весь съежился, напрягся, правда с секундным запозданием. Твидовый пиджак и моя подростковая стрижка на полуседой голове смотрелись здесь подозрительно.

На Перспективной улице от одного тротуара до другого уже протянулись тени от полузаброшенных домов, хотя бегущие белые облака и пятна абсолютно голубого неба свидетельствовали, что на дворе еще стоит ясный день. Позади пустого участка возникло чудо, которого я не заметил, проходя здесь полчаса назад, — высокое, раскидистое дерево гинкго. Каждый веерообразный лист его был залит густой ровной желтизной — не то что менее древние породы, которые сбрасывают пестрое оперение. Под косыми лучами солнца дерево, казалось, криком кричит, израненное безлюдьем и заброшенностью квартала. Вместе с обрывками сведений о гинкго, о том, что эта порода существовала еще до динозавров, что в древнем Китае его высаживали вокруг холмов, что это священное дерево, как и люди, — растение двудомное, то есть делится на мужскую и женскую особи, причем священные коробочки у женской особи издают острый запах, пришла странная уверенность, что Дейл, возвращаясь после визита ко мне от Верны, тоже увидел это дерево и оно тоже поразило его, как поразили зеленая лужа на асфальте и черная кучка, оставленная собакой. Его религиозное благоговение как бы передалось мне. На меня нашло умиротворение, то безъязыкое блаженство, что является частью вселенского порядка. Я даже остановился, чтобы подумать об этом дереве и его золотистой листве. На свете совсем не много вещей, которые по зрелом размышлении не похожи на непрочные люки, что проваливаются под тяжестью нашего неизбывного желания заглянуть в бескрайнюю бездну.

# 

# Часть II

## 

## 1

Дейл понравился мне больше в следующий раз, когда со свойственной ему неловкой навязчивостью втиснулся бочком в мой факультетский кабинет. Единственное, что портило его восковую внешность, — красные костяшки пальцев и прыщеватый подбородок. Вероятно, уверение Верны, что он не был ее любовником, имело какое-то отношение к моему доброму расположению духа. Нынешнее поколение идет на нас с обнаженным мечом молодых, нерастраченных сил, но потом оказывается: меч-то не настоящий, картонный. Они так же, как и мы, не умеют пользоваться своим животно-железным здоровьем, не умеют быть счастливыми. На нем была та же синяя вязаная шапочка, но вместо камуфляжной куртки он надел джинсовую, подбитую овчиной, поскольку похолодало. Овчина торчала из рукавов желтоватыми манжетами. Ни дать ни взять — ковбой, только без сапог.

— Я представил заполненные бланки и подумал, не захотите ли вы иметь ксерокопию.

— Захочу.

Я пропустил цифры и пробежал глазами прозу пояснительной записки. «Исходя из наличных физических и биологических данных, продемонстрировать с помощью компьютерного моделирования существование Бога, т.е. наличие целеустремленной и созидательной разумной силы, присутствующей во всех природных явлениях».

— Биологических? — только и спросил я.

Дейл присел на краешек кресла, того самого, что сделано из различных пород дерева, и начал:

— Я почитал кое-что по теории эволюции, заглянул в Дарвина — со школьных времен этим не занимался. Посмотришь на схему эволюционного дерева — внизу сине-зеленые водоросли, на ветках приматы — и думаешь, все вроде бы точно, как Миссисипи на карте. А на самом деле наши корифеи не знают ничего или почти ничего. Затвердили догмы и талдычат одно и то же. Нарисуют разнопородные ископаемые, прочертят между ними линии и говорят: это эволюция. Ни связи, ни последовательности. По Дарвину что получается? Постепенное развитие как результат естественного отбора — и все.

— Так-таки догмы? — заерзал я в своем кресле.

В свое время приемные комиссии отбирали претендентов на степень магистра из жантильных фамилий новоанглийских унитариев. Теперь им приходится рассматривать заявления от оравы ярых креационистов из Небраски и Теннесси, почему-то пучеглазых и ушастых, и тамошних дородных девиц, которые гордо несут по нашим коридорам свои громадные груди, как повешенное на шею покаянное бремя, наподобие тех несчастных в четвертом круге Дантова ада, которые шагали, «толкая грудью грузы» («voltando pesi per forza di poppa» [песнь VII, строка 27]).

— С самого начала эта болтовня насчет «первоначального бульона», где якобы под воздействием электрического разряда возникли аминокислоты, затем протеины и, наконец, самовоспроизводящиеся нити ДНК внутри некоего пузырька, который и был первоначальной клеткой или существом, мало чего стоила. Просто красивые слова вроде тех средневековых представлений, будто мухи и пауки самозарождаются из навоза и слежавшегося сена. Во-первых, эта теория основана на том, что первоначально земная атмосфера состояла из азота и водорода. Но посмотрите внимательно на самые древние отложения — они же покрыты ржавчиной. Значит, кислород все-таки был. Далее, количество вещей, которые требуются для появления даже простейшего вирусоподобного зародыша жизни, так велико, что вероятность их случайного сочетания ничтожно мала. Один биолог рассчитал, что она равна отношению единицы к десяти в тридцатой степени. Другой предполагает, что во Вселенной существовало от десяти до двадцати планет, которые были способны породить жизнь, но и, по его мнению, вероятность ее возникновения не на Земле составляет единицу против десяти в четыреста пятнадцатой степени. Викрамасингх, которого я упоминал в прошлый раз, утверждает, что вероятность равна десяти, поделенной на одну сорокатысячную, что занимает, как вы понимаете, целую страницу нулей. Но и это только первое приближение к сути дела.

— Хорошо, не будем углубляться, — сказал я, снова меняя свое положение в кресле: Дейл был как горошина, на которую села принцесса. — Вы всё оперируете большими числами, как будто атомы и молекулы образуют различные комбинации по чисто математической вероятности. Но допустите, что на молекулярном уровне действует некий принцип сцепления, самоорганизации, сопоставимый, скажем, с инстинктом самосохранения на уровне отдельного организма или с силой притяжения в масштабах космоса, и этот принцип способствует организации сложных связей. В таком случае ваши ничтожно малые вероятности теряют всякое значение и без вмешательства какой бы то ни было сверхъестественной силы.

— Неплохо, сэр, совсем неплохо для гуманитария. Браво! Но ваше допущение еще одного молекулярного закона тянет за собой множество вопросов — вы о них даже не подозреваете. Есть целый ворох проблем, которые теория «первоначального бульона» попросту игнорирует. Например, проблема энергии. Ведь тот первый микроскопический Адам — он должен был обладать определенной энергетической системой для того, чтобы жить. А раз так, вы сразу же попадаете в обширную инженерную область. Или проблема ферментов. Невозможно получить протеины без ДНК, но так же невозможно получить ДНК без ферментов, а ферменты — это те же протеины. Как тут быть? С 1954 года бьются: варят этот несчастный бульон, однако никаких признаков жизни нет и в помине. Почему? Если люди со своей фантастической технологией не могут это сделать — как это сделала слепая природа?

— У природы, — заметил я, — в запасе вечность и бескрайние моря материала.

— Я тоже так думал, — с раздражающим апломбом откликнулся молодой человек. — Но если вникнуть в цифры, это не выдерживает никакой проверки. Мы утверждаем, что человек разумен, а природа — нет. Но если бы все шло по-нашему, мы давно разрешили бы все загадки. А что получается на самом деле? Жалкая картина. Беспорядочное движение полимеров. Бульон производит бульон. Хлам на вводе, хлам на выходе, как говорим мы, компьютерщики. Из дерьма конфетку не сделаешь. В Калифорнии вот добивались самосоединения нуклеотидов. Добились, процесс пошел, но до чего же медленно. Каждые четверть часа добавляется всего одна единица, тогда как в природе приращение происходит за долю секунды.

— Ну что же, даже это указывает на то, что мы имеем дело с естественным процессом, а не со сверхъестественным, не так ли? — возразил я, рассматривая ноготь на большом пальце правой руки. Вчера я спилил на нем небольшую, давно докучавшую мне щербинку, ноготь стал на долю миллиметра короче собратьев, светлая каемка на краю потоньше — словно я грыз ногти. У Верны, вспомнилось мне, ногти совсем короткие, как у детей, тогда как у Эстер слишком длинные. Меньше чем через час начнется мой семинар по христианским ересям, и я проведу первое занятие из двух, целиком посвященных пелагианству. Снова и снова приходится признать (я начну интригующе, чтобы расшевелить аудиторию), что теперь, на отдалении столетий, еретики представляются более интересными, разумными и терпимыми, чем их гонители, насаждавшие начатки римско-католической ортодоксии. Кто, к примеру, не отдаст предпочтение Пелагию («шелудивый толстобрюхий пес, набитый скоттской — то есть шотландской — овсянкой», — кипятясь, отзывался о нем Иероним), его покладистому эмиссару, и апологету-златоусту Юлиану с их безвредной верой в то, что человек способен творить добро, способен приблизить спасение, — кто не отдаст предпочтение этим человеколюбцам перед вспыльчивым Иеронимом и перед витающим в облаках Августином, который бился в истерике, доказывая зло соития (сам-то он в конце концов насытился), и обреченностью новорожденных на проклятие? Манихей, он всегда манихей, остроумно заметил Юлиан о епископе алжирского Гиппона.

Пока я рассеянно репетировал предстоящую лекцию, Дейл Колер развивал свои доводы:

— Вы рассуждаете как твердолобый неодарвинист. Они разглагольствуют о тенденциях, течениях и неизбежной недостаточности информации, которую дают нам осадочные породы, отложения. Недостаточность! Да они ничем не располагают — только гипотетические картинки существ, которые появлялись и исчезали. Так называемые лакуны — вовсе не лакуны, а зияющие пробелы.

Где я слышал это слово совсем недавно?

— К сожалению, не сохранилось никаких ископаемых докембрийского периода. Но вдруг откуда ни возьмись повсюду появляются многоклеточные живые существа, их насчитывают семь типов и около пятисот видов — членистоногие, плеченогие, разные там губки, черви. В сущности, почти все, кроме, как ни странно, простейших одноклеточных организмов. Как клетки научились сливаться? И вообще, как покариоты, доядерные клетки, из которых и состояли сине-зеленые водоросли, развились в эукариоты, наши с вами клетки, имеющие не только ядро, но и митохондрии, нуклеоль, комплекс Гольджи? Эти два вида клеток отличаются друг от друга, как коттедж и кафедральный собор.

— Что-то произошло, — сказал я. — И я не уверен, что вижу в происшедшем руку Господню. В своих рассуждениях о давно прошедшем вы отталкиваетесь от современных условий жизни, которые считаете в высшей степени невероятными. Но если следовать вашей логике — чем мы будем отличаться от пещерного человека, который не понимал, почему каждый месяц луна меняет форму, и сочинял разные сказочки о том, какие еще штуки выкинут боги. Вы, по-видимому, считаете, что Бог должен заполнять любой вакуум, любой пробел в знаниях. Современный ученый не претендует на всеобъемлющее знание, он лишь утверждает, что знает больше, чем его предшественники. Нельзя пользоваться достижениями современной науки и смотреть на космос глазами пещерного человека. Это вещи несовместимые. По-моему, вы пристегиваете Бога к невежеству, мистер Колер. Он и без того слишком долго находился в одной упряжке с невежеством.

Дейл выпрямился на стуле, удивленно глядя на меня бледно-голубыми глазами.

— Неужели? Неужели я пристегиваю Бога к невежеству?

Я положил руку с разрезанным ногтем на стол.

— Именно так. Поэтому я говорю вам: освободите Его.

Дейл добился своего, задел меня за живое. Мое безразличие рассеялось как дым.

— Освободите Его, даже если Он скончается от этого.

Дейл откинулся на спинку кресла. На губах его заиграла улыбка, полная то ли самонадеянности, то ли сомнения. У его затылка желтела овчинная подкладка.

— Нет, профессор Ламберт, я смотрю на вещи иначе. Современного человека засадили в футляр атеистического объяснения физической реальности и убедили, что так и надо. Я же всего лишь призываю: эй, погодите, в мире есть нечто большее, чем вам говорят. Астрономы и биологи зачарованно уставились в лицо этого Нечто, а вам взглянуть не дают, потому что сами не верят тому, что видят. Можете верить или не верить, ибо Господь дал нам свободу выбора, но не поддавайтесь на интеллектуальный шантаж. Вы ничем не обязаны дьяволу.

— О-о, вы усматриваете здесь дьявольские козни?

— Да, усматриваю. Здесь, и всюду, и всегда.

— А кто же он, дьявол, по-вашему?

— Дьявол — это сомнение. То, из-за чего мы не принимаем Божьи дары и не ценим жизнь, данную нам Господом. Вам известно, что самоубийства занимают второе место среди причин смерти у молодежи от тринадцати до девятнадцати лет? Что они уступают в этом смысле только автомобильным катастрофам, которые нередко тоже являются своего рода самоубийствами?

— Странно, — проговорил я. — Недавняя история и, если уж на то пошло, сегодняшние фюреры и аятоллы, — по-моему, все говорит об обратном. Дьявол там, где нет места сомнению. Дьявол — то, что толкает людей строить лагеря смерти и кидать бомбы, взрываясь вместе с ними. Сомнение придает еде особый привкус, но убивает вера, слепая вера.

— Сэр, мы сильно отклоняемся от темы, и вам скоро надо проводить занятия по ересям. Я не утверждаю, что мы ничего не знаем относительно эволюции жизни. Но чем больше нам известно, тем больше явлений кажутся чудесами. Говорят, что человеческий глаз имеет невероятно сложное устройство. Однако возьмите фасеточный глаз у трилобита, зафиксированного в палеонтологических исследованиях начала кембрия. Он состоит из сотен и сотен шестигранных призм — они называются омиатидиями, в них находятся кристаллики кальция и хитин. И все это расположено строго по законам отражения, которые люди открыли только в семнадцатом веке. Поразительно, правда?

Он смотрел на меня, ожидая серьезных возражений, но я ограничился спокойным замечанием:

— Это отнюдь не означает, что трилобиты знали законы отражения. Это означает, что некоторые из них видели лучше других, — именно они-то и выживали и передавали это свойство потомкам со своими генами.

Возражал я миролюбивым тоном, давая ему возможность выговориться. Это называется тактикой плотоядного хищника. Я стал раскуривать трубку, вбирая в чашечку пламя спички, каждая затяжка была слышна, словно подступала маленькая смерть.

— Какую ступень эволюции ни взять, — развивал свою мысль Дейл, — всюду возникает проблема согласованности мутаций. Очевидна необходимость согласованности. Иначе мутаций не было бы вообще. Именно эта согласованность исключает случайность. Возьмите наш глаз. Сетчатка с палочковыми и колбочковыми клетками, радужная оболочка, стекловидное тело, двигательные мышцы, внутриглазная жидкость — невозможно поверить, что этот сложнейший механизм выстроился случайно, методом проб и ошибок. Чтобы хрусталик «работал», надо, чтобы он каким-то образом соединился с затылочной долей головного мозга. Частичное соединение невозможно, оно либо есть, либо нет. Между тем во всех эволюционных процессах наблюдаются промежуточные стадии, где принцип приспособляемости не срабатывает и даже мешает. Постройте график развития любого организма — и вам непременно придется нанести некие непостижимые точки, которые ни в какие ворота не лезут. В эволюционном плане ухо млекопитающего еще сложнее, чем глаз. Кости, составляющие челюсти у рептилий, превратились в молоточек и наковальню. Когда челюсти стали средним ухом, чем жевали эти промежуточные существа? А хвост кита? Он у него движется вверх-вниз, вверх-вниз, тогда как наземные животные машут хвостами из стороны в сторону. Разница не такая маленькая, как может показаться: при вертикальном движении хвоста таз у животного должен быть меньше, иначе он просто разрушится. Если же посмотреть в эволюционном плане, то непременно должна быть стадия, когда таз еще слишком мал и не может служить опорой задним конечностям, но уже велик для вертикальных движений хвоста. Или возьмите археоптерикса, которого эволюционисты то и дело приводят в качестве аргумента. Они не располагают никакими фактами о промежуточных существах между брюхоногими и хордовыми, или между рыбами и земноводными, или между земноводными и настоящими лягушками, зато вот археоптерикс, доказывающий, что птицы произошли от пресмыкающихся. При этом, правда, забывают о паре проблем. О том, что одновременно с археоптериксами существовали птицы в современном смысле слова, — это первое. И второе: археоптерикс не умел летать. У него были крылья и перья, но слишком слаборазвитая грудина. В лучшем случае он мог взлететь на низкий сук.

— Как современные куры, — заметил я. — Или вы считаете, что куры — тоже невероятное явление? Я где-то читал, что специалисты по аэродинамике убедительно доказали, что шмель не способен летать — не слышали? — Видя, что мой собеседник готов снова ринуться в бой, я громко откашлялся, случайно проглотив при этом порядочный клуб дыма. Настало время высказаться мне. Выслушивать лекцию перед собственной лекцией — утомительный труд плюс тоска зеленая.

— Невероятность существующего, — начал я, — не очень оригинальное доказательство существования Бога. Когда христиан во втором веке нашей эры попросили предъявить верительные грамоты от Сверхъестества, они выставили два довода. Причем, что интересно, не чудеса, сотворенные Христом, и не его воскрешение, а исполнение пророчеств Ветхого завета — это первый, а второй — возрастание роли церкви. Как среди жалкой кучки неграмотных сирийских рыбаков, обитающих на краю империи, вопрошали они, возникла вера, которая всего за одно столетие распространилась от Индии до Мавритании, от Каспия до местопребывания варварских племен Британии? Очевидно, что это дело рук Божьих. Быстрый рост церкви в ту пору — лучшее доказательство истинности того, то она проповедовала. Далее, если бы Христос был мошенником или сумасшедшим, а его воскрешение выдумкой, зачем было апостолам идти на смерть, неся Слово Его? Вы можете усмотреть здесь ту самую «непостижимую точку», которая ни в какие ворота не лезет, тот момент эволюции, превращения малозаметной еврейской ереси, сопровождавшейся крохотными криминальными стычками, в государственную религию империи Константина. Я не нахожу ваш аргумент неосновательным, однако считаю, что его можно опровергнуть при наличии чутья к истории, в частности, к истории первого столетия. Незачем подозревать апостолов и евангелистов в намеренном мошенничестве. У людей той поры было иное чувство действительности и иное отношение к письму. Мы обязаны помнить, что само письмо было волшебством, священнодействием. Написать что-то означало в известной мере сделать это. Сочинение считалось актом целиком творческим, а не подражательным. Все прямые подделки, которые мы находим в апокрифических текстах, составленных одновременно с Евангелиями (и не только там, но и в канонических — например, небывальщина о рождении Иоанна в Евангелии от Луки или рассуждения о Слове в Евангелии от Иоанна), были для сочинителей лишь средством принарядить правду, представить истину в одеяниях и украшениях долженствования. При общем уровне человеческой доверчивости существование многочисленных течений неизбежно: гностики, эссены, матраиты и прочие, не говоря уже об их более поздних исторических параллелях, таких, как забавный эпизод, который случился в семнадцатом веке с евреем Шаббатом Зеви: когда тот объявил о предполагаемом вероотступничестве Мессии и его переходе в Ислам, верующие не изумились. Или аналогичный случай у исламистов: распространившиеся среди них слухи, будто Махди, мусульманский мессия, и Ага-хан превратились в ожиревших сибаритов, не вызвали сомнений в их божественности... Так вот, в таких условиях мы начинали чувствовать, как это действительно происходило. Как, в частности, завладел человеческим воображением миф о воскрешении Христа. Впрочем, в наши дни, когда россказни об НЛО услышишь, даже стоя в очереди к кассирше супермаркета, мы не нуждаемся в особых доказательствах человеческой доверчивости.

— Да бросьте! — громко воскликнул мой посетитель, будто ссорился с товарищами. — Апостолов побили, они пустились в бега. Их лидер был мертв. Все изменилось. Где тут место иллюзиям?

— «В теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю», — писал апостол Павел. Его послания являются древнейшими текстами в Новом завете и потому ближе других к вашей «непостижимой точке».

— Но он писал, — возразил мой молодой оппонент, — что «если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Павел определенно говорит, что Христос явился сначала Кайфе, затем двенадцати братьям, потом пятистам — некоторые из них почили, — после этого Иакову и, наконец, последним — ему самому.

— А несколько ниже он пишет печальную, как я всегда полагал, вещь: если надеемся на Христа только в этой земной жизни, то мы несчастнее всех человеков. Но не будем перестреливаться цитатами из Библии, ее и без нас изрядно заболтали. Исходя из своего скромного опыта, скажу одно: все эти разночтения только доказывают, что Библия — очень плохо отредактированная антология.

— Вы первым начали, сэр...

— Да, первым, в порядке самозащиты. Я пытался показать, что, если мы не знаем и никогда не узнаем точных причин и следствий события или процесса, у нас остается только определенное чутье, чтобы двигаться дальше к тому, что вероятно. Когда листаешь «Нэшнл инкуайер» и видишь весьма подробные, но проблематичные картинки зеленых человечков, выходящих из НЛО, или полное и окончательное доказательство того, что Элвис жив, появляется смутная догадка о том, что могло произойти в первом веке. Когда в университетском зоологическом музее я вижу стенды с остатками ископаемых и вижу живых животных, птиц, насекомых и червей, то эволюционная теория при всех своих проблемах и загадках кажется мне достаточно резонным объяснением нашего запутанного порядка вещей. — Трубка погасла, и я посасывал бездымную пустоту.

— Но это же примитив! — вырвалось у моего молодого собеседника. — Вы судите по впечатлениям, не пытаясь заглянуть внутрь механизма. Заявления типа «Элвис жив, значит, и Иисус жив» — конечно, чушь собачья. Но если мы ограничимся этим, то проигнорируем тот факт, что первый — всего лишь жалкая пародия на второго, и это известно всем, в том числе и поклонникам Элвиса. Сказать, что эволюционная теория «более или менее» соответствует реальным процессам, — значит игнорировать тот факт, что ученые-биологи очень обеспокоены тем, что их наука объясняет не все. Есть такой человек, генетик Гольдшмидт — слышали о нем?

Я покачал головой.

— Единственный Гольдшмидт, которого я знаю, был редактором датского журнала, где нападали на Кьеркегора.

— Нет, мой Гольдшмидт бежал из гитлеровской Германии и в Беркли начал заниматься исследованиями мутаций у плодовых мушек. С течением времени он убедился, что они ничего не объясняют. Не то что новый вид не возникает — не происходит даже сколько-нибудь значительных изменений. Точечные мутации, то есть единичные изменения в последовательности нуклеотидов генетического кода, ничего не дают. Они возникают, но затем как бы поглощаются следующим поколением, и вид остается тем же самым видом. В 1940 году Гольдшмидт опубликовал книгу, где приводит семнадцать характерных особенностей животного мира и задается вопросом: как они могли появиться на постепенной основе, то есть путем отдельных небольших мутаций. Не будем перечислять все, кое-чего я не понял, но некоторые назову. Волосы, перья, глаза, кровообращение, китовый ус, ядовитые зубы у змей, сегментность у членистоногих, раковины моллюсков, гемоглобин и так далее. Кто-нибудь дал ответ на вопрос, поставленный Гольдшмидтом в сороковом году? Никто не дал и не может дать. Даже если у животного что-нибудь бросается в глаза и вам это понятно — допустим, длинная шея у жирафа, то и там не так все просто. Чтобы гнать кровь на восемь футов вверх, к голове, у жирафа должно быть очень высокое кровяное давление — такое, что при опускании головы, чтобы напиться, у него происходило бы то, что у человека называется обмороком. Происходило бы, не будь у него специального защитного механизма, снижающего давление, — целая система вен, именуемая rete mirabile, дословно — «чудесная сеть». Кроме того, через капилляры кровь выступила бы и на его ногах. Но между вен имеются полости, заполненные особой жидкостью, тоже находящейся под давлением, поэтому кожа у жирафа чрезвычайно прочная и непроницаемая, как уплотнения в двигателе. У китов... подумайте о китах, профессор Ламберт! По науке получается, что они взялись практически ниоткуда. Всего за пять миллионов лет у них развились глаза, способные видеть под водой, и хвост, — впрочем, о хвосте я уже говорил, — и жир вместо потовых желез, регулирующий температуру тела, и даже сложнейшая система, позволяющая детенышу сосать мать не захлебываясь. А возьмите устриц — у них раковины с наростами...

— Не сомневаюсь, мистер Колер, — прервал я его, — что вы способны часами рассказывать о чудесах природы. Они, эти чудеса, естественно, один из древнейших доводов в пользу существования верховного существа. Об этом можно прочитать в Книге Иова.

— Дело не в том, что они — чудеса, а в том, как...

— Именно это Господь спросил у Иова. Как? Иов не знал, я не знаю, вы не знаете, и, по всей вероятности, мистер Гольдшмидт тоже не знал. Но теологии угрожает нечто большее, нежели ваш механико-математический подход. Если Бог так изобретателен и целеустремлен, чем объяснить уродства и болезни? Чем объяснить непрекращающиеся распри, войны, бойни, происходящие в мире на любом уровне? Почему мы цепляемся за жизнь, хотя чувствуем, догадываемся, что она бессмысленна и бесцельна? Есть море экзистенциальных вопросов, которые вы обходите, мистер Колер. Люди не верили в бога задолго до Коперника, задолго до того, как научно объяснили, почему гремит гром и луна меняет фазы. Не верили по тем же причинам, по каким не верят сегодня. Не верили и не верят потому, что чувствуют, как безразличен и жесток окружающий мир. Вы говорите, что естественные явления суть чудеса изобретательности, но в ее дверях не видно личности. Небеса молчат, когда человек кричит от боли. Небеса молчали, когда евреев гнали в газовые камеры. Они молчат и сейчас, когда в Африке голодают. Несчастные эфиопы — среди них ведь христиане-копты, вам это известно? Вчера по телевизору говорили, что в лагерях голодающих слышны только псалмопения, бряцание цимбал и стук барабанов. Люди обращаются к Богу не потому, что он есть или его нет, а потому что они в беде, когда им позарез нужна помощь, обращаются к Всевышнему вопреки рассудку.

— Вопреки рассудку? — В бледно-голубых глазах Дейла зажегся недобрый огонек, появился тот непреоборимый пыл, с каким многие студенты приходят на факультет, приходят как миссионеры, неся свет истинной веры, с неутолимой жаждой обратить в нее ходящих во тьме, превратить воду в вино, вино в кровь, хлеб в тело — переманить противника на свою сторону, ужать все, что «не-я», до плоского и гладкого, словно зеркало, своего собственного «я». Мне надоели повторяющиеся из года в год претензии таких студентов. — Видно, у вас свой интерес, профессор Ламберт, так я понимаю? Вы не просто нейтральны. Вы — из другой компании.

— Хотите сказать — из компании антихриста? Ни в коем случае. Я верую по-своему, как — не хочу обсуждать ни с вами, ни кем бы то ни было, кто вваливается ко мне наскоком, словно ковбой. Но моя вера, глубока она или не очень, побуждает меня с ужасом смотреть на ваши попытки, чуть было не сказал — грубые и глупые попытки, свести Бога к разряду элементарных фактов, вывести Его логическим путем! Я абсолютно убежден, что моего Бога, как и истинного Бога любого человека, невозможно постичь методом умозаключений, сделать предметом статистических выкладок. Он не окаменелость и не слабое свечение, которое можно разглядеть в телескоп!

Не люблю, когда меня заносит. От страстного спора меня бросает в жар, я становлюсь нетерпимым и неприятным, попадаю в сеть преувеличений и неправды. Четкость вещей требует от нас по крайней мере обходительности и молчаливой оценки. Мне хотелось раскурить трубку, но времени для столь церемонной операции не было. Руки у меня дрожали. Я сплел пальцы и положил руки на стол. Бывало, стоишь на кафедре, листаешь Библию, ища отрывок для сегодняшней службы, а руки дрожат от напряжения. В больших Библиях чертовски тонкие листы.

Не знаю, как получилось, что этот странный молодой миссионер взял верх. Это было ясно по его спокойному отстраненному взгляду, по кривоватой улыбочке, длинной прыщеватой челюсти и по тому, что он не спешил заговорить. Он вынудил меня высказать свое понимание веры, и я ненавидел его за это.

— Ваш Бог похож на добренького самодовольного боженьку, обретающегося неизвестно где, — заявил он кратко.

— Как Верна? — спросил я, собирая свои записки.

Пелагий не догма. Пелагианец. Возмущен склонностью Августина к антиномианизму, манихейскому пессимизму. Грех передан от Адама как часть процесса размножения? По П., развращенность отличима от слабоволия.

Поняв, что я ухожу от дискуссии, Дейл развалился в кресле и даже перекинул ногу через подлокотник вишневого дерева.

— Говорит, вы заходили к ней на прошлой неделе, — сказал он, метнув на меня взгляд, который можно было бы назвать хитроватым, но только не у такого высоколобого типа.

— Хотел посмотреть, как она устроилась, — признался я. — Не так плохо, как я думал.

— Не так плохо, пока она дома. А стоит ей выйти, сразу заарканят.

— Кто?..

— Братва. Молодая белая девица с черным ребенком — она словно раскинулась на постели и готова...

— Считаете, ей нужно переехать?

— Она не может себе этого позволить. — Такой лаконичный ответ — не был ли это вызов? Требование дать ей еще денег? Он, вероятно, знал, что я уже дал ей шестьдесят долларов. Может быть, мой молодой благочестивый друг с Верной заодно, и они намерены просто подоить меня? Восьмидесятники с чистым сердцем идут на всякие мошенничества и щедро вознаграждают себя за недостаточную наклонность к неземному. Будда говорит: «Никаких привязанностей», Иисус Христос говорит: «Поступай с другими так же...», и чужое имущество «отвязывается» от хозяина. Но кто осмелится осудить их? Не успеют они открыть глаза, как видят и слышат телевизор, приучающий их к попрошайничеству. Наша образовательная система такова, что они сидят на шее у родителей и властей до тридцати годков, а то и больше. Наше общество — это общество информации, рекламы, раздутой сферы услуг, оберток от жвачки. Дух кальвинизма сделал собственность неким знаком и священным символом. Я пытался — как всегда по старинке — определить, как далеко простираются собственнические притязания этого субъекта на Верну. Я завидовал ему: он имеет право запросто приходить в запущенную душную квартиру, где томилась пленницей порозовевшая после ванны юная женщина. Я не вполне поверил Верне, сказавшей, что в их отношениях не было постели. Не могу представить — опять-таки по старинке, — что два молодых существа противоположного пола, находящиеся наедине в одной комнате, не совокупляются или по меньшей мере не дают воли рукам, не поглаживают заповедные места друг друга.

Дейл Колер сидел против света, падающего из окна у меня за спиной, а я смотрел на него и старался классифицировать собственные чувства по отношению к нему. Они состояли из:

а) физического отвращения к его восковой внешности и к непонятному негаснущему свечению в глазах, будто внутри его черепа горела бледно-голубая контрольная лампочка;

б) полнейшего неприятия его идей, которые сами по себе мало чего стоили, хотя некоторые из них мог опровергнуть только специалист;

в) зависти к его убежденности касательно существования Всевышнего и к глупой надежде заново ухватить за хвост старую-престарую проблему веры;

г) определенного расположения — как бы в ответ на его очевидную симпатию ко мне, поскольку второй его визит не имел явной практической цели;

д) приятного ощущения, что он вносит что-то новое в мою жизнь, в мои привычные и поднадоевшие дела;

е) странной и опасной способности ставить себя на его место: он словно приглашал мои мысли сойти с пути и последовать за ним по городу. Он упомянул, например, что по субботам и воскресеньям подрабатывает на лесопилке, и стоило мне об этом подумать, как в ноздри ударил аромат только что поваленной ели, руки почувствовали тяжесть свежеобработанной лесины с мореными концами и даже занозы в ладонях.

Я улыбнулся и сказал:

— Я же не сторож дочери единокровной сестры. Удобно ли вмешиваться в ее жизнь?

— Особенно вмешиваться не надо, — ответил Дейл с чувством. — Поначалу уж точно. У нее своя жизнь, она сама ее состряпала, и мы обязаны уважать ее выбор. По-моему, ей надо почаще выбираться из дома и немного подучиться.

— Согласен, — сказал я, радуясь, что наши мнения, пусть не по космическим вопросам, совпадают.

— Верна вся щетинится, когда ей сходу начинают советовать. Потом зайдешь второй раз, она уже повернулась на сто восемьдесят градусов.

Как-то так получилось, что девятнадцатилетняя лентяйка из Кливленда с кашей в голове от поп-музыки становилась предметом наших осторожных предположений и внимания.

— Мне подумалось, — ринулся я вперед, — надо сказать жене, чтобы она пригласила Верну к нам на День благодарения — в качестве родственного, так сказать, жеста. Мы будем рады видеть у себя и вас, если вы не ангажированы.

Я предполагал, что у него другие планы, может быть, общее застолье в полуподвальном зале какой-нибудь церкви, колоритное говорливое сборище благочестивых прихожан и свихнувшихся уличных бродяг.

Жутковатые глаза Дейла полезли на лоб.

— Вот это было бы здорово! По правде говоря, я собирался зайти в кафетерий, у нас там готовят приличную еду из индейки, и хорошо посидеть. Вообще-то я не охотник до праздников. Но познакомиться с вашей супружницей и вашим сынком — это классно! — Теперь, когда мы спустились с небесно-научных сфер на грешную землю, он ударился в среднезападное просторечие. Яснее ясного, что он не тянется к организованной религиозности, как подобало бы ревностному христианину. День благодарения в кафетерии? Рождество в борделе? Церковь, конечно, всегда подзаряжалась энергией неортодоксальности. Августин был сначала язычником, потом манихеем. Тертуллиан — законником. Пелагий не проходил посвящения в сан, и не исключено, что попал в Рим, как студиоз, изучающий право. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Сам Иисус и Иоанн Креститель были иноземцы-оборвыши. Свои, склонные к предательству. Вроде меня, в шутку скажу я своим недоверчивым и восторженным слушателям.

## 

## 2

Нелюбовь Дейла к праздникам соединила нас еще одной тайной связью. Однообразные поездки на трясучей «тачке» — так, кажется, нынче выражаются? — по пустынной равнине Огайо к недальнему холмику, весьма кстати именуемому Рождественской горой, — таковы мои первые соприкосновения с семейными трапезами в нашем американо-христианском царстве-государстве. Моя брошенная мужем жалкая мать и я навещали «своих»: мужчин с лошадиными мордами, задубевшей кожей и как будто бесполых, а также толстых до неприличия женщин. Они взвизгивали, когда смеялись, и стыдливо прикрывали рот руками, пряча мелкие испорченные зубы. В спертой, тягучей, как коровье мычание, атмосфере многозначительности и скорбного благочестия ставили на стол какое-то дымящееся варево, издававшее неприятный запах.

В доме моей двоюродной бабки Вильны, на кухне, оклеенной темно-желтыми обоями, за черной печной трубой, обжигающей, если прикоснуться, висело выцветшее, скользкое от сального пара изображение Иисуса Христа, молитвенно воздевшего руки. Единственная в доме книга — семейная Библия — лежала на маленьком хромом столике в «чистой» комнате. По ее кожаному корешку шли рубцы, как на шкуре забитого животного, она отдавала таким же дубильным душком, а из золотого обреза широким раздвоенным язычком торчала закладка — засохшая веточка лаванды. В комнатах держался стойкий запах минерального масла и кисловатый запах мешанки, корма для скота, занесенный мужскими башмаками. Эти выезды в деревню угнетали меня по несколько дней: неприятно было ожидать их и так же неприятно вспоминать. Во время же самого пребывания у родных я чувствовал себя настолько подавленным, что соскальзывал со стула под стол, так что в зрительной памяти сохранились только бахрома на вышитой скатерти, круглые колени, толстые икры, стоптанные башмаки где-то там, в пещерной глуби.

Четвертого июля все повторялось — только при температуре, которая была на девяносто градусов выше, чем в ноябре, и иногда «на воздухе». На заднем дворе, под раскидистыми желтыми тополями ставили грубые столы, и на них горы сияющих от масла кукурузных початков. А когда от жаровни на тарелках несли куски свинины, их встречали восклицаниями, как при виде турчанки, исполняющей танец живота, или распятого Мессии.

Тупая пугающая неразговорчивость скотины перешла к моим ходившим за ней двою- и троюродным братьям и сестрам, и, как те животные, они постоянно натыкались то на одно, то на другое, словно пытались на ощупь узнать, что это такое. Одетые в выцветшие полотняные рубашки и штаны, они молча толкали меня туда-сюда, я же отбивался, как мог. Иногда, совсем редко, они звали меня покидать кольца в цель (дурацкая игра!) или же порыбачить на ближайшей речушке, заросшей осокой. Вооружившись удочками, мы выкапывали розоватых червей, насаживали на крючки; бедные членистоногие извивались, мучились, но моя родня-деревенщина проделывала это бестрепетно и безразлично. Клева никогда не было, мы возвращались домой без улова. После полудня веселье под тополями разгоралось вовсю, потом плавно втекало в белесые летние вечера и, наконец, когда потемнеет гора, моя мама в изнеможении валилась за руль старенького «бьюика», жалуясь на головную боль и плохую видимость.

Эдна в этих поездках не участвовала, поскольку преспокойненько жила с обманщиком-отцом и разлучницей-матерью в пригороде Шагрен-Фоллз и летом занималась теннисом и гольфом в местном клубе. Находился он в одном из ложнотюдоровских строений, посреди огороженных кортов в конце длинного извилистого шоссе. Был там и плавательный бассейн, где подстриженные ежиком парни совершали головокружительные прыжки в честь Эдны, точнее — ее уже ясно обозначившихся форм, и где она и ее гости, в числе которых во время месячной ссылки сюда летом бывал и я, получали из ларька бесчисленное количество стаканчиков с кока-колой и булочек с горячими сосисками, просто назвав номер отцовского счета. Я не очень-то любил Эдну в подростковую пору, когда к ее недостаткам добавились девичья заносчивость и шумный снобизм, но, общаясь с деревенской родней, я с непонятной нежностью вспоминал единокровную сестру. Удушающий гнет крови, череды предков, отживших обычаев, окаменевшего прошлого, того деревенского прошлого, когда недалеким, ленивым и лицемерным «сынам земли» нужны были периодические встряски, чтобы они не забыли включить очередной сезон, — вот что для меня означали праздники.

Когда женятся вторично, — отец понял это прежде меня, — у человека заметно убывает обязательств перед другими. Вначале Эстер и я в порыве радостного освобождения от уз, налагаемых священническим саном, игнорировали День благодарения и даже обходились без традиционной елки, отмечая Рождество Спасителя (единственно по Евангелию от Матфея) под несчастливой звездой незатейливым ужином в сочельник (жареный палтус и шампанское) и беглым обменом подарками наутро за завтраком. Первая моя жена, Лилиан, сама дочь священника, любила, чтобы стол ломился от яств, любила встать пораньше, чтобы посадить откормленную индейку в зев плиты, любила назвать гостей, и чтобы те бесцельно сидели допоздна. Эта маета на людях унимала боль от того, чем жестоко обделила ее природа — от бесплодия. Мы несли тяжкий крест бесчадия вместе, пока моя сперма, полученная путем лечебного мастурбирования в предоставленное клиникой пластиковое приспособление, заменяющее женское влагалище (для повышения возбудимости клиника бесплатно предоставляла также экземпляры «Пентхауса» и потрепанные пейпербэки от издательства «Напрямик», и я до изнеможения вчитывался в классику жанра под названием «Училка слаба на передок»), — пока моя мужская дееспособность не была реабилитирована. Лилиан зазывала в дом бродячих студентов, полунищих прихожан, дальних-предальних родственников и путалась в шарадах изобилия. Индейка на День благодарения, рождественский гусь, телячья ножка на Пасху, говяжий крестец к Дню труда — от усиленной работы резаком у меня появился «теннисный» локоть. Бедная бесплодная покорная Лилиан! Правда, она недолго горевала из-за моего ухода, после развода окончила секретарские курсы и сгинула в управленческом звене какой-то корпорации неподалеку от Уайт-Плейнс, одном из тех, что сооружают для себя немыслимой формы фонтаны из алюминия и крытые ступенчатые автостоянки; потом, на удивление всем, вышла замуж за богатого корпулентного господина с целым выводком детей от предыдущих браков. Каждый год он на четыре месяца возит ее во Флориду. Персефона из Нового Света, треть года проводящая в царстве мертвых.

Поскольку Ричи подрос и принимал участие в домашних разговорах, нам с Эстер пришлось изменить кое-какие праздничные правила. Высокие потолки в доме, обшитые дубовыми панелями стены, камины, выложенные изразцами, прямо-таки просили позвать гостей. Но когда мы устраивали вечеринки — обычно это происходило в конце мая, в связи с окончанием занятий на факультете, — мне с моей, допускаю, повышенной чувствительностью казалось, что народу пришло меньше, чем ожидалось. Я не мог отделаться от ощущения, что Кригманы на свой манер и Элликотты на свой лучше вписываются в атмосферу нашей улицы, чем мы с Эстер, по природе склонные к богемной простоте: забитая книгами прихожая, мансарда с картинами, не слишком прибранная кухня. Наделав четырнадцать лет назад шуму в приходе, мы как бы стыдимся чего-то до сих пор. Но сегодня я затопил в гостиной камин, пляшущее пламя отражали края кофейного стеклянного столика и витражи арочных окон. На улице было холодно, лужайку и кирпичную дорожку припорошил снежок, а в доме уютно пахло горящими дровами и готовящимся угощением. Даже Ричи оторвался от телевизора и с нетерпением ждал прихода гостей.

Они пришли порознь, что порадовало меня, так как ослабило в моих глазах их связь. Первым явился Дейл, в безукоризненном сером костюме и застегивающейся донизу сорочке он был не похож на себя, и только багровый с кричащими зелеными разводами галстук выдавал в нем некоторый недостаток вкуса, свойственный людям науки. В руках у него был конический пакет с цинниями — такие букетики наркоманы на «островках безопасности» предлагают проезжающим автомобилистам. Дейл преподнес его Эстер, которая поспешила из кухни, не сняв цветистого оборчатого передника с выходного, плотно охватывающего шею платья зеленого бархата.

— Как мило! — воскликнула она.

— Это с вашей стороны мило — пригласить меня, миссис Ламберт.

Все-таки в этом парне есть какая-то обходительность, которую я недооцениваю. Его рослая сухощавая фигура, которая в косом свете моего университетского кабинета как бы складывалась в кресле перед столом, здесь возвышалась напряженная и прибранная, воплощение учтивости и мужественности. Он был без шляпы. Вьющиеся каштановые редеющие волосы, сейчас потемневшие от сырости, были зачесаны назад, открывая поразительно белый и такой же чистый, как и его глаза, лоб.

— Ах, что вы! — сказала Эстер, слегка польщенная, как всякая женщина, которой дарят цветы. — Нам так приятно. Родж много рассказывал о вас, вы произвели на него большое впечатление.

— Большое, но, боюсь, не слишком благоприятное. — При этом он улыбнулся, но не так, как улыбался на факультете. Там рот у него был нервный, почти хищный, в уголках его иногда выступала слюна: ему до смерти хотелось обратить меня в свою веру. Теперь же он улыбнулся не растягивая губ, а только слегка их приоткрыв, будто в ожидании очередного хода со стороны женщины. Я постарался посмотреть на мою женщину его глазами — маленькая опрятная фигурка казалась еще меньше с высоты его роста. Ее имбирно-рыжие волосы немного растрепались от работы и жара плиты, а глаза навыкате стали еще зеленее в свете, проходящем сквозь стеклянную дверь. Эстер вся подтянулась, оживилась, напустила на себя уверенный шутливо-игривый ироничный вид, как обычно делает женщина перед мужчиной намного моложе ее.

— Отнюдь, напротив, — вставил я. — На днях я говорил с Клоссоном о вашем гранте. Если станет известно, что факультет финансирует проект по компьютерной теологии, сказал он, то это будет неплохая реклама. И забавная.

Дейл насторожился.

— Не понимаю, каким образом реклама может помочь в получении гранта.

— Родж хочет сказать, — вмешалась Эстер, — что это неплохая реклама для факультета. Пойду поставлю ваши прелестные цветы в воду. — Она пошла по коридору, цокая каблучками. Покачивающиеся бедра подтягивали переливающийся бархат платья то в одну, то в другую сторону, образуя зигзагообразные складки.

— «Неси слово Божие каждому, кто ни есть», — сказал я шутливо, намекая на рекламу.

— «Когда молишься, войди в комнату твою», — процитировал он в ответ.

Дейл был без пальто, и мне не пришлось помогать ему раздеваться. Я провел гостя в гостиную.

— Привет, — сказал Ричи, виновато приподнимаясь с места. Он сидел у камина и, включив маленький «сони», смотрел, как человечки в красном борются с человечками в синем.

— Привет, привет. Счастливого праздника. Кто впереди — патерсонцы или Даллас?

— Патсы слабаки, куда им.

— Не скажи. У Изона в этом сезоне были великолепные броски.

Я снова подивился способности Дейла быстро установить контакт с другими людьми и почувствовал необъяснимый приступ ревности, как будто после наших словесных схваток на помосте мироздания претендовал на то, чтобы он был только моим. Будучи непоколебимо убежденным в своей правоте, он был неразборчив в знакомствах и средствах, и потому его следовало уничтожить. Показав на мой бокал белого вина, я предложил принести ему выпить.

— Может быть, «Кровавую Мэри»? Или бурбон, шотландское виски?

Не раздумывая, он вежливо отклонил предложение, привыкший, видимо, отказываться от спиртного, и спросил, не найдется ли у нас клюквенного сока. Я сказал, что посмотрю, и, к своему удивлению, обнаружил в холодильнике полбутылки этой жуткой жидкости. При одной мысли о ней у меня киснет настроение, и перед глазами бегут картинки непроходимых топей, диетических продуктов, детей с перепачканными губами, старых дам, собирающихся в пыльных залах, дабы обменяться приятными впечатлениями о днях прошлого. Когда я со стаканом сока вернулся в гостиную, Дейл и Ричи сидели за стеклянным столиком и увлеченно беседовали. Перед ними лежали лист бумаги и карандаш.

— Компьютер считает не так, как мы, — говорил Дейл. — Посмотрим, как ты справляешься с корнями. Извлеки-ка мне квадратный корень... ну, скажем, из пятидесяти двух.

Пока мой парень пыхтел над задачкой, Дейл поднял голову и сказал мне:

— А у вас симпатичный дом.

— Насколько помнится, наш факультет тоже произвел на вас хорошее впечатление.

— Может быть, на меня вообще легко произвести впечатление...

— Вы хотите сказать, что всегда видите меня в шикарной обстановке? — закончил я за него.

— Уверен, вы этого заслуживаете, — сказал Дейл без тени улыбки и повернулся к Ричи, который сидел на красной шелковой козетке. Сиденье было не вплотную придвинуто к столику, и ему было трудно писать. — Правда, ведь, Ричи? Твой папа вкалывает дай бог.

— Хм, вкалывает... Только книжки читает, которые никто даже не открывает.

Я пытался припомнить в точности ту цитату, что привел Дейл. Кажется, это в том месте у Матфея, где говорится о лицемерах, любящих молиться перед людьми. Да-да, перед самой молитвой Господней: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне». Отец наш, который втайне, да будет благословенно имя Твое.

— Ну, как там с квадратным корнем из пятидесяти двух? — повторил Дейл. Как он попал в точку, назвав для примера число моих лет?

— Терпеть не могу квадратные корни... У меня получилось семь целых и две десятые и еще сколько-то.

— Хорошо, пусть будет семь целых и двадцать одна сотая. А вот как это делает компьютер. Он выдает предварительный ответ, даже догадку, и подставляет ее в формулу, которая в нем запрограммирована. Получается новое число. Он снова подставляет его в формулу, и так много-много раз, до тех пор, пока не получится правильный ответ. Вот эта формула.

Дейл написал что-то на листке бумаги, но мне было не до того: я смотрел в окно, не идет ли наша гостья. Эстер разговаривала с Верной по телефону и сказала, что голос у той был растерянный и расстроенный, что она не знала, найдет ли кого-нибудь, чтобы посидеть с ребенком в День благодарения. Но она обязательно позвонит, если не сможет прийти. Звонка не было.

— Пусть N будет тем числом, из которого нужно извлечь квадратный корень, — в нашем случае это пятьдесят два, — а игрек один, игрек два, игрек три и так далее — последовательные приближения к величине корня. Отсюда видно, что игрек будет равняться N, поделенному на игрек только в одном-единственном случае. Спрашивается — в каком?

Бедный ребенок задумался. Я почти видел, как крутятся и крутятся колесики у него в мозгу, а зацепиться ни за что не могут.

— Не знаю, — выдохнул он наконец.

— Ясно, когда игрек становится тем самым корнем, — терпеливо внушал ему Дейл. — Во всех других случаях игрек и N, поделенное на игрек, не равны. Но если взять среднее обоих чисел, то есть если их сложить и разделить на два, то мы приблизимся к ответу. Обязательно приблизимся. Понимаешь?

— М-м, кажется, понимаю... — Ричи осенило, или он думал, что осенило. — Понимаю, понимаю! — воскликнул он радостно или притворяясь, что рад. Временами сын напоминает мне мою мать, Альму. Своим детским чутьем я чувствовал, что она старается догнать мир, который двигался все быстрее и быстрее.

— Вот и отлично, — сказал Дейл. — Назовем этот новый игрек игреком-два и подставим в эту формулу вместо старого, и будем проделывать это до тех пор, пока не будет выскакивать одно и то же число. Оно и есть правильный ответ, и компьютер высвечивает его на экране за ничтожную долю секунды. Но за это время он должен проделать многие сотни маленьких операций, и все по двоичной системе счисления. Ты ведь знаешь, что это такое — двоичная система, верно?

— Вроде знаю.

— Чему вас только в школе учат? В какую ходишь?

— В «День паломника», — последовал смущенный ответ.

— Школа преотличная, — заявил я, возвышаясь над ними обоими. — И с сильным консервативным уклоном. Думаю, там по сей день пишут римскими цифрами. — Подушки на приоконном кресле Эстер в свое время обтянула какой-то умопомрачительной тканью, но китайские виды на ней давным-давно выцвели, хотя еще можно было разглядеть расплывшиеся очертания крыш пагод и такие же блеклые лица. Отсюда я видел кирпичную дорожку, ведущую к улице, нашу давно не стриженную живую изгородь, рекламные плакаты ближайшего супермаркета на заснеженной лужайке, коричневую обертку от «Милки уэй», все еще желтеющую акацию на краю тротуара, а через дорогу — дом с опущенными ставнями, где проживает упитанная полусумасшедшая вдова преподавателя арамейского языка, но никаких признаков маленькой Верны: ни ее упрямого пухленького личика, закутанного шарфом, ни слезящихся от ветра глаз-щелочек с красным ободком.

— Подводим итог, Ричи, — говорил Дейл. — Итак, имеем ответ семь целых двадцать одна сотая. Но давай пофантазируем, в качестве догадки подставим в формулу число десять, хотя и слепому видно, что ответ должен быть семь с чем-то — скажи, почему?

— Потому что... — помедлив, промычал Ричи. Я чувствовал, что меня прошибает пот, будто я был на его месте. Очень, очень неуверенно он выдавил: — Потому что квадратный корень от сорока девяти — семь?

— Ма-ла-дец! — точно старший брат, похвалил Дейл. Где он научился этой преподавательской заботливости? У меня мурашки побежали по спине. — Значит, если ты подставишь в формулу число десять, то новый игрек будет равняться половине десяти плюс... десятая часть пятидесяти двух — это сколько?

— Пять целых две десятые?

— А-атлично!

Давай-давай, думал я. Вертись, подманивай, завлекай. Педагог, прибегающий к приемам шлюхи, — у кого хочешь произойдет умственная эрекция.

— Итак, поделив пятнадцать целых две десятые пополам, имеем семь целых шесть десятых... Видишь, мы уже приближаемся к правильному ответу. А правильный ответ, как нам известно, — какой?

— 3-забыл...

— Как ты мог забыть? Ты же только что его нашел.

— Семь целых две десятые.

— Точно! Следовательно, новый игрек должен равняться семи целым шести десятым плюс пятьдесят два, поделенные на семь и шесть десятых... Это дает нам... э-э... допустим, семь целых восемь десятых, так что половина общей суммы будет... подсказывай, подсказывай!

— М-м... семь целых две десятые?

— А это — что?.. Наш правильный ответ! — воскликнул Дейл, не дождавшись реакции своего ученика. — С точностью до десятых. Красота, правда?

Мой затюканный сын вежливо кивал.

Вошла Эстер. Без передника она выглядела чуть ли не голой. Зеленоглазая женщина-эльф в зеленом. Добрая фея дома. Вся обстановка в комнате, включая дубовые панели на стенах, приветствовала ее, Королеву Маб с аллеи Мелвина.

Дейл спешил закончить «урок»:

— И все же это не окончательный ответ. Нельзя получить абсолютно точного ответа, если N не представляет собой квадрата какой-либо величины. Но когда разница между двумя последовательными значениями игрека меньше, чем десятичная дробь, которую мы ввели, — например, ноль целых пять тысяч тысячных, если хотим точности до шестого знака, — компьютер сбивается и начинает другое запрограммированное действие. Работа, которую он выполнял до того, как сбиться, называется повторяющимся алгоритмом, или циклом. Мы интуитивно и на ощупь приближаемся к правильному ответу, а компьютер выводит его с помощью этих циклов. Мы движемся медленными шажками, а он делает это моментально, со скоростью электрического тока. Загвоздка тут в том, чтобы циклы приближались к правильному ответу, а не отдалялись от него. Не выходили, как мы говорим, из себя. — Дейл поднял глаза к Эстер. — У вас способный сын.

— Но вряд ли к математике. В этом он пошел в отца.

Дейл посмотрел на меня, и впервые за время наших враждебных отношений я прочитал в его взгляде нескрываемую неприязнь.

— Неужели в школе вы были не в ладах с математикой?

— Да, был. Меня воротило от нее. Математика... — Я чувствовал, что глупо заноситься, но остановиться не мог. — Математика меня угнетает. — Надо было срочно выпить, и я позавидовал тому, что у Эстер полный бокал.

— Не может быть, — серьезно возразил наш молодой гость. — Математика — наука не вредная, не то что некоторые области знания. Например, геология. Математика — наука... — длинными крупными пальцами он принялся описывать в воздухе небольшие круги, обозначающие безопасное движение, — со стороны это смотрелось как кинетическая музыка, — чистая, — закончил он, и над стеклянным столиком, между потрескивающим камином и книжным шкафом, на который Эстер поставила тонкую, в коричневых трещинках вазу с его цинниями, повисла какая-то масса всего нечистого, нехорошего, пригибающего нас к земле.

Лихо — чересчур лихо, на мой взгляд, — Эстер сунула в рот зажженную сигарету с малиновым мундштуком и похвалилась:

— А мне математика давалась. Папа говорил, что не представляет ничего более бесполезного для женщины. Но я ее все равно любила. Если делать по учебнику, всегда все сходится.

Дейл посмотрел на нее с повышенным интересом.

— Не всегда и не все. Сейчас развивается новая отрасль математики, вплотную примыкающая к физике. Вычисления производятся только на компьютерах. Разработаны ячеистые запоминающие устройства с целым набором маленьких пластинок, и каждая из них представляет определенное число. Есть несколько правил, устанавливающих, какие комбинации цветов определяют цвет каждой новой пластинки. Правила эти очень простые, но образующиеся цветовые узоры чрезвычайно сложны. Поразительно также, что с ними происходит: некоторые тут же распадаются, исчезают в силу некоей внутренней логики, другие обнаруживают тенденцию перестраиваться до бесконечности, причем не повторяясь. Лично я думаю, что с помощью таких математических операций мы подойдем, можно сказать, к основам строения творения. Перед вашими глазами вдруг появляются визуальные аналоги ДНК, вообще проходит масса физических явлений, которые носят не только биологический характер, например, жидкостная турбулентность. Такие явления не поддаются математическому описанию, их изучают постепенно, шаг за шагом. Теперь их можно смоделировать на компьютере, если найдешь правильный алгоритм. Для этого и начинают использовать компьютеры — для исследования хаоса, то есть самых сложных явлений. Перспективы открываются потрясающие. Если с помощью компьютера можно смоделировать физический мир, составить алгоритмы его законов, то на мощной машине с достаточной емкостью памяти можно смоделировать всю объективную реальность и задавать ей новые условия, вопросы.

Дейл вещал в пустоту. Только я знал, к чему он клонит, и сказал:

— Если модель будет точной, она откажется отвечать, сославшись на Пятую поправку.

— Зато Ричи любит историю, правда, милый? — проговорила Эстер громче обычного. Мы немного повышаем голос, когда обращаемся вроде бы к одному человеку, но на самом деле хотим сказать что-то другому. — Только не очень древнюю, а начинающуюся с Бадди Холли.

Неуместная шуточка, подумал я; ясно, что она, даже не отдавая себе отчета, говорит Дейлу: «Видите, с кем приходится жить? С двумя тупицами».

Не знал и не знаю, как Эстер относится к мужчинам вообще.

В первое время, оторвав меня от священнического служения и от жены, от ломящихся столов и от наших возможных, но так и не родившихся детей, она была сама страсть, рожденная стыдом, и верность, рожденная чувством вины. Свет сошелся клином на нас двоих. Потом появился Ричи, начал ходить в детский сад, курсы переподготовки обеспечили мне место на богословском факультете, и наша частная жизнь, наша завоеванная и когда-то незаконная близость, когда мы были парой гладиаторов, схватившихся в завораживающем зрителей яростном бою, постепенно, незаметно вошла в привычку, превращаясь в отработанные телодвижения двух фигур в натуральную величину, изображающих нас, тогда как наши настоящие «я» усохли, сделались карликами-кукловодами, которым после представления нечего сказать друг другу. Я был уже в таком возрасте, когда угасающую половую активность воспринимаешь спокойно, как должное, как часть всеобщего умирания, как биологическую помеху — не более того, но вот Эстер... В какие-то дни месяца она буквально томилась от тоски, становилась раздражительной и нервной. Судя по всему, такое состояние пришлось как раз на сегодня. Ее рот и руки двигались с необыкновенной быстротой, тщательно сделанная «голова» рассыпалась. Она вытащила заколку из волос и, зажав ее в зубах, собрала пряди в тугой пучок на затылке. Казалось, тронь ее, и тебя ударит током.

— А я из той первобытной эры люблю Толстяка Домино, — помолчав, сказал Дейл, поглядывая на мою жену. Казалось, будто он объясняется на чужом языке, по разговорнику и совсем не уверен, что слушатели его понимают. Я чувствовал, что у меня начинает болеть голова. По праздникам всегда так. Сам не заметил, каким образом в моих руках оказался полный бокал белого вина.

— Да, его по телику часто в старых клипах показывают, — запинаясь, подхватил Ричи. — Вместе с Коротышкой Ричардом и Диной Росс, когда она еще не была Диной Росс.

В дверь позвонили. Наш старый противный звонок заверещал что было сил, словно хотел разогнать крыс, поселившихся среди древесины и штукатурки за дубовой обшивкой стен.

— Должно быть, твоя дорогая племянница, — сказала Эстер. — Позволила себе не очень поторопиться.

— Я звонил ей, — вставил Дейл, — хотел предложить пойти вместе, но никто не подошел. Вчера вечером тоже звонил, и тоже напрасно.

У них обоих были огорченные голоса. Они оба успевали по математике. Им обоим было приятно находиться рядом друг с другом. Я пошел к входной двери. Дом спланирован так, что быстро туда не попадешь. Выходя из гостиной, минуешь дверной проем с красивой верхней поперечиной, вырезанной в виде веретена, и идешь до конца коридора. Там дверь, ведущая в прихожую. Сквозь большое грязноватое стекло в ней и узкую стеклянную полоску в стене вдоль двойной двери я увидел, как с крыльца нерешительно заглядывает Верна. Усталое широкоскулое замерзшее испуганное лицо. Я открывал дверь за дверью, они скрипели и жаловались на комнатный жар и уличную осеннюю промозглость. Жаловались не только мне и Берне: на руках у нее была Пола, вся закутанная, в сбившемся набок капюшоне, из-под которого выглядывали бронзовая щечка и синий-пресиний заплаканный глаз.

— Извини, дядечка, — сказала Верна своим скрипучим голоском. — Меня просто затрахали... Сначала моя сиделка надралась — с кем оставить Полу? Ее братан говорит, зайди, может, растолкаешь дурочку. Зашла, а он — на меня, я так кричала, едва отбилась. Потом Пупси наложила в штаны. Пришлось скормить ей пачку печенья, пока подмывала, и одевала, и морду вытирала. Вышли на бульвар, а автобуса нет. Стоим, ждем, а его все нет и нет. Мне так обидно стало, хоть плачь. Старухи бездомные, которые тоже автобуса ждали, видят, вот-вот разревусь, заквохтали, засуетились, взяли у меня Пупси, тискают ее, передают друг другу, а тут еще бродяги разные. Я даже испугалась, как бы ее не утащили и вообще. Они же все сумасшедшие, которые на улице живут и по подъездам ночуют. И куда все намылились на праздник? Наверное, угощение на халяву где-то дают. Потом, значит, автобус пришел, поехали чин-чином, но гляжу, остановку-то свою пропустила. Сошла у какого-то химического института, народу никого, стучу, чтоб спросить, а эти засранцы ученые тоже ни хрена не знают. Топаю по улице, топаю — конца не видно, вся из сил выбилась, ну и поставила Полу на тротуар, чтобы сама шла. Умеет ведь, еще как ходит, когда хочет в комод залезть и перемешать там все. Поставила, значит, а эта маленькая поганка уселась прямо на холодный камень и ни в какую, только визжит, если дотронусь. Тут какая-то чудная старуха идет с белой собачонкой. У собачонки шерсть длиннющая, и морду закрывает, и ноги. Обнюхала девчонку, та, конечно, ко мне потянулась. Взяла ее на руки — комбинезон собачьими ссаками воняет! У меня всегда что-нибудь не так, когда куда-нибудь выбираюсь. Выходит, лучше дома сидеть... Извини, что заставила ждать. Правда, затрахалась вся.

Все это говорилось, пока она раздевала Полу и раздевалась сама, а я сочувственно поддакивал. Эстер тоже вышла в коридор, застав конец рассказа, и протянула Верне руку. У Эстер на редкость тонкие, изящные руки с веснушками на кисти, зато в последнее время она отрастила такие длинные ногти, что я боюсь, как бы жена не поцарапала меня, когда вертится в постели.

— Бедняжка, это же просто кошмар! — проговорила она.

— Вообще-то у меня всю дорогу так, — вздохнула Верна и продолжала рассказ: — Да, вот еще... В автобусе подкатывает ко мне мужичишка и прижимается к моей подружке. От самого перегаром несет и гнилыми зубами, а она ему так хитровато улыбается, паршивка. Ну настоящая потаскушка, правда, Пупси? — Верна как следует встряхнула девочку, чтобы до той дошло.

Пола уставилась на меня своими бездонными синими глазами, пухленькая бронзовая ручка с маленькими согнутыми коническими пальчиками потянулась ко мне. Узнала. Даже при тусклом свете коридора была видна отцовская кровь: раздувающиеся маленькие ноздри и блеск на черных прядях растрепавшихся волос, заплетенных сзади в две тоненькие косички, будто ее мама хотела сказать: вот она, моя негритяночка.

— Родж должен был бы съездить за вами на машине, — вынесла вердикт Эстер. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше?

— Я думал, что Дейл... — пробормотал я в свое оправдание, хотя дело было в другом. У обитателей нашей улицы была своя автостоянка, но расположена далековато. Если же удается найти местечко у дома, то освобождать его не хочется: тут же займут своими тачками студенты с факультета или многочисленные покупатели с бульвара Самнера. — Странно, что в День благодарения на химическом отделении кто-то был. — Я решил сменить тему.

— Были, были несколько мужиков, чего они там потеряли — не знаю. Сказали, что про аллею Мелвина слыхом не слыхивали. А она оказалась совсем рядом, за поворотом.

— Две культуры... — Я притворно вздохнул.

— Пойдемте, познакомлю вас с сыном, — пригласила Эстер, но с полпути убежала из коридора в кухню, откуда доносился аромат жареной индейки, дурманящий, как те курения, к каким в языческие времена прибегали шарлатаны-предсказатели.

Я провел Верну в гостиную.

— Здорово, умник! — небрежно бросила она Дейлу, который встал, вернее, застыл в полусогнутом состоянии. Оба обошлись без рукопожатия. Я еще раз попытался определить, спят они вместе или нет, и решил, что нет, но это заключение почему-то меня не удовлетворило. Однако, подойдя к Ричи, Верна немного подалась вперед и пожала протянутую ей с подростковой неловкостью руку.

— Так вот он какой, тот, что знает все о Синди Лопер!

— Она классная, правда? — сказал он, неуверенный и ужасно довольный. Ричи нужны друзья. Мы с Эстер в его глазах совсем старые и незнакомые. Малышом он играл с кригмановскими девчонками, но теперь Коре — той, что ближе своих сестер ему по возрасту, исполнилось пятнадцать, она стала барышней, по его выражению — шлюхой.

— Да, она ничего, — подтвердила Верна задумчиво, как настоящая взрослая. — Рóковые певички и музыканты вообще классный народец. Правда, не сами по себе, а потому что они нам нравятся.

Верна очаровательна. Она переняла у Эдны уходящие в прошлое небрежность и легкомыслие и перенесла в наше время, когда эти качества могут восприниматься как оригинальная манера поведения. На ней шерстяное платье красно-кирпичного цвета с широким вырезом. Грудь у нее низковата для девятнадцатилетней, бедра тоже тяжеловаты, они как бы соскальзывают вниз. И все же чувствовалась в ее теле жеребячья упругость и непредсказуемость. Лицо желто-бледное, а завитые волосы беспорядочными прядками спадали на плечи, так что было в ней что-то прерафаэлитское, придающее ее внешности болезненно эфемерный вид. Голову с широким плоским затылком она держала прямо, устойчиво. Уши проколоты в нескольких местах, в них две пары золотых колец. На пальцах тоже сверкали кольца, но — с чего бы вдруг! — тяжелый медный обод на указательном пальце и бирюзовый перстень на мизинце. Ногти подстрижены коротко, как у ребенка. Я был взволнован. Такая не поцарапает, обнимая.

— Па-па?.. — лепетала Пола. Маленькие босые ножки неверно ступали по нашему бухарскому ковру, словно малышка боялась провалиться. Непонятно, к кому она обращалась — ко мне, к Ричи или к Дейлу: настоящая потаскушка, сказала Верна. Боязливо приподняв и выставив вперед локотки, она заковыляла к стеклянному столику, подошла, шлепнула по столешнице с радостным восклицанием: — Па!

Дейл сел и взял ее на колени. Вернина голова на крепкой шее поворачивалась то туда, то сюда.

— Домик хоть куда, дядечка. Видно, профессора кучу денег гребут.

— Это зависит от должности. — Дом достался нам от Арнольда Принца, отца Эстер.

Дрова в камине прогорели и с треском обвалились, подняв столб искр. Ричи щипцами поправил поленья. Пола наклонилась к серебряной табакерке, которую Арнольд подарил по случаю пятилетия нашего с Эстер союза. Арнольд Принц, вдовец из Олбани, знал, как говорится, свой интерес, и мы заработали этот знак благословения лишь после пяти лет примерной совместной жизни. Впоследствии он по-царски начал выдавать дочери частями ее наследство, что окружило Эстер ореолом известной независимости и придало ей добавочную ценность. Мы зарегистрировали гражданский брак в Трое, штат Нью-Йорк, в ближайшем от сцены разгоревшегося скандала городке. Какое же это удовольствие — бросить вызов общественному мнению, оно сравнимо разве что с удовольствием убивать, которым хвастаются некоторые солдаты, оставшиеся в живых, или с удовольствием, какое испытываешь, узнав о неурядицах и неудачах других. И вот четырнадцать лет спустя я впал в конформизм, правда, немного перемешанный, и теперь с опаской смотрел на подарок тестя, зажатый в потном кулачке моей внучатой племянницы-мулатки.

— Тебе принести что-нибудь выпить? — спросил я Верну.

— О господи, неужели! А я думаю, чего это он резину тянет. Хорошо бы «черного русского», дядя Роджер.

— Угу... Что туда — водку и?..

— Кофе с ликером. Мексиканский.

— Так и знал. Нет у нас мексиканского кофе с ликером.

— Тогда «кузнечика».

— Который состоит из?..

— Не валяй дурачка, дядюшка. Догадайся сам. — Что это она, заигрывает?

— Creme de menthe?

— Ну да, потом еще чего-то добавляют. Знаю, что это обыкновенный мятный ликер и еще какой-то крем. Смешивают со льдом, встряхивают, наливают в высокий бокал и — пожалуйста, на стойку. Вкуснотища! Неужели не пробовал, дядечка?

— Когда же ты ходишь в эти дорогие бары? — спросил Дейл.

Он сложил большие ладони чашечкой, чтобы табакерка не упала на стеклянную поверхность столика. Пола открыла крышку и посасывала краешек. Из табакерки выпало несколько засохших «Английских овальных», которые остались с факультетской вечеринки в прошлом мае.

Верна снисходительно улыбнулась и мельком взглянула на меня, чувствуя, что я тоже жду ответа.

— Не обязательно дорогие. Есть, например, один в конце Перспективной, в доме, где второй этаж сгорел. Там классных «кузнечиков» подают.

— И с кем же ты туда ходишь? — спросил Дейл то, что мне тоже хотелось узнать.

— Как с кем? С ребятами... Тебе-то что? Что, девушке и повеселиться нельзя?

— Как в той песне — «Девчонки просто хотят повеселиться», — вставил Ричи, довольный своим уместным замечанием и тем, что блеснул умением орудовать каминными щипцами.

— Это точно, как в песне.

Была в Верне какая-то нарочитая вульгарность, скопированная с плохих певичек, с Шер и Бет Мидлер, — та ветвь американской эстрады, которая тянется по меньшей мере к «Сестричкам Эндрюз».

— Может, тебе сделать «Кровавую Мэри»?

— Да-вай! — манерно протянула Верна, как будто я был барменом, с которым девушка решила пококетничать назло своему спутнику.

Вдруг раздался громкий рассыпчатый стук, заполнивший всю комнату от пушистого ковра на полу до орнаментальной лепнины на потолке. Это Пола уронила табакерку на стеклянный столик. Верна вздрогнула, погасив спичку, поднесенную к сигарете в зубах, и зажгла другую.

— Видишь, дядечка? Я же говорю — поганка.

— Ничего страшного, — неискренне сказал я, подойдя к столику. Благодаря острому зрению я сразу различил большую царапину, похожую на жука, на его стеклянной поверхности и согнутый край серебряной крышки. Я потер крышку о рукав и стал собирать в табакерку рассыпавшиеся сигареты. Они крошились в моих пальцах.

На кухне Эстер расправлялась с индейкой. Волосы у нее разлетелись, сыпались заколки. Она состроила гримасу, как у Медузы.

— Чтоб я еще когда-нибудь!.. — воскликнула она. Моя жена говорит это каждый год в День благодарения.

Когда я вернулся в гостиную с «Кровавой Мэри» для Верны и бокалом белого для себя, то нашел молодежь сбившейся в кучу у стола и оживленно беседующей на языке, которого я не знаю. Горная гряда, что отделяет их долину от нашей, становится все круче и круче по мере того, как капиталистическая экономика все активнее хищнически эксплуатирует подрастающее поколение как особый рынок, куда выкидываются домашние видеоигры, лыжные ботинки с особыми креплениями и миллионы битов так называемой музыки, вбитой лазерами в ревущие, стонущие, плачущие компакты. Даешь новые высокие технологии, даешь больше бессодержательной, никому не нужной информации! На обороте какого-то конверта Дейл рисовал прямоугольники, соединенные линиями. Будучи в социологическом настроении, я заметил, что конверт — от телефонной компании. Защитники наших национальных интересов своей антимонопольной политикой разорили и раздробили могущественную «Американскую телефонную и телеграфную корпорацию». В результате счета за телефон сделались пухлыми, точно любовные послания, а когда снимаешь трубку, слышишь только треск.

Нарисованные Дейлом прямоугольники были обозначены словами «ИЛИ», «И», «НЕ». Ага, закладывался фундамент нового Евангелия.

— Как видите, — скользя кончиком карандаша по соединительным линиям, говорил Дейл Ричи, но Верна и даже Пола, казалось, слушали с интересом, — обесточенность, единица и ноль по двоичной системе счисления обеспечивают горячий выход из «ИЛИ», а не из «И», но если выход из «И» входит в «НЕ», то оттуда он выходит...

— Горячим, — подсказала Верна, поскольку мой дорогой Ричи недоуменно молчал. Я смотрел сверху на овальные лохматые головы молодых мужчин. Они были такие беззащитные и словно бы напрашивались, чтобы их погладили, потрепали. Я по-отцовски прикоснулся к волосам Ричи, тот глянул на меня с недовольной гримасой. Верна протянула руку за своей «Кровавой Мэри».

Правильно, — сказал Дейл. — И если вместо единичного бита мы поставили четыре бита, то есть половину байта, это будет выглядеть так... — Он быстро накарябал несколько нолей и единиц. Почерк у него был неразборчивый, некрасивый. Это почему-то свойственно ученым, будто точность мысли несовместима с точностью записи ее на бумаге, и наоборот (прекрасное латинское выражение — vice versa): многие священники, особенно служители епископальной церкви, пишут четко и красиво. — ...А другую половину изобразим так — что получится на выходе цепи «ИЛИ»?

После некоторой паузы, дававшей Ричи возможность ответить, Верна сказала:

— Ноль один один один.

— Сечешь! — воскликнул Дейл. — А из цепи «И» — что на выходе?

— Чего проще? — сказала она. — Ноль ноль ноль один.

— Прекрасно! А теперь, Ричи, скажи, что будет, если цепь «ИЛИ» присоединить к «НЕ»?

— Один и три ноля, — ответил я после затянувшегося тягостного молчания.

— Верно, — сказал Дейл, продолжая карябать бумагу. — Здесь видно, как с помощью простых переключателей — они называются операторами выбора — можно проанализировать поставленную компьютерную задачу, взяв входные и выходные данные любой сложности. Например, через И-оператор можно пропустить эти два четырехбитных числа, а также их противоположности, полученные из НЕ-инверторов, через ИЛИ-оператор. Итог будет ноль-один-один-ноль. В нем и совпадут начальные числа. Совпадают — значит, холодный выход, не совпадает с горячим.

— Здорово, — сказала Верна. Полбокала «Кровавой Мэри» было уже выпито. Она закурила «Английскую овальную» с розовато-лиловым мундштуком.

— Тебе надо учиться, — сказал я ей.

— Я ей тоже говорю: учись, — подхватил Дейл.

— Скажите это Пупси, — ответила Верна.

— Ииди-да, — проговорила Пола. Слюнявыми пальчиками она схватила листок из-под руки Дейла и смяла его.

Он взял листок, аккуратно разгладил и, нацелившись карандашом, снова пошел в атаку на наше невежество:

— Не буду углубляться, скажу только, что все это основано на алгебре Буля. Замечательная штука, о ней надо иметь хоть какое-то представление. Буль жил в Ирландии в середине прошлого века и придумал математическую логику. Его алгебра имеет дело с логическими законами, в основном с инстинктами и ложными высказываниями. Она-то и оказалась той математикой, которая нужна для компьютеров. Оператор ИЛИ, к примеру, суммирует по правилам Булевой алгебры. Один плюс один дает не два и не ноль, как в арифметике, а единицу. А оператор И умножает, но тоже по-своему. Любое число, умноженное на ноль, дает не ноль, как обычно, а положительное число. Инвертор НЕ просто переворачивает число. Ноль наоборот — это один, один наоборот — это ноль. Это все основы Булевой алгебры, но на них строятся умные теоремы. С такой алгеброй поразительные вещи можно делать. И она только с виду сложна, а по сути — простая.

— Ни хрена себе простая, — возразила Верна чуть-чуть заплетающимся языком. Ричи давно отвалил и шуровал в камине, углеводы снова превращались в атомы углерода, которые миллионы и миллионы лет назад составляли ядро некоей звезды. Я подумал о кончике Дейлова карандаша — неужели когда-то Вселенная была такой маленькой?

— Ты там не очень вороши, — мягко сказал я сыну. — Все тепло выйдет.

— Кажется, скоро садимся за стол, — объявила Эстер, входя в комнату. Зеленый бархат ее платья так же собирался в складки на бедрах. Подойдя к Дейлу, она сказала: — Я кое-что услышала из ваших объяснений — безумно интересно. И подумала, не могли бы вы позаниматься с Ричи, ну, скажем, раз в неделю. Поднатаскали бы его. Никак ему логарифмы не даются.

— Ничего подобного, мам! — запротестовал сын. — У нас в классе эти дурацкие логарифмы никто не понимает. Просто училка плохо объясняет.

— Учительница у них черная, — сообщила Эстер Дейлу.

— Ну и что, что черная? — тут же откликнулась Верна.

— Ничего, конечно, — вздохнула Эстер. — Знаете, одна из тех негритянок с третьеразрядным образованием. А в дорогих частных школах почему-то считают, что надо брать на работу и таких. В принципе я — за, если только дети не тупеют от этого.

— Ричи совсем не глупый мальчик, — возразил Дейл, прерывая молчание, наступившее после недемократичного заявления Эстер. — Я готов с ним позаниматься, если получится со временем. У меня неопределенный режим работы. Для компьютерных разработок приходится делить наш VAX8600 с одной девушкой. У нее своя программа, вот мы и вкалываем по очереди.

— Я уверена, — безапелляционно сказала Эстер, — что мы найдем час-другой, удобный для вас и для нас. Ричи, пойдем, поможешь мне вытащить индейку. — Она круто повернулась и энергичным шагом, не сожалея ни о чем ею сказанном, вышла из гостиной.

— Дядечка, слышь? — проворковал рядом хриплый голосок. — Пока птичка не прилетела, может, пропустим еще по одной?

На протяжении всего бесконечного гнетущего праздничного застолья, когда уже задыхаешься от еды, а в голове сокращается место для мысли, я постоянно ощущал присутствие не только Верны, чье тело с желтовато-бледной кожей уверенно, нечувствительно натягивало красное платье, чьи порывистые движения и отрывистые замечания преображались в моем затуманенном мозгу в неясные, зато обольстительные замечания, но и Эстер — такой, какой ее видел Дейл Колер: женщина старше его, миниатюрная, утомленная жизненным опытом, однако сохранившая материнскую заботливость и терпение, несмотря на резкую манеру поведения.

— Кто-нибудь хочет прочесть молитву? — спросила она, когда сели за стол.

Эстер знала, что я не люблю молиться, но если надо, значит, надо. Стоило мне раскрыть рот, сами собой полились бы заученные слова. Я уже сочинил в уме вступительную фразу и наклонил голову, как вдруг раздался жаждущий голос Дейла:

— Позвольте мне, если никто не возражает!

Никто не возражал. Мы пали жертвами его миссионерского пыла. Он нес нам, язычникам и каннибалам, слово Божие. Мы покорно сложили руки.

Дейл молился по старинке, как молились в медвежьих углах Америки наши отцы и деды, — нараспев и немного в нос. Я выключил слух, едва вознесся вверх его голос — такие голоса все время слышались у нас на факультете, — голос доморощенного благочестия. Души из захолустья так и валят к нам, словно грязные пахучие кочаны капусты, и за три года экзегетической софистики вокруг нюансов христианского вероисповедания мы рубим, режем, мельчим кочаны, превращаем в шинкованную капусту, какую купишь в любом пригородном супермаркете. Мы принимаем святых, а выпускаем священников, тружеников на винограднике неизбежного недовольства и несчастий. Давно предсказана гибель христианства, но всегда и везде будут существовать церкви — амбары, куда свозят неубывающий урожай человеческого горя.

Некоторые слова Дейла засели у меня в голове. Они напомнили, перед тем как мы набьем желудки, обо всех голодающих и бездомных по всему свету, особенно в Восточной Африке и Центральной Америке, и я мысленно задался вопросом, принял бы бог Детского фонда ООН такие молитвы, если бы не падала пугающе вниз кривая развития мироздания от сверхгиганта через бивни мастодонта и дальше. Потом мысль перескочила на трапезы и предательства: соль, просыпанная Иудой, неизменная пища Кроноса, пиры, что задавали Клитемнестра и леди Макбет. Повсюду круговорот предательства, повсюду, где собирались двое-трое или семья как одно целое. Рука Верны была в моей правой руке, и я чувствовал ее учащенный пульс. Левой рукой я держал за руку Ричи, она тоже была горячая. Эдипов комплекс с его стороны и родительская отчужденность — с моей, доходящая до животного желания уничтожить детеныша, потому что он — соперник. Более того, соперник, родившийся на твоей территории и заполняющий ее электронными шумами, вонью грязных носков и зверским аппетитом к тому, что наша недоумочная поп-культурная цивилизация почитает за жизненные блага. Прав был Эмерсон: все мы жестокосердны. Голос Дейла взмыл к заключительной завитушке, прося благословить пищу, которую мы съедим при всем нашем чувстве вины, а моя замедленная мысль, перешагнув порог дома, оказалась у Кригманов; те, будучи евреями и атеистами, не так строго блюли День благодарения, обходились без духовного холестерина, обязательного вещества в организме наших предков-пуритан, похваляющихся собственными добродетелями, а потому проводили праздник веселее, чем мы. Впрочем, в начале было много евреев — выкрестов в христианскую веру, но когда не состоялось второе пришествие Мессии, что было твердо обещано первому поколению, и в семидесятом году был разрушен Соломонов храм, они по здравом размышлении пали духом, дав римлянам возможность провести военную операцию по усмирению бунтовщиков.

Наконец-то благословение было запущено, стало удаляться в верхние слои стратосферы, и мы, сидящие за столом, расцепили потные руки. В поле моего зрения неотвратимо вдвинулось блюдо с индейкой, которую мне предстояло резать. О, эти скользкие твердые с кровью внутри хрящи! А золотистая кожица, которая на поверку прочнее скотча! Эстер в отличие от Лилиан любила немного подсушить птицу, поэтому грудку приходилось резать тонкими, как лист, ломтиками, иначе посыплются крошки, мясо начнет отваливаться кусочками, и вся работа пойдет насмарку.

Расселись мы за столом в таком порядке (иду по часовой стрелке): Верна, я, Ричи, Дейл, Эстер и Пола на старом высоком стульчике сына, который жена принесла с мансарды. Уставшая от тряского автобуса, от уличной пешей прогулки, от кусания крышки у табакерки, девчушка то и дело проваливалась в сон. Я, хотя и не проваливался, временами клевал носом, отключался на секунду-другую. Оттого такие зияющие провалы в памяти о том, что говорилось во время трапезы.

Раскладывая по тарелкам оранжевые комки вареной тыквы и белые комки картофельного пюре, Эстер спросила Дейла, в чем именно заключается его работа на компьютере.

— Это сложно объяснить, понимаете? Одна из задач, которую приходится решать, — как снизить расход ресурсов памяти в машине и увеличить скорость системы изображений. Для этого надо растровое изображение приблизить к векторному. Вот мы и ищем, как лучше это сделать. При векторном изображении между двумя точками проводится прямая или кривая линия — в зависимости от программы. Таких линий очень много, но машина делает заданные расчеты быстро, и в результате мы видим движущуюся картинку. Растровое изображение похоже на газетную фотографию, оно состоит из множества точек, которые называются пикселями. На экране обычного размера располагается квадрат: пятьсот двенадцать пикселей на пятьсот двенадцать. То есть у нас имеется примерно двести шестьдесят две тысячи элементов вывода, и в каждом постепенно появляется изображение. А чтобы картинка была как в жизни, нужно, чтобы изображение менялось очень быстро. На телеэкране в секунду проходит тридцать кадров. Если помахать пальцами перед экраном, то можно представить себе, как быстро меняется картинка. Но программировать надо не только размеры вещей и их расположение в перспективе. Надо передавать еще и цвет, и свет, и отражения света на предметах, сделанных из разных материалов и разной формы. На нашем столе, к примеру, огромнейшее количество визуальной информации. Посмотрите, как лоснится кожица индейки, как отражается эта ваза в стакане с водой и как в самой вазе отражается вот эта луковица. Посмотрите, как поднимается пар от горячего, как играет красный цвет на гранях ножки бокала — это от клюквенного сока на расстоянии фута. Японцы научились делать поразительные вещи в этом плане. У них над шахматной доской плавают стеклянные шарики, и полупрозрачные цилиндрики, и какие-то кубики. Но для этого надо рассчитать каждый пиксель, как если бы он был маленьким окошком, надо понять, как поведет себя луч, которым ты стреляешь через это окошко, и в какое место он попадет или разделится. — Дейл растопырил пальцы, показывая, как может разделиться луч. Сквозь голые березы и окна с узорчатыми стеклами — ярко-золотистыми, пронзительно-голубыми и ядовито-красными, как клюквенный сок, просвечивало грязно-желтое низкое ноябрьское небо, и в его неверном свете неестественно смотрелся Дейлов багрово-зеленый галстук. — Для расчета некоторых пикселей приходится усреднять пять или шесть разных значений. Как только ты пытаешься скопировать какой-нибудь набор объектов, возникают жуткие сложности. Даже страшно становится.

— Страшно? — переспросила Эстер. Она съела несколько кусочков и сразу же закурила, пуская из ноздрей и рта голубоватые струйки дыма.

— Ну да — пытаться воспроизвести тварный мир в плоскости визуальной информации. Это не то, что фотограф, снимающий пейзаж или группу людей. И даже не то, что художник, который мазками кисти изображает, что находится перед ним. В компьютерной графике в машину закладывается математическое описание объекта, а ты потом выводишь его изображение на экран — с любой стороны, или в перспективе, или в разрезе. Машина делает это в мгновение ока, но иногда процесс затягивается, ты словно чувствуешь, как напрягается компьютер, и секундная задержка кажется вечностью.

Вечность. Вечность в зернышке песка. У меня защипало в глазах. Вокруг тучи пищевых частиц. Кончики нервных волокон в ноздрях могли различить запах одной из них. Фрейд утверждает, что, когда мы передвигались на четырех конечностях и нос был ближе к заваленной испражнениями земле, наше обоняние было отягощено острыми ощущениями. Низкое существо — человек. Видя крепкую женскую шею, мужчина набрасывается на добычу, а потом лежит, наслаждаясь отдыхом, как лев после спаривания. Самая естественная поза — брать женщину сзади. Как вышло, что она повернулась? Или мы ее повернули? Чтобы любоваться наготой спереди? Адамов грех упал на всех. Верна ела молча, сосредоточенно. Может быть, она голодна? Кому судьба голодать в двадцатом веке, в наши дни, если он не африканец?

— Интересно, когда все переворачивается и кувыркается, — сказал Ричи, — как на телике, когда меняются программы. Или как в «Супермене один», когда трех плохих парней забрасывают в космос.

— Ну, это нетрудно, — отозвался Дейл. — Просто растягивают перспективу, смещают оси координат и так далее. Обыкновенная тригонометрия.

— Триг? У-у... — Ричи скорчил гримасу.

— Да брось, Ричи. Триг — это замечательная штука. Скоро сам узнаешь.

Секс — замечательная штука. Скоро сам узнаешь — Дейловы слова преобразились в моем воспаленном воображении. Померещилось. И самое странное, Ричи, что так оно и есть. Секс — замечательный сюрприз, преподнесенный нам природой. Слепое поклонение «предмету», учащенное сердцебиение, жар, накачивание, дрожь, выброс — вся она тут, любовь, и все же нет большего удовольствия в жизни, если не считать бридж-контракт и смерть.

— Точнее, теория тригонометрии, — говорил Дейл. — Теперь не нужно каждый раз заглядывать в таблицы и делать сложные вычисления. За нас это делает компьютер. Маленький калькулятор за девять девяносто пять. В 1950 году потребовалось бы огромное помещение, с мощным охладительным устройством, чтобы вместить весь объем операций, а сегодня можно сунуть машинку в жилетный карман — если, конечно, у тебя есть жилет. Но я, кажется, заболтался... Профессор, расскажите нам о ересях или еще о чем-нибудь.

— А вы ешьте, ешьте, не то остынет, — повторяла Эстер.

— Кому интересны мои бедные еретики? — возгласил я. — Тот же Тертуллиан, в которого заглядываю в последнее время, чтобы не забыть латынь... Как пишет, какая страстная любовь к языку! Парадоксы под стать Шоу, такое иногда выдаст, чтобы настроиться. Или взять Кьеркегора, когда он в ударе. Но у Тертуллиана есть и тепло. И человечность. Он утверждал, например, что душа по природе исполнена христианской веры — anima naturaliter christiana. Вам, математикам, полезно знать, что он выполнил кое-какие из основных христианских счислений. Именно он изобрел Троицу, во всяком случае, первым ввел слово trinitas в богослужебные латинские тексты. Он же дал формулировку Бога: una substantia, tres personae — «одна сущность, три личности», определил двоякую сущность Христа, duplex status, уточнив: non confusus sed conjunctus in una persona — deus и homo, то есть две сущности не смешиваются, но соединяются в одном лице — бог и человек. Тут, полагаю, подойдет элемент «И», как по-вашему, Дейл?

— По моему мнению, — проглотив очередной кусок и улыбаясь, ответил он, — это скорее «ИЛИ». Через «И» труднее прогнать операцию.

— Дай же поесть нашему молодому гостю, — вмешалась Эстер. — Чрезвычайно любопытно, дорогой, но... Верна, вы заметили? Мужчинам не приходит в голову поинтересоваться, чем занимаемся мы с вами.

Славная девочка — да благослови ее Господь! — игнорировала мою зловредную супругу.

— Какой же он еретик, твой Туртулян, дядечка? — повернулась она ко мне. — Весь из себя такой правильный?

— Хороший вопрос. Прежде чем ответить — кто-нибудь еще хочет этого яства? Нашу прикупленную и одомашненную заступницу?

Ричи протянул свою тарелку.

— Только белого мяса и ломтики потоньше.

— Черт подери! — вырвалось у меня. — Попробуй сделай потоньше тупым ножом. Все время крошится.

Мой богохульственный выкрик напугал даже меня самого. Третий бокал белого, эти несчастные скобы на зубах у Ричи, в которых застряли оранжевые кусочки тыквы и белые — мяса, и самое печальное — что он об этом не догадывался.

Маленькая Пола, задремавшая на своем стульчике, очнулась и начала не то что плакать, но издавать механические звуки детского недовольства. Неприятно было слышать эти булькающие всхлипы.

— Бедная крошка, заснула в таком неудобном положении, — сказала Эстер. — Кажется, у нее тельце затекло.

— Правда, Пупси? Или просто хочешь позлить мамку?

Верна весело наклонилась к ребенку, и я увидел, как углубилась у нее на щеке соблазнительная ямочка.

Испуганная Пола вытаращила глазенки, икнула и заревела.

— Если говорить коротко, — сказал я громко, чтобы перекрыть плач ребенка, — он еретик, потому что был пуританином и пуристом — таких в то время называли монтанистами. Он долго боролся с язычниками, маркионистами, гностиками, иудаистами, но потом понял, что христианская церковь сама разложилась, погрязла в земных заботах. Словом, он был не от мира сего.

— Как и ты, дорогой, — съязвила Эстер и повернулась к Верне: — Дайте мне ребенка.

— По-оехали! — молодыми обнаженными руками Верна быстро вытащила Полу из стульчика и раздраженно усадила на хрупкие колени моей жены. Та вздрогнула от неожиданности.

— Тебе, Эстер, будет интересно узнать, что в одной из работ Тертуллиана, «Ad uxorem», «К жене» — напоминаю, если ты подзабыла латынь, — говорится, что после его смерти она должна оставаться вдовой. Потом он передумал и написал другой трактат, где утверждает, что если уж она должна вторично выйти замуж, то будущему мужу необходимо быть христианином. Впоследствии он опять передумал и в сочинении «De exhortatione castitatis» — «О поощрении целомудрия» призвал ее не выходить замуж даже за христианина. Кроме того, он считал, что женщины — будь то замужние или незамужние — обязаны закрывать лицо.

— Ну как тут не возненавидеть мужчин? — сказала Эстер Верне.

— Отдам мисс Паршивку за сигарету. Кто возьмет? — ей в ответ Верна.

— Помимо всего он считал, что христиане должны почаще поститься и не служить в армии у римлян. Видите, Дейл, никто не слушает. Не везет моим еретикам. Никогда не везло.

— Я бы и сама закурила, — сказала Эстер. — Но моя пачка куда-то подевалась. Должно быть, на кухне осталась.

— Кажется, я знаю, где можно разжиться.

— Ну, это на чей взгляд, — откликнулся Дейл, потом обратился к Эстер: — Люблю молодые луковички, когда их сварят. Мама еще добавляла к ним сладкий горошек.

— А-а, в табакерке. Но они там сто лет лежат, совсем пересохли, — предупредила Эстер вдогонку, видя, что Верна встала из-за стола и направляется в гостиную, где хранился подарок тестя девятилетней давности.

— Ну, что голову повесил? — спросил я Ричи, раздосадованный его угрюмым видом. — Ешь свои тоненькие ломтики, ты же просил.

— А чего ты ругаешься? — сказал он, уткнувшись в тарелку и чуть не плача. Я снова увидел лохматую голову юного мужчины. Незрячий зверек, продирающийся сквозь дебри жизни.

— А мы занимаемся тем, — театрально провозгласила Эстер над курчавой головкой Полы, когда Верна с горстью сигарет возвратилась в гостиную, — что подчищаем грязь за мужчинами. Заварят кашу, а мы расхлебывай. Сначала устроят кавардак внутри нас, потом вокруг... — Чувствовалось, что она тоже захмелела. Когда женщина средних лет возбуждена, горло у нее делается жилистым, похожим на арфу, и вообще она вся напрягается. Полагаю, что жилистость Эстер могла бы поубавиться, откажись она от своей дурацкой диеты. Но нет, не хочет, словно не хочет дать мне лишнюю частицу женщины сверх положенной брачной квоты.

— Они просто не могут иначе, — сказала Верна, опускаясь на стул. От плавных, не передаваемых пером движений ее форм, за которыми угадывалось гибкое и сильное тело, у меня пересохло в горле.

Взяв со стола свечу, она раскурила ментоловую «овальную» с зеленым мундштуком.

— Не надоело дуться? — кивнул я Ричи.

— Оставь его в покое! — трубным голосом одернула меня Эстер, будто ребенок у нее на коленях был надежным щитом, из-за которого можно метать в меня копья. У сигареты, зажатой между ее пальцами, мундштук был перламутровый. — Обидел человека, а теперь...

— Я его не обижал. Это праздник нагоняет на всех тоску.

— И хватит рассказывать нам об этом старом ханже. От него на самом деле с тоски помрешь. И вообще, Роджер, по-моему, это какое-то извращение — заниматься доисторическими фанатиками, от которых ни кожи, ни костей не осталось. Только прах, и то вряд ли... — Помолчав, она добавила примирительным тоном: — Если никто больше не хочет, можешь убирать со стола, дорогой.

— Я помогу, — вызвалась Верна, вставая. Клуб дыма от ее сигареты пополз к ней за вырез платья.

В кухне мы пару раз ненароком задели друг друга задом и вроде бы этого не заметили.

— Соскребай все в среднюю раковину — там мусоропровод, — посоветовал я тихо, словно речь шла о чем-то непристойном. Потянувшись к полке за десертными тарелками, я коснулся рукавом ее теплого обнаженного предплечья. Сильные руки, как у амазонки; с какой легкостью она подняла своего ребенка со стула. Всего лишь дочь моей сестры по отцу, прикинул я, значит в нас по четвертой части общей крови.

— Я возьму тарелки. Ты достанешь пироги из плиты?

— Вот это да! Тыквенный! С детства обожаю тыкву, наверное потому, что ее не надо жевать. Еще крем обожаю и тапиоку.

— А я поэтому люблю котлеты. — В гостиной я поставил тарелки перед Эстер и сказал: — И в конце концов в сочинении «De monogamia» Тертуллиан пришел к выводу, что повторное замужество все равно что прелюбодеяние.

Увлеченная разговором с Дейлом, Эстер словно не слышала меня.

— Из ваших объяснений я поняла больше, чем из статей и телепередач. Из вас получился бы превосходный педагог.

— Я, собственно, занимался преподавательской работой. Год назад. Читал один из разделов введения в высшую математику, но потом университет...

Я вернулся в кухню, вытащил из плиты яблочный пирог, любимое угощение моего нерадостного детства, — с корицей и корочкой в «птичьих лапках». Но пекли его редко, хотя в Огайо полно яблоневых садов. Мама всегда и все приберегала на черный день не потому, что мы не могли себе позволить того или другого, а потому, что осуществляла на практике жизненный принцип бережливости, усвоенный ею с младых ногтей. Поскольку я уже тяжелил мамин живот, когда ушел отец, то покорно понес свою долю вины за ее привычку «обходиться без» и свою долю лишений. Вместо того чтобы выставить тыквенный пирог на кухонный стол, Верна доливала в свой бокал порядочную порцию водки. Остатки «Кровавой Мэри» окрасили водку в розовый цвет.

— Это тоже не нужно жевать, верно?

Она хихикнула и залпом опорожнила бокал. Щеки у нее порозовели, глаза заблестели.

— Да брось ты, — пропела она голосом Синди Лопер и толкнула меня упругим бедром.

— Смотри, не урони что-нибудь, — сказал я.

В столовой Эстер говорила Дейлу:

— ...И так каждое лето. Говорим, надо бы уехать на несколько недель из города, но стоит подумать о втором наборе ножей и вилок и о втором тостере, о дополнительных комплектах постельного белья и о том, как бы не ограбили оставленный без присмотра дом, меня охватывает ужас. Ну просто кошмар какой-то. Не знаю, как это другим удается... Дейл, дорогой, вам яблочный или тыквенный?

— Понемногу того и другого, пожалуйста.

— Понемногу — это как? По биту или по байту?

Он улыбнулся. Такие моменты учтивости раздражали меня в нем больше всего.

— Если по байту, другим не хватит. В байте восемь битов.

— Тогда по кусочку того и другого. — Она подала ему тарелку. — Что это будет — «ИЛИ» либо «И»?

Снова приятная (противная!) улыбка. Один краешек его рта растянулся.

— Если один элемент отсутствует, а следующий за ним исчезает, то это будет «И».

— Понятно... Ричи, дорогой, ты что, сердишься на нас? Простите, Верна, сначала обслужу наших доблестных джентльменов. Леди — во вторую очередь.

Увидев, как перед ее глазами в тонких руках Эстер засверкали нож и лопаточка, Пола начала смеяться. Малышка потянулась за своей долей, бронзовые пальчики ткнулись в тыквенный пирог.

— Я возьму этот кусок, — быстро отреагировала Верна и, привстав, подняла ребенка с колен хозяйки. — Будь ты неладна, чертовка! Жадина-говядина — вот ты кто.

Верна с размаху усадила девочку на стульчик. Та опять стала всхлипывать, но мамаша отработанным движением сунула ее испачканную ручонку в искривившийся ротик, и та принялась сосать пальцы, сначала неохотно, потом — с удовольствием, и притихла.

— Я обещал разузнать относительно сдачи экзаменов экстерном, — напомнил я Верне.

— Роджер, дорогой, — сказала Эстер, — мы совсем про тебя забыли, прости. Тебе яблочного?

— Попробую и тыквенный.

— Ах, я думала, ты не любишь тыквенный.

— Не помню, чтобы я не любил. Ты давно его не пекла. Пожалуйста, положи.

— Ладно... Уж не ищем ли мы приключений? В нашем-то возрасте? — Ее зеленые глаза сузились и задвигались направо, налево, устанавливая некую связь между юной женщиной справа от меня и тыквенным пирогом. Не в правилах моей благоверной, особы принципиальной и методичной, упускать что-либо из виду и бросать начатое на полпути, иначе, случайно переспав со мной два-три раза и устыдившись, она сказала бы, что с нее довольно; тогда мы с Лилиан и по сей день угощали бы приходских детей за нашим большим безлюдным столом. Дорогая Лилиан, ни за что не поверю, что во Флориде можно оставаться счастливой на протяжении долгих четырех месяцев. Когда я вспоминаю первую жену, мне всякий раз кажется, будто я смотрю на передержанную фотокарточку.

— Кроме того, — под стук ножей и десертных вилок продолжал я втолковывать Верне, — в каждом городе раз в месяц устраивают экзамены на аттестат зрелости в рамках ВОП, то есть Всеобщей образовательной программы. Экзамены по английскому, по английской и американской литературе, по обществоведению, по естественно-техническим наукам и по математике. Каждый экзамен рассчитан на два часа.

Эстер между тем просвещала Дейла:

— Конечно, если у вас есть хоть какой-нибудь садик, вы до самого августа так привязаны, что можете отлучиться лишь на несколько дней. Понимаю, глупо быть рабыней у цветов, но что поделаешь. И знаете, — только не сочтите меня за сумасшедшую, — с цветами надо разговаривать. Их надо любить. — Свободной рукой Эстер поправила упавшие пряди на голове. Рука у нее дрожала. Не забывая о сидящей рядом Верне, я смотрел на нее глазами Дейла: впечатление было такое, будто разом заиграли все цвета, будто ты поймал наконец четкое, частое изображение в телевизоре. Она была ослепительна, она притягивала, как магнит. Зеленый бархат платья поблескивал в свете умирающего праздничного дня, рыжие волосы переливались сотнями светящихся точек, круглый умный лоб пылал, в выпуклых глазах с быстротой электрического тока перемежались ироничность и кокетство, а изломанные губы, накрашенные так, что помада захватывала по миллиметру «тела» сверху и снизу, придавали ее миниатюрному лицу шутовское, шаловливое выражение.

Верна ела задумчиво, глотала, почти не жуя.

— Экстерном — звучит пугающе. Может, не стоит, дядечка?

— Еще как стоит! — убеждал я. — Не надо поступать в школу. Сдав экзамены, можно и о колледже подумать. Не хочешь в колледж, есть секретарские курсы или курсы моделей и вообще что угодно. Тебе только девятнадцать лет, перед тобой масса возможностей. — Проснувшийся во мне духовник-наставник задыхался от волнения.

— Но я ведь ни хрена не понимаю в обществоведении.

— О принципе сдержек и противовесов слышала? Это когда взаимодействуют законодательная, исполнительная и судебная власти. Конституцию знаешь. Газеты читаешь.

— Ни о каких принципах не слышала. Конституцию не знаю и газет не читаю.

— Радио-то слушаешь. По радио известия передают.

— Новостные станции я не включаю, только те, где музыка.

— ...понимаете, это такое утешение — цветы, — говорила на противоположном краю стояла Эстер. Она повернула голову, и теперь я видел крупным планом то, что видел Дейл: густой слой краски и реденькие усики над верхней губой, ее шевеление, когда задумчиво приоткрывался рот, и чувствовал, как возбуждаюсь, как между ногами у меня вспухает комок. Я понимал, что при всей своей начитанности и образованности Дейл всем телом потянулся к этой женщине, которая, решив лечь в постель, сделает что угодно. Легкая, стройная, пружинистая фигура и жадные зеленые зовущие глаза обещали: все, что угодно.

— Но я ведь ничегошеньки не знаю, — плачущим голосом пожаловалась Верна.

— Ты знаешь больше, чем думаешь, — теряя терпение, сказал я. Я почувствовал себя помехой в музыкальной программе.

— На что он вас подбивает, Верна? — осведомилась Эстер. — Что за экзамен?

— И говорить об этом не хочу, — ответила Верна. — Неловко.

— Экзамен экстерном за среднюю школу, — вмешался Дейл. — Я ей год об этом твержу. Здорово, что ты наконец согласилась.

— Ничего я не согласилась. Мы просто говорили об этом.

— Запросто сдашь, — поднял голову Ричи. — Легче, чем каждый день таскаться в «День паломника».

— Профессор Ламберт поможет тебе с языком и литературой, а мы с тобой повторим математику и точные науки.

— Ну уж нет, — сказала Эстер, положив свою тонкую руку на его узловатую, с красными костяшками кисть. — Вы обещали позаниматься с Ричи.

— Соглашайся, Верна, соглашайся! — воскликнул Ричи, стараясь найти верный тон.

— Какого хрена вы ко мне прицепились? Совсем затрахали!

Повисла пауза, во время которой Пола рыгнула и попыталась пососать другую руку, не вымазанную сладкой тыквой. Эстер наконец объявила:

— Но мы же все так вас любим, милочка.

На кухне мы с Эстер мыли тарелки и варили кофе, который она собиралась подать к камину (благодаря стараниям Ричи камин давно погас). Она сухо сказала:

— Похоже, нам обоим придется заняться просвещением.

— Только тем и занимаюсь, — ответил я, недовольный, что жена — по примеру моих говорливых доисторических, ставших тленом стариканов, которые давали мне возможность зарабатывать на хлеб с маслом, — пожелала четко и недвусмысленно назвать то, о чем следовало бы умолчать.

— Да все мы так, — со вздохом отозвалась Эстер, рассеянно поправляя растрепавшиеся волосы. На губах ее застыло облачко печали, она выглядела милой и желанной.

## 

## 3

Весь декабрь погода стояла теплая, словно небеса ниспосылали благословение всей Америке, нашим очередным выборам. Многие думали, что устами президента глаголет сам Господь, а остальные видели в нем природную стихию, которой нет ни сил, ни желания противостоять. Некоторые, голосовавшие за его оппонента, втихомолку радовались: тот мало чего требовал, зато многое обещал. Впрочем, нет, это не совсем верно: при ближайшем рассмотрении обещания оказались более скудными и туманными, чем когда бы то ни было. Тем самым он снимал с избирателей бремя ожиданий и еще больше уподоблялся Избраннику небес, чье бездействие помогло нам сохранить веру в него на протяжении двух тысячелетий (если же, contra Маркиону, считать еврейского и христианского Бога за одного, то дважды двух тысячелетий (при том понимании, что дата сотворения мира, согласно архиепископу Ушеру, — 4004 год до Рождества Христова, знаменует также начало активного поклонения Всевышнему и восхваление Его (хотя, разумеется, можно полагать, что даже пустота поет Ему осанну, и святоши, тот же Дейл, склонны утверждать, будто вечные и незыблемые законы математики суть формы этого, весьма гипотетического поклонения). Попробуйте разобраться, если сумеете.

Несколько лет назад Эстер поступила на работу в детский сад, находящийся в двадцати кварталах от дома. Работала она четыре дня в неделю с семи тридцати до двух тридцати. Платили ей гроши. Чтобы не мыкаться с парковкой и избежать весьма вероятного повреждения со стороны современных вандалов нашей новенькой привлекательной «ауди» — серебристой, как сообщалось в рекламной брошюре, но выкрашенной, что обнаружилось при доставке, в какой-то темноватый неопределенный цвет, названия которому не сыщешь ни в одном словаре, — она с недавних пор стала ездить на автобусе, а машину оставляла на обочине перед домом или, реже, в нашем маленьком гараже, заставленном садовым инвентарем, пустыми бочками и стареньким гамаком, так что в один прекрасный день, когда в расписании не значился мой семинар и мне не пришлось тащиться с утренней лекции домой (и наскоро закусив булочкой с запеченным внутри кремом, одной из тех, что сохранились с прошлого воскресенья, и стаканом молока, который я выпил стоя в пустой прохладной кухне, глядя на хмурое лицо Сью Кригман, стучащей на машинке в своем «кабинете» на втором этаже, и тщетно покрутив ручку отопительной системы, установленной экономной Эстер на слабый режим), я сел в машину и поехал к племяннице. Я предупредил Верну по телефону, что приеду, и заранее запасся пухлой хрестоматией по американской литературе в скользкой синей обложке, рассчитанной предположительно на старшеклассников, которую купил в университетской книжной лавке, сбивающей с толку своим изобилием.

Проезжая по бульвару Самнера, где месяц назад мне довелось идти пешком, я был поражен: он как бы потускнел, утратил нарядность. По небу тогда бежали измученные ветром облака, проблескивало солнце, а сегодня над городом нависла желтоватая влажная мгла, заглотившая верхушки небоскребов в центре, и смешивалась с расплывчатыми очертаниями оголившихся деревьев. Если идешь пешком, магазины влекут тебя к себе какой-то колдовской силой, но на отдалении и при езде на автомобиле они напоминали временных жильцов в аляповатых домах-коробках, таких же недолговечных, как игрушечные города, которые я сооружал в Саут-Юклиде, когда моросило во дворе, из коробок из-под яиц, овсянки и кукурузных хлопьев, скрепленных скотчем и разрисованных цветными карандашами. Застигнутые межвременьем — темная пора года и теплая, не по сезону погода, — люди не знали, что надеть, и одевались кто во что горазд, одни шагали в шубах, другие в шортах. Вот две негритяночки в ярких светящихся мини-юбках, длинные косички — точно змеи на голове у Медузы; они проходят мимо легко и быстро, как прошла Алиса сквозь зеркало, но в отличие от героини Кэрролла, сделавшейся невидимкой, всем своим веселым наивным видом показывая, что не хотят оставаться незамеченными. Блеск и нищета шествовали по бульвару рука об руку. Мне вдруг захотелось петь: я отдалялся от привычной обстановки туда, где в убожестве и грязи рождались новые надежды. Фонарные столы были перевиты рождественской мишурой, и даже в витринах магазина рыболовных принадлежностей и скобяной лавки громоздились сугробы из ваты.

Я включил сигнал поворота налево, на Перспективную улицу, и обнаружил, что по ней одностороннее движение. Я не заметил этого, когда проходил здесь пешком. Пришлось проехать еще один квартал, вниз к реке, но там под фермами моста образовалось несколько пробок. Я взял влево и вдруг понял, что выехал на шоссе и удаляюсь от города. Через несколько минут мне удалось вырваться из густой ревущей вереницы автомобилей: на мое счастье, вскоре попался съезд, и я очутился между заводскими стенами. Высокие окна были заколочены деревянными щитами и листами проржавевшей жести. Тянулись минуты, пока наконец я не выехал снова на Перспективную улицу, пропетляв переулками между домами с крыльцом в шести шагах от мостовой. Но и здесь на окнах и дверях виднелись жалкие рождественские украшения. На новостройке над подъездом каждого дома красовался венок, перевитый пластиковой лентой. Под колесами хрустело битое стекло. Я остановился возле таблички, на двух языках предупреждавшей, что парковка посторонних машин запрещена. Едва я вышел, как ко мне подбежал черный мальчишка лет десяти, не больше.

— Эй, мистер, посторожить вашу машину?

На нем была футбольная майка с широкими поперечными желтыми и зелеными полосами. Тепло, конечно, но в декабре — в футболке?

— А что, ее нужно обязательно сторожить?

Мальчишка заморгал: ирония здесь была не в ходу.

Потом сказал на полном серьезе:

— Тут парковаться нельзя, но если я постерегу, тогда все о'кей.

— Ты, поди, знаком с самим мэром?

Он снова заморгал, чувствовалось, что парень встревожился.

— Ни разу с ним не встречался, зато знаю мужиков, которые знакомы с ним. Факт.

— В таком случае вот тебе доллар, — сказал я, справедливо рассчитав, что одним камешком он может так поцарапать девственную поверхность моей «ауди», что покраска обойдется в тысячу. Я вошел во вкус этой встречи и держал деньги высоко, так что он не мог дотянуться.

— А чего ты не в школе?

Он никак не мог взять в толк, кто я и чего хочу, но доллар — это все-таки доллар.

— Там ни хрена полезному не учат.

После такого печального и проницательного ответа у меня пропало желание продолжать игру, и я отдал ему его трудовой доллар.

— Надень свитер, а то простудишься, — наставительно сказал я и спохватился. Мальчишка молча смерил меня презрительным удивленным взглядом. Один-ноль в его пользу. Зажав под мышкой тяжелую хрестоматию, я вошел в подъезд. Надписи на стенах о Тексе и Марджори были подновлены розоватым спреем, очевидно, по случаю праздника.

Я постучал в дверь к Верне.

— Дядечка? — Голос ее слегка дрожал, то ли от испуга, то ли она плакала.

— Да.

Но когда, гремя цепью, она отперла дверь, я увидел, что глаза у нее сухи и вообще Верна, как и две черные девчонки на бульваре, бодра и весела. Предупрежденная о моем приходе, она надела юбку из плотной ткани, а не тот короткий соблазнительный халатик, симпатичную белую блузку с длинными рукавами и — странный, чуть комичный и элегантный штрих — пестрый шелковый платочек с узелком на горле. Платочек немного прикрывал грудь, но тем сильнее я как бы ощущал ее наготу между ним и низким вырезом блузки, такую же соблазнительную, как живот у женщин в дни моей молодости, когда они носили бюстгальтеры и панталоны. Кроме того, платочек придавал Верне озорной и вместе с тем беззащитный вид, потому что узелок всегда зовет развязать себя. Я заметил и бугорки сосков, но, может статься, у нее просто тонкий лифчик. И последнее: она встретила меня не босиком, как в прошлый раз. На ногах у нее были маленькие, похожие на балетные туфельки с полукруглыми носками, в которых не выйдешь на улицу, но здесь, дома, они свидетельствовали о том, что их хозяйка экипирована для занятий и готова выслушать дядину лекцию.

— Покажи-ка бланки вступительных документов. Ты взяла их? — говорил я, снимая короткую дубленку и пиджак: в квартире было нестерпимо жарко.

— Не-а. Я ходила туда, а они говорят — давайте свидетельство о рождении. Не хотят, чтобы я опередила ребят из соответствующего класса, если мне меньше восемнадцати.

— Показала бы им водительское удостоверение.

— Думаешь, не сообразила? Конечно, показала. А мне говорят, оно недействительно, выдано в другом штате. Секретарша вся из себя обходительная и ужасно милая, но, говорит, не имею права. Не знаю, говорит, как в других штатах, а у нас требуется свидетельство о рождении. Как будто его в кармане носят. А мое свидетельство у мамки в сейфе, если не потерялось с последнего раза. Я-то думала, что теперь все это на компьютерах в Вашингтоне записано. Нажмут кнопку с твоим номером социального обеспечения и — пожалуйста: тут тебе и рождение, и отпечатки пальцев, и группа крови, и с кем спала.

— Ну, до такого мы еще не дошли. Пока только в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом живем. Хорошо, а ты Эдне написала, позвонила? — Назвать имя сестренки для меня что ежа взять в руки — и хочется, и колется.

— Извини, дядечка, не успела. — И нелепое прозвище, которым она меня наградила, и ее поддразнивание выдавали, что она нутром чувствует, как волнует меня упоминание о ее «мамке». — Бороться с бюрократией — знаешь, как выматывает? Вернулась я, значит, домой и — в ванну, чтобы расслабиться, а потом вообще про все забыла, пока ты не позвонил. — Увидев разгневанную мину на моем лице, она поспешила объясниться: — Я думала, это тут недалеко, куда ты на работу ходишь, ну, в этих гадких административных зданиях как раз напротив бара «Домино» — помнишь, я о нем говорила, где на втором этаже пожар был, но потом узнала, что дала маху, и пришлось пилить и пилить, а тут еще Пупси в этой гребаной коляске с погнутым колесом, пятнадцать баксов за нее сдуру выложила соседке снизу, — одним словом, пришлось тачку за пятерку взять, до самой бы школы доехала, не представляла, что такие бывают, громадная-прегромадная, больше танцзала, или кладбища, или магазина с книжками для взрослых, куда только прыщавые подростки ходят, и страшная, как образцовая тюрьма, только она на горке и колючей проволоки на ограде нет, во всяком случае, я не заметила. Секретарша милая попалась, я уже говорила, и она говорит, что экзамены запросто сдашь, если умеешь читать, только сказала, чтобы не в один день все сдавать.

— Вот и посмотрим, умеешь ли ты читать. Я хрестоматию по американской литературе принес.

— Правда? Ты такой милый, дядечка, что это с тобой?

Квартира была прибрана, не то что в прошлый раз, яблоки и бананы в салатнице прямо напрашивались на натюрморт. Телевизор и кассетник были выключены. За стенкой у соседей слышался разговор — живой или по ящику.

— А где же Пола?

— Тс-с... Маленькая дрянь наконец-то заснула. Сегодня утром в полшестого меня подняла. Я ее чуть не убила. А книга-то тяжелая.

— Всю ее тебе читать не обязательно. Если мне не изменяет память, в программе средней школы фигурируют «Танатопсис» Уильяма Каллена Брайанта, «Бочонок амонтильядо» Эдгара Аллана По и «Счастье Ревущего стана» Брет Гарта. Начнем с «Танатопсиса», это самая короткая вещь.

Я стоял, а Верна опустилась на шаткое бамбуковое кресло-корзину. Оно слегка заскрипело под ее тяжестью, и что-то в этом скрипе и в серых тенях идущего на убыль дня, которые ложились на стены ее угловой квартиры и спускались к вырезу ее блузки, рождало во мне смешанные отзвуки тех летних дней с Эдной, когда я проводил обязательный месяц у отца в Огайо и мы, дети, прятались от солнца, мошкары и скуки на чердаке. Кроме меня и Эдны, там собирались соседские мальчишки и девчонки тринадцати-четырнадцати лет, и там, под покатой крышей, среди покрытых паутиной старых чемоданов и картонных коробок, постелив истрепанный половик на голые доски и подзуживая друг друга, мы начали играть в покер на раздевание. Эдне, как обычно, не везло, она сняла одну сандалету, за ней — другую, потом носки, потом принялась спорить, что заколки для волос тоже считаются, и добавила две штуки к своим потерям. Длинные вьющиеся волосы упали ей на плечи, затем она торжественно поднесла пальцы к пуговицам своей летней блузки, и необычная белая, будто подкрахмаленная бабочка вспорхнула в нашем секретном полумраке. Путано плясали пылинки в столбе солнечного света, пробивающегося сквозь узкое чердачное окошко. Дальше раздеваться было нельзя, и Эдна снова начала спорить, в ее сдавленном голосе слышались слезы; тогда мы условились провести голосование, продолжать игру или бросить, и, поскольку мальчишек было трое, а девчонок только две, результат был известен заранее: продолжать. Но я проголосовал «против», и Эдна чмокнула меня в щеку в знак благодарности. Что это было — благодарность? — гадал я все лето. Или она чмокнула меня просто так, непроизвольно, или даже из жалости? Как-никак я голосовал заодно с девчонками.

В мою память запало и другое лето — или то же, ибо нам было столько же лет, хотя я на год старше ее, но мужал медленно и не отличался высоким ростом, — когда мы боролись с ней в поле. От нас несло потом посреди щекочущего аромата застоявшейся осыпающейся травы, и вдруг, словно признанная победителем невидимым судьей, она поднялась и поставила на меня ногу, а я не вставал от усталости или лени, и заглядывал в ее шорты, и видел под ними трусики, сбившиеся во время схватки набок, и густой черный треугольник внизу живота. У меня в том месте тоже росли волосы, но я был на год старше, и волос у нее было больше, значит, она имела право поставить на меня ногу; мой вспотевший сильный товарищ и враг, который жил с моим — нашим — отцом.

Из-за плеча Верны я читал про себя начало «Танатопсиса»:

С тем, кто понять умел язык природы

И в чьей груди таится к ней любовь,

Ведет она всегда живые речи.

Коль весел он — на радости его

Найдется в ней сочувственная радость.

В часы тоски, тяжелых скорбных дум,

Она своей улыбкой тихо гонит

Печали мрак с поникшего чела.

Я почти физически чувствовал, как Верна скользит глазами и сознанием по этим гладким звучным строкам.

— Он написал это, когда ему было лет меньше, чем тебе сейчас, — сказал я.

— Угу, я тоже прочитала эту заметку наверху.

Меня кольнула обида: она не оценила моей эрудиции. Я-то не прочитал заметку, я черпал из памяти.

— Как ты поняла начальные строки этого стихотворения?

— Не очень. Чудные слова есть. «Коль» — это «если», да? А что такое «чело»?

— «Чело» — устаревшее слово, означает «лоб». Попробуй рассказать своими словами, что хотел здесь выразить Брайант.

— Когда тебе плохо, природе тоже плохо. Если хорошо, и ей хорошо.

— Ну что ж, вполне сносно. — Меня почему-то волновала ее сообразительность. Половое возбуждение — это особое состояние нервных клеток, что-то вроде растревоженного пчелиного роя, которому подвержены мыслящие люди. — Скажи, чего нет в этом стихотворении?

— Если нет, чего говорить?

— Рифмы, рифмы нет, девочка! Ты знаешь, что это такое?

— Еще бы! Розы — слезы.

— Потрясающе! Зато в нем есть ритм. Иначе сказать, слова в стихотворении ритмически организованы, но в разных стихотворениях организованы по-разному. В нашем случае это ямб, где ударение на втором слоге: ведéт / онá / всегдá...

— И всю эту тарабарщину нужно знать к экзаменам?

— Кое-что знать вообще не вредно, — менторским тоном произнес я и тут же подумал, сколько неправды в этом утверждении. — Хорошо, прочитай мне вслух отсюда. — Я показал пальцем на строку, попридержав пухлый том на ее коленях, чтобы он не закрылся. Ее белеющая в полумраке грудь уходила под блузку. — «Прислушайся к немолчным голосам...»

— «Услышишь ты: „близка, близка пора“, — подхватила Верна. — „И для тебя померкнет луч денницы... / Не сохранят ни влажная земля, / Которая оплаканных приемлет, / Ни океан безбрежный — образ твой... / Земля тебя питала. Ныне хочет / Она, чтоб к ней опять ты возвратился / И чтоб твое землею стало тело. / Так, прежнего лишившись бытия / И всякий след его утратив, должен / Навеки ты с стихиями смешаться. / И будешь ты скалы кремнистой братом / И глыбы той, которую весной / Плуг бороздит...»

Голос Верны, обычно хрипловатый, слегка дрожал от усердия. Увы, я был единственным слушателем.

— Все слова поняла? Стихии — что это?

— Это когда у природы плохая погода.

— Денница?

— Наверное, рассвет.

— В самую точку. Тебе понравилось? Что ты почувствовала, прочитав этот отрывок?

— Ничего. Немного скучновато. А ты что почувствовал?

— Как тебе сказать... Не хочу я быть «скалы кремнистой братом». Не хочу «с стихиями смешаться». Недостаток стихотворения в том, что его язык уводит от темы. А тема — смерть, по-древнегречески thanatos. И название переводится «видение смерти».

— Да, в заметке тоже так сказано.

— Все слишком спокойно и гладко. Юный поэт нащупал проблему, но ему не хватило живого чувства. Он не проникся безотчетным леденящим ужасом смерти. Вот немного выше он пишет: «Ночь без конца и узкое жилище / Под каменной холодною плитой». Брайант был так молод, что без особого трепета это написал. Зрелый поэт ни за что не написал бы: «узкое жилище... под плитой», у него рука заледенела бы от ужаса. А что он дальше делает? Пишет о древних патриархах и праведных мужах, которые давно умерли и составят тебе компанию. Все «близ тебя усталые склоняются», как будто это великое утешение. И в конце стихотворения, не уповая на веру, ни разу не упомянув Бога, приходит к выводу, что умирание — засыпание, исполненное «ясных грез». Какие у него тому доказательства? Да никаких! Все стихотворение построено по образу прощальных стишков, написанных по случаю выпускного вечера в школе. Большие вопросы тонут в малозначащих, банальных ответах.

Верна молча задумалась. Я смотрел сверху на ее голову с шапкой волос. Каштановые пряди перемежались белокурыми и были уложены правильными спиралями — по таким же спиралям циклотрон гонит массы тяжелых микрочастиц. Оттуда, из глубин волосяной чаши, шел аромат шампуня, к которому добавлялся естественный запах кожи.

— Но, дядечка, он ведь не говорит, что перед смертью мы видим «ясные грезы» и что мы должны их видеть. Умирая, мы не должны быть похожими «на раба, в тюрьму влекомого всесильным властелином». Надо, чтобы «просветлен был дух твой примиреньем».

— Примиреньем с чем? С тем невыразимо печальным фактом, что «и юноша, и полный силы муж, и красотой блистающая дева, едва на свет рожденное дитя» тоже обречены на смерть? — Я ткнул пальцем в то место, которое цитировал, но Верна в этот раз крепко держала книгу, и она не сложилась. — А возьми этого, «веселого», — продолжал я, пытаясь смягчить свою резкость. — «Кто весел, тот тебя проводит шуткой, кто удручен заботой тяжкой, мимо пройдет угрюм. За праздниками оба всю жизнь они гоняются» — разве это не ужасно?

— Да, ужасно, — согласилась она, отняв руки от книги, страницы поднялись, и в сумеречном свете из окна буквы на них слились в один серый прямоугольник. — Да ты не переживай, дядечка. Брайан, или как его — Брайант? — правильно говорит, что все мы умрем. А если ты не хочешь помирать, поговори с Дейлом. Он верит, что смерти нет, что это только кажется. Я-то думала, что веришь или не веришь — это по твоей части. Твой бизнес.

— Может, это не должно быть бизнесом. — Я вспомнил о Явлении Иисуса Савлу на пути в Дамаск, меня слегка качнуло, и мои губы непроизвольно зарылись в ее волосы.

Она вскочила, как испуганная кошка, на ноги и, повернувшись, уставилась на меня широко раскрытыми желтыми глазами.

— Ну и что дальше? Возьмемся за «Счастье Ревущего стана» или трахнемся?

«Трахнемся?» Слово было как дверь, распахнутая в поле необозримых возможностей. У меня перехватило дыхание.

— Я знаю, ты меня хочешь, — продолжала она сдавленным от испуга и гнева голосом. — Только вот не знаю, меня ты хочешь или мамку. Всешеньки я про вас знаю. Ты всегда хотел ее уделать, но не получилось. Зато у многих других получилось.

— Не убежден, что ее можно было уделать, — сказал я рассудительно. — То был совсем другой мир, Верна. Ни таблеток, ни полового просвещения в школах, ничего. Мы были совсем детьми и не очень-то любили друг друга.

С каждым днем после того приснопамятного покера на чердаке Эдна становилась все более замкнутой, все более отдалялась от меня, блуждая на перепутьях собственной жизни. Мы росли в разных районах Большого Кливленда. В пятнадцать лет у нее появились дружки, иногда она рассказывала мне о них. Да, теперь я это вспомнил. Ни с того ни с сего она начинала делиться своими секретами, когда я приезжал летом погостить у отца и Вероники, моей корпулентной, сдобной мачехи. Стройная соблазнительница, которая увела моего отца, пока я спал в материнской утробе, превратилась в зауряднейшую матрону средних лет, занятую приходскими делами и бриджем. Общая отцовская кровь словно лишила меня пола, больше того, надела на меня юбку, блузку, носочки, превратив в девочку-подростка. Едем мы, бывало, из теннисного клуба, усталые, потные, или сидим со стаканом лимонада и припрятанной пачкой «Кэмела» на длинной боковой веранде в Шагрен-Фоллз, и Эдна рассказывает, что позволяет тому или иному дружку, кто получил право снять с нее что-нибудь, какие заповедные места ласкает счастливчик и как долго. По ее рассказам выходило, что мужчины — единая многорукая машина для массажа, своего рода мойка, из которой выезжало тело американской девицы с полированным бампером и большущим багажником, готовое к замужеству и деторождению ради прироста народонаселения Соединенных Штатов. Эдна наверняка выходила замуж девственницей. Я не мог понять, как Верна предлагает себя: при условии, что я отрицаю свою привязанность к Эдне, или безо всяких условий.

— И вообще, ты вряд ли кого-нибудь любишь, дядя Роджер, — буркнула Верна, как обиженный ребенок, возвращая нас в русло спора, где я чувствовал себя увереннее всего: довод и контрдовод, аргумент «за», аргумент «против».

— А кого ты любишь, Верна? Расскажи о тех таинственных парнях, которые не дают тебе прохода и водят в «Домино».

— Обычные ребята, — пожала она плечами. — Правда, они видят во мне белую дешевку, с которой можно перепихнуться. Но это тоже о'кей. Зато уважают за задницу. Хорошая задница, знаешь, в цене.

— Можно сказать, ценное имущество.

— Три ха-ха, — хрипло отозвалась она, и мне показалось, что Верна вот-вот заплачет.

— Не забудь, у тебя есть еще и голова.

— Как же, как же! Не хватает только, чтобы ты сказал: у тебя и душа есть. Но про душу лучше всех Дейл рассуждает. У каждого свой бзик. Эх вы, образованные! Начну-ка я с этого. — Она нагнулась и сняла туфли, сначала одну, потом другую, почти так же, как это делала ее мать во время игры в покер на раздевание. Мне казалось, будто я повис на высоком утесе, а лицо обжигает ветер. Ступни у Верны были маленькие, розовые, красивее, чем у Эдны, с круглыми золотистыми пятками.

— Скажи, как там Дейл? — спросил я, задыхаясь.

— Нормально. То есть для чудика нормально. — Она стояла, широко расставив ноги, как дзюдоист на ковре. — Ну давай же, дядечка, сольемся в экстазе. Жутко хочется.

Я притворился, что не слышу ее.

— Ты знаешь, где лесопилка, на которой он работает?

— Еще бы. Назад по бульвару два квартала, потом повернуть налево и пройти еще три вдоль путей... Ну, давай хоть сунь немного. Я сейчас все равно не кончу. Вот-вот моя говнюшка проснется.

Я подумал, не специально ли она выбирает выражения, чтобы казаться неприятной. Верна смотрела на меня упорно, не отводя глаз.

— Я завелась, когда ты еще в первый раз пришел. Весь из себя седой, задумчивый и такой вредный. Зачем, по-твоему, я сиську вывалила?

— Так ты нарочно?..

— Не смеши, дядечка. Ты что, девок не знаешь? Девки, они прекрасно все понимают. Во всяком случае, по этой части. — На левой щеке у нее появилась ямочка, и я с облегчением подумал, что все это, может быть, розыгрыш. Но Верна скрестила руки на поясе и, нагнувшись немного вперед, словно в почтительном поклоне, легко стянула с себя блузку. Волосы у нее забавно взъерошились. Она выпрямилась, откинула волосы с лица, поправила. На ней был лифчик, но маленький, узкий, он провисал под тяжестью грудей. В глазах у нее появилось какое-то странное водянистое выражение, напоминающее мольбу. — Не желаешь поиграть с моими буферами? — спросила она таким скрипучим блатным тоном, что мне подумалось, не приняла ли она наркотик перед моим приходом. — Полизать их, пососать? — Она горстями приподняла обе груди.

По-прежнему держась на отдалении от Верны, я подумал, как оно мощно, половое влечение, если дает возможность перепрыгнуть через глубокую бездну между мужчиной и женщиной.

— Да, желаю, — выдавил я.

— А тебе не хочется затрахать меня до посинения?

Фраза казалась странной, неестественной. Я представил, чтó должны чувствовать женщины — постоянную скованность от того, что они вечные пленницы эротических фантазий.

— А нельзя обойтись без этих «трахать», «трахаться»?

Бежевый лифчик, сохранившийся на плечах загар, глаза янтарного цвета, каштановые волосы, частично обесцвеченные перекисью водорода, — Верна смотрелась сейчас как портрет, сделанный сепией в неброской, сдержанной манере на фоне большого города за плечом. Руки ее были безвольно опущены, в глазах появилось задумчивое выражение, голос прерывался.

— Странный ты человек, дядечка. Трахаться ты не хочешь, умирать не хочешь. Чего же ты хочешь?

— Хочу закончить сегодняшние занятия.

— Хорошо, закончим. Но мы-то с тобой — как?

Она шагнула вперед, дотронулась до моей руки; я почувствовал, что вопрос задан искренне, по-девичьи, что она ждет ответа.

— Ты — моя племянница, — сказал я.

— Тем лучше! Все эти запреты придуманы, чтобы не плодить полуидиотов. Но теперь детей вообще не делают. — Она снова входила в роль бывалой девицы.

— Но ты-то сделала.

— Сделала, — вздохнула Верна. — Ошибка молодости. — Я видел, что она перестала думать о своих грудях, о бросающейся в глаза пышности двух полушарий, стиснутой чашечками лифчика, и об их весе, и о глубокой ложбинке между ними, зовущей палец, язык, фаллос.

— Тебе придется жить с этой ошибкой, Верна.

— Так же, как ты живешь с Эстер.

— Ты считаешь, что Эстер — ошибка?

— Мамка так считала. Говорит, что она тебя соблазнила, что тебя за это из священников вышибли.

— Никто об этом не жалеет, ни я, ни церковь.

— А мамка иначе думала. Говорит, у тебя всю жизнь это было... как это... рвение. Даже малышом ты ужасно хороший был. И потом тоже. Мать у тебя эгоистка и психопатка, а ты с этим мирился. Кроме того, мамке нравилась... как ее... твоя первая...

— Лилиан. — И снова всей кожей я почувствовал, что в душе у меня есть уголок, куда редко заглядывает солнце. — Жаль, что ты не любишь Эстер. Ты ей понравилась.

— Черта с два, понравилась. Она-то поняла, зачем я к вам на День благодарения приперлась.

— И зачем же?

— Затем. Пусть это тебя не колышет. Сам знаешь зачем.

В соседней комнате заплакала Пола. За окном опускался короткий зимний день. Небесная пелена, обещавшая осадки, постепенно темнела, предвещая долгую зимнюю ночь. Девчушка жалобно хныкала, как обычно делают дети, когда просыпаются мокрые и голодные, высланные из страны сладких снов в жестокий реальный мир, но Верна словно бы не слышала дочь. Она стояла рядом со мной, положив руку мне на рукав, и мне опять захотелось зарыться лицом в ее роскошные волосы. В конце концов я уже сделал первый ход, хотя и отступил, испугавшись ее скорее всего притворного сопротивления. Мы стояли полуобнявшись, словно ожидая сурового приговора, как та, первая пара, скованная взаимной виной, застыла в своем тенистом убежище перед долгой дорогой.

— Эта девчонка меня достанет, — шепнула Верна мне в лацкан. — Я родила ее черной в мир белых. Сама кругом виновата.

— А где ее отец?

— Хрен его знает. Убёг. Да нет, мы оба порешили, что так будет лучше. Одной мне сподручнее, среди белых-то.

— В ваших домах половина черных.

Она вскинула голову.

— Значица, мне тут нравится, дядечка. Здешние, они меня пасут. Жалко, что ты не хочешь.

— Я не говорил, что не хочу.

— Говорил, говорил. Посмотрел бы на себя, когда я сиськи выставила.

Больше не замечать Полу было невозможно. Хныканье перешло в оглушительный рев. Верна отдернула темно-бордовую занавеску и принесла девочку. Ее влажные волосенки торчали во все стороны. Унимая свое раздражение и желая выкинуть какую-то шутку, Верна крепко прижала дочку к себе, отчего они стали как бы одним существом о двух головах. Я был поражен: головы были почти одинакового размера, несмотря на разницу в возрасте, весе и цвете кожи. Опухшие от сна глазенки Полы тоже были с косинкой и без ресниц.

— Как тебе, дядечка? Мать и дитя.

— Прелестно, — отозвался я.

Ребенок протянул в мою сторону руку с бледными пальчиками. Я ожидал услышать привычное «Па?», но услышал совсем другое, новое слово: «Музык». Голос у нее был при этом до комизма низкий.

— Белый мужик, — уточнила мать девочки. — Скажи белому мужику «Пока-пока».

— Да, я должен идти, — сказал я. Бежать, скорее бежать отсюда, подумал я и вспомнил прощальный жест при прошлом расставании. — Как у тебя с деньгами?

— Но мы же не трахались, дядечка. За показ-стриптиз плата не взимается. Нет услуги, нет заслуги.

Я растерялся: как она могла говорить такое с ребенком на руках. Ее грудь над тонким лифчиком, казалось, пылает белизной. Конечно, для ребенка материнская грудь — самое безопасное и уютное место.

— У тебя ложное умозаключение, — произнес я учительским тоном, вытаскивая бумажник.

— Знаю я, что во мне ценного, — подхватила она тоном сообразительного студента. — Это, как я понимаю, аванс. Таким девицам, как я, обычно аванса не дают. — Она взяла три двадцатки. На этот раз сумма показалась мне маловатой — мы, судя по всему, прогрессировали, — и я добавил еще одну. Банкоматы теперь выдают наличные только двадцатками. Десятки, похоже, вскорости разделят судьбу английского фартинга.

— Музык пока-пока, — пролепетала Пола. Ее бездонные синие глаза полнились торжественной животной мудростью.

— Ты почитай эту хрестоматию, — говорил я своей ученице, надевая пиджак и дубленку. — Найди, что тебе по душе. Насчет «Счастья Ревущего стана» я пошутил. Загляни в Хемингуэя, попробуй Джеймса Болдуина. В следующий раз надо грамматику принести. Ты знаешь, что такое сказуемое? А причастный оборот?

Верна качала Полу на бедре, груди колыхались в такт.

— Никакого следующего раза не будет, дядечка. Я в твои игрушки не играю. Так что не приходи сюда. Мы тебя все равно не пустим, правильно, Пупси?

Она нагнулась к ребенку и скосила глаза. Пола засмеялась грудным смехом.

Наверное, шутливое обращение к ребенку должно было оправдать неосторожно брошенное «мы». «Мы тебя все равно не пустим». За Верной маячили тени мужчин, череда теней.

— Не глупи, — возразил я. — Используй меня на всю катушку. Тебе нужен аттестат, ты должна устроить свою жизнь. Я хочу помочь тебе. Или так и будешь жить на пособие в этом муравейнике?

Лицо ее застыло, как у ребенка, который одновременно сердится и боится.

— Не вижу никакой пользы от твоих дурацких экзаменов. А если захочу, так сама сдам, без твоей помощи. Только попробуй приди еще раз — позвоню мамке. Она полицию вызовет.

Я невольно улыбнулся. Все ее негодование, возмущение — все лишь метания попавшего в ловушку зверька. Кажется, Ортега-и-Гассет говорил, что если мужчина добился внимания женщины, то любой его поступок — любой! — только сильнее привяжет ее к нему. Успешный у меня сегодня день. Закрывая за собой дверь, я услышал ровный голос Верны:

— Ну и вонищи от тебя, засранка!

Я спускался по знакомым гулким металлическим ступеням, ломая голову над тем, как отнять Верну от ее ребенка, чтобы я один имел беспрепятственный доступ к ее телу в этой восхитительно убогой душной квартирке, в той комнатке за темно-бордовой занавеской, которую я ни разу не видел, но легко представлял: детская кроватка, купленная в магазине подержанных вещей, японский матрац для матери на полу, дешевый деревянный туалетный столик, покрытый лаком какого-нибудь ядовитого девичьего цвета — сиреневого или оранжево-розового, печальные потертые стены, украшенные кое-где портретами рок-музыкантов и посредственными Верниными акварелями с изображениями ее клетки.

Когда я вышел в промозглые декабрьские сумерки, ответ возник сам собой: детский сад, где работает Эстер. Детские сады для того и придуманы, чтобы развязать руки родителям.

Моя «ауди» стояла на обочине целая и невредимая, хотя маленького сторожа-самозванца и след простыл. Несколько негритянок в длинных стеганых пальто, которые стали как бы обязательной городской униформой, сидели на скамейках, а их малыши вовсю использовали оставшийся инвентарь детской площадки — автомобильные шины и цементные трубы. Возвращаться с факультета было рановато (если Эстер спросит, почему я взял машину, скажу, что заходил домой закусить ее замечательной запеканкой и взять книгу по каппадокийским отцам-основателям, которая понадобилась мне для консультации, и поехать на факультет, чтобы сэкономить время, и, поскольку заметно похолодало, захватить дубленку, оставленную в кабинете), и я подумал, не проехать ли мимо лесопилки, где трудится Дейл, дабы удовлетворить нездоровое любопытство и стереть из памяти пульсирующий образ Верны, стягивающей белую блузку, ее плеч, ее растрепавшихся волос с запахом шампуня.

Одностороннее движение на Перспективной улице теперь вело в нужном мне направлении. Я проехал мимо полузаброшенных домов и высокого гинкго, теперь уже совсем облетевшего. Назад по бульвару два квартала, как она сказала, потом поворот налево, вдоль железнодорожных путей. Как ни странно, здесь тоже была улица, но без домов, безлюдная, которая вела в промышленное чистилище, сохранившееся, вероятно, с той далекой поры, когда тут проходила городская окраина: заводские корпуса, фабричные здания, бесконечные склады и сараи, на кирпичных стенах — следы названий, выполненных в стиле девятнадцатого столетия. Старые ветхие строения, которые давно не использовались по прямому назначению — арендовать площади, производить товар, продавать его и перепродавать. Самая низкая, подгнившая ступень капиталистической экономики. И вдруг посреди всеобщего запустения — действующая угледробилка, баки разного размера с поблескивающими кусками антрацита. Неподалеку — горы гравия, которые двигают допотопной тарахтелкой на гусеничном ходу. Асфальт под колесами моей «ауди» кончился, пошли рытвины, маслянистые лужи, кучки угля, смятые коробки и хилые кустики наиболее стойких сорняков. Дорога (какая дорога? — тропа) между тем привела к забору лесопилки, ворота которой выходили на более или менее настоящую улицу с фонарями и автозаправками, хотя ни одного пешехода я не заметил. «Гроув» — гласила скромная оранжевая вывеска, едва различимая в подступающих сумерках. В конторе и у навесов со штабелями строительного леса под ржавыми железными крышами уже горел свет.

Я остановился недалеко от конторы, вылез из машины. Сделалось совсем прохладно, и я был рад, что надел дубленку.

Густой аромат сосны, ели, пихты... Освежеванные смолистые трупы деревьев с севера, сложенные по размерам в штабеля, одни более сучковатые, другие менее — так же бывает с книгами и человеческими судьбами, — но ни одного такого, чтобы ни сучка, ни задоринки, которые, как ни режь, ни крась, ни крой лаком, все равно проступят в стене, в половице, в дверце шкафа. Я различил и слабый запах кедрового гонта, обвязанного стальными лентами. День шел к концу, но рабочие переносили доски и переговаривались друг с другом, голоса отдавались в просторных помещениях. Я опасался встретить здесь Дейла.

Над строениями «Гроува», над бедными окрестными домами возвышались здания естественнонаучных и технических факультетов, и среди них новое девятиэтажное чудовище из бетона, прозванное Кубом. Неисповедимыми путями городской географии эти многоглазые великаны подобрались к человеческому жилью.

В небольшом боксе поодаль горела голая электрическая лампочка. Под каким-то устройством с огромными кожаными ремнями поблескивала циркулярная пила; зубья на ней располагались равномерно, с точностью швейцарских часов. Густеющий воздух разносил аромат свежих опилок. Длинные тени переносимых бревен и досок напоминали о том, как прямо, гордо падают наземь деревья. Не бойся. Меня словно обнимало благоуханное блаженство, и тем не менее, когда приблизился кто-то из сотрудников и спросил, не может ли быть мне полезным, я, как воришка, застигнутый на месте преступления, поспешил укрыться в машине.

# 

# Часть III

## 

## 1

Quem enit naturae usum, quem mundi fructum, quem elementorum saporem non per carnem anima depascitur? Какая часть природы, какая радость жизни, какой вкус какого вещества не поглощается душой per carnem — через плоть? Тертуллиан написал эти слова примерно в 208 году в работе «О воскрешении плоти», уже после того, как он отошел от ортодоксальности и принял монтанизм. При всем старании я не обнаружил ничего неортодоксального в этом пылком заявлении; напротив, воскрешение плоти — это важнейшая и выразительнейшая христианская доктрина, хотя в нынешнюю пору заката веры поверить в нее всего труднее.

И все же с каким красноречием выспрашивает Тертуллиан неопровержимые аргументы в пользу того, что душа не может обойтись без тела. «Quidni?» — спрашивает он. Как, как может быть иначе? Per quam omni instrumento sensuum fulciatur, visu, auditu, gustu, odoratu, contactu? С ее помощью действует вся система чувств — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Затем следует изящный, a la Соссюр, довод, связывающий способность к действию, обозначенную им как divina potestas, с речью, которая в свою очередь является функцией физического органа. Per quam divina potestate respersa est, nihil non sermone perficiens, vel tacite praemisso? Et sermo enim de organo carnis est. Выражение vel tacite praemisso (буквально: «даже если только в молчании высказано», иначе говоря — то, на что указывает существование речи, слов) казалось особенно тонким штрихом, и я подумал, что perficiens можно прочитать как «превращение в понятие», так что божественная тайна Логоса спускается по Платоновым ступеням-степеням идеального в реальность через неизбежную зависимость от той отвратительной мускульной системы, которая находится между слюнными железами нашей ротовой полости и гниющими зубами, — неуклюжий, неутолимый, не знающий устали язык. Действительно de organo carnis. Искусства и науки тоже покоятся на этом движущемся скользком основании: Artes per carnem, studia, ingenia per carnem, opera, negotia, officia per carnem, atque adeo totum vivere animae carnis est, ut non vivere animae nil aliud sit quam a carne divertere. Неужели он доходит до утверждения, будто жизнь души целиком зависит от тела и попытка отделиться от тела означает не что иное, как смерть? О неистовый Тертуллиан! Ты хотел лишить нас даже проблеска надежды на духа-арфиста в нашем составе, на пункт о небесном спасении в обременительном договоре с глазными яблоками и растительностью в ноздрях, с ушными раковинами и клетками серого вещества в мозгу, договоре, который мы никогда не подписывали, но который парафировал без консультаций с нами вездесущий наш посланник по имени Декси Н. Амино. Мы хотим расторгнуть договор, помогите! Но ослепленный своими идеями, наш карфагенский стряпчий гонит во весь опор дальше, к форменному чуду: Porro si universa per carnem subiacent animae, carni quoque subiacent. «Далее, если все вещи подчинены душе через плоть, значит, они также подчинены плоти». Он еще прочнее сращивает нашу душу с телом, обещая расторгнуть договор. Мы начинаем сгорать от нетерпения. Per quod utaris, cum eo utaris necesse est. О, эта компактность «золотой» латыни, литые строки и неразрывная связь слов! Перевод неизбежно ослабит эти связи. И все же: «Что вы используете, тем и должны пользоваться»: здесь utor, как и fruor несколькими строками выше, имеет значение «наслаждаться», следовательно, наше бренное тело, используемое для нашего наслаждения (он подразумевает: для наслаждения души, ибо мы все-таки живое существо, а не просто мясо), по необходимости тоже испытывает наслаждение. Дорогая Плоть, приходи, повеселимся, — твоя подружка Душа. Ita caro, dum ministra et famula animae deputatur, consors et cohaeres invenitur. Таким образом, тело, исполнявшее до сих пор обязанности прислужника души, оказывается ее супругом и сонаследником. Si temporalium, cur non et aetetnorum? Если временно, то почему не всегда, не вечно? В самом деле, почему? Мысль о том, что наши болезненные вонючие тела на все времена обречены находиться в толчее какой-нибудь небесной раздевалки, удручала. И все же туманная идея всеобщего спасения придавала бодрости. Что ни говори, у старого фанатика не отнять ни умения зреть в корень, ни рвения. И он постоянно имел в виду своего оппонента. Маркиона, который считал, что Христос на земле — это чистейшая выдумка и ни один Бог, достойный поклонения, не стал бы марать руки ради этого бродяги и бездельника, мешка с дерьмом и спермой.

Нет, все-таки смеху подобно, что Тертуллиан благословил нашу плоть на вечное существование, и здесь я смыкаюсь с еретиками и язычниками (ethnici), чьи возражения он предвидел заранее. An aliud prius vel magis audias tarn ab hacretico quam ab ethnico? Et non protinus et non ubique convicium carnis, in originem, in materiam, in casum, in omnet exitum eius, immundae a primordio ex faecibus terrae, immundioris deinceps ex seminis sui limo, frivolae, infirmae, criminosae, onerosae, molestae, et post totum ignobilitatis elogium caducae in originem terram et cadaveris nomen, et de isto quoque nomine periturae in nullum inde iam nomen, in omnis iam vocabuli mortem? To есть язычники, но отнюдь не христиане (как считают, начиная с Нерона, самодовольные гедонисты и пустобрехи) ополчаются на плоть, на ее происхождение, сущность, обусловленность, кончину, обвиняют в том, что она нечиста, ибо ее начало — именно в нечистотах земли, а впоследствии она сделалась еще грязнее, ибо осеменилась; плоть ничтожна, ибо невесома, неустойчива, виновна (не в преступных деяниях, но в том, что дала себя оклеветать), вообще приносит массу хлопот и неприятностей. Пройдя все ступени низости, плоть (как полагают ethnici) превра-, возвращается в прах, откуда вышла, получает название трупа и в конце концов истощается до небытия и утраты имени. Смерть стирает понятия. Как это ужасно и верно! Тертуллиан, подобно Барту, мог отстаивать одну-единственную позицию: плоть — это человек — «Все в нем плоть и по определению обречено на погибель», подводит итог Барт в своей «Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus». Для не знакомых с немецким перевожу: «Христианский подход к Гейдельбергскому катехизису».

Устав переводить, я прикрыл глаза. Мне представился набухший Дейлов пенис с большими синими венами и тонкими жилками темно-красного цвета, розово-лиловая головка, похожая на шляпку гриба, насаженная Создателем на такой же толстый корень, два полукруглых синеватых выступа-венчика, corona glandis, которые у язычников были прикрыты крайней плотью, и капелька прозрачнейшего нектара в раскрытой щелочке на бархатном кончике. К щелочке тянутся жаждущие губы и слизывают нектар. Сосредоточенное лицо Эстер — крупным планом, как в кино. Она берет член в рот, дальше и глубже, засасывает губчатые тела, corpas spongiosum, добирается до кожно-мышечной оболочки мошонки, разделенной на две половины, corpora cavernosa. Эстер работает ртом, per carnis уверенно и нежно, стараясь ничего не повредить зубами. В тусклом свете мансарды Дейлов член поблескивает от ее слюны. Да, они, конечно, уединились в комнатке на третьем этаже, в ее мастерской, так называемой потому, что заглядывает она туда редко. Это самое безопасное место на тот случай, если вдруг дребезжащий звонок нарушит их блаженство, и на порядочном расстоянии от спален на втором этаже, где бродит мужнина тень и где повсюду натыкаешься на его одежду, ботинки, крем для бритья, потрепанный экземпляр «Kirchliche Dogmatic III», и от комнаты сына, плоти от их плоти, заваленной старыми домашними заданиями, моделями космических кораблей, грязными трусами, помятыми экземплярами «Плейбоя» и «Клуба». Смешанным лесом окружают любовников большие, резкие, угловатые полотна Эстер, которые по знанию предмета и уровню исполнения как небо от земли отличаются от робких, реалистичных до последнего лепестка акварелей Верны. Полотна, точно камуфляж, скрывают их от зоркого глаза Небес, хотя самим им видно кое-что из окружающего мира: соседские крыши, крохотные задние двери, мерцающий центр города, а за громадами небоскребов — самолеты, идущие на посадку в международный аэропорт, построенный на месте топких болот. Январь в этом году выдался холодный, холодный до того, что в Вашингтоне отменили парад по случаю инаугурации президента. Эстер принесла сюда электрический обогреватель и перетащила старый, в пятнах матрац, который хранился в пыльном углу за мольбертом, сломанными торшерами и рассохшимся креслом с выцветшей бархатной обивкой. Каким-то чудом рухлядь превратилась в пристойную мебель, и мастерская сделалась уютнее любого другого помещения в доме. Обогреватель пышет оранжевым жаром, обнаженные тела любовников словно плывут вместе с раскаленной спиралью по параболе рефлектора. Обступающий холодок не мешает току их разгоряченной крови; напротив, как сам грех и опасность быть застигнутыми, он только придает силы.

Эстер и Дейл уже насладились друг другом один раз, и сейчас сидят в позах лотоса, прихлебывая белое вино из пластиковых стаканчиков. Потом ненасытная негодница, как пишут в порнографических романах, замечает, что у ее возлюбленного опять эрекция. Она отставляет вино и тянется губами к его пенису, поднявшемуся как будто в знак уважения к ней. Эстер нравится поиграть с этим мальчиком в бывалую шлюху. Он так увлечен и благодарен ей и никогда не подумает использовать это против нее, не станет после такого подарка требовать что-либо и выражать недовольство на манер ее вечно хмурого, угрюмого мужа. Кроме того, ей уже тридцать восемь, надо пользоваться своей женственностью. Per quod utaris, cum eo utaris necesse est. Пришло ее время. Ей словно доставили этого высокого худощавого молодого человека с поблескивающей кожей и потрясающим пенисом. Она жадно сосет и сосет его, пока не заболят челюсти. Отваливается, чтобы отдышаться, и, вытирая губы, мурлычет:

— Такой большой. Даже во рту не помещается.

— Не такой уж большой, — томно возражает Дейл. От вожделения голос у него тоже сделался хрипловатым. В нем слышится, что он воспринимает ее ласки как должное. Он тоже отставил стаканчик с вином и откинулся на руки, чтобы ей было удобнее. Его голубые, как небо, глаза стекленеют. Запах его члена смешивается с запахом ее алчной слюны в уголках рта. Откинув рыжие волосы с лица, она снова наклоняется вперед, тянется губами.

— Может быть, не надо? — бормочет Дейл.

— Почему не надо? — поднимает зеленые глаза Эстер.

Ее ненакрашенные губы краснеют, как свежий порез. Одной рукой она поддерживает себя, другой поправляет волосы, укладывая их на затылке. Белеют маленькие конические груди, только соски коричневые.

— Я могу кончить.

— М-м... Ну что ж, кончай. — Немного подумав, она улыбается, выступающая верхняя губа кажется распухшей. — Давай кончай.

— Прямо в твой прелестный рот?

— Тебе это доставит удовольствие? — И она думает: мне доставит.

— Залью твое красивое лицо? — едва выговаривает он: такое волнительное действие, такие волнительные слова. Et sermo enim de organo carnis est — речь ведь тоже рождается живым органом.

Обычно Эстер говорит четко, определенно, но сейчас голос сдавленный, как будто у нее распухло горло.

— Это будет замечательно! Обожаю нашего дружка, Дейл, обожаю тебя!

Слова слетают с ее губ, как бабочки с цветка.

— Ты когда-нибудь была так счастлива? Чтобы даже голова заболела?

Она негромко смеется и слизывает капельку с одноглазой головки его члена.

— У тебя заболела?

— Просто виски ломит. Как будто переизбыток крови.

— С чего бы ты так разгорячился? — говорит она игриво, но низким грудным голосом многоопытной женщины. Эстер понимает, что именно эта ее многоопытность — главное, что привязывает его к ней, что именно в этом ее очарование, позволяющее ей делать с ним что угодно. Она утыкается носом в волосы на его лобке и чувствует запах кедровой древесины.

— И ты еще спрашиваешь? — говорит он слабым голосом, как ребенок, который просит пощады, когда его побороли. У него вот-вот наступит оргазм. Зуд в основании члена, в том месте, что по-латыни называется crura, становится все сильнее — это дает о себе знать простата, из-за которой у пожилых людей после совокупления побаливает старый трудяга, задний проход.

— Я имею в виду — до того, — слышится из копны волос ее голос. — Когда мы просто болтали и пили вино.

— Да, болтали и пили. Но как ты сидела! Ноги раскинуты, треугольник на венериной дельте, и сквозь мягкий мех видны твои розовые нежные нижние губы. — Слова довершают дело. — О-о... о-ох, — задыхается он. Ему хочется назвать ее, но имя «Эстер» — словно из другого языка, а «миссис Ламберт» — слишком формально и неуместно. Но сейчас у нее нет имени, она — мягкая, упругая стена, поглощающая наши толчки, всего лишь существо противоположного пола, отверстие для ввода стрежня, Женщина для Мужчины.

Дейл уже на пределе. Она смотрит на крохотный темный глазок мочеиспускающего канала, meatus utinarius, и решительно обхватывает ладонью раздувшийся фаллос — какой же маленькой и хрупкой выглядит моя рука, думает она, по сравнению с его громадным и твердым, как камень, «другом». Медленно, точно в порнографической ленте, выступает удивительно чистый, белый сгусток — он должен принадлежать ей, должен быть внутри ее! Она легко выпрямляется и, переступая коленями, надвигается на Дейла, чей затуманенный взор видит какую-то охваченную страстью великаншу; не отнимая руки от члена, она садится на него, опускается как можно ниже, и в этот момент сквозь нее словно молния сверкает и доходит до самого сердца, до сердца моей неверной Эстер. Слыша, как постепенно унимается у партнера последняя дрожь, она обхватывает обеими руками его голову — толчками вверх-вниз, вверх-вниз... Сердце у Дейла бьется так сильно, что кажется, будто вот-вот выскочит из груди. У нее тоже наступает разрядка, она чувствует ее всем телом, всей душой и испускает немного театральный, но и радостный возглас, который может услышать, допустим, накачавшийся наркотиками гаитянец-грабитель, сдуру забравшийся в подвал дома. Даже Сью Кригман, отстукивающая в соседнем доме на машинке очередную детскую книжку (рабочее название «Скотт и Дженни убегают в Вайоминг»), могла бы услышать этот гордый ликующий возглас, если бы Майрон не вставил предусмотрительно во все окна двойные, тщательно законопаченные рамы, дабы уберечься от январских холодов.

Тишина постепенно заполняет дом, доходит до наших возлюбленных. Слышны только фырчание пара в радиаторах, тонкий перезвон старинных часов, доставшихся нам от прадеда Эстер, которые бьют каждые пятнадцать минут, редкое поскрипывание деревянных панелей. Какое-то шуршание, похожее на шаги. Как море, возвращающееся в свои берега после долгого отлива, в тишину пустынного дома негромкими водоворотами вливается вина. Frivolae, infirmae, criminosae, onerosae, molestae...

Эстер чувствует ее, строит гримаску, словно бы отмахиваясь от надоедливой мухи. Она высвобождается из объятий. Подобны пуповинам беловатые нити подсыхающей спермы на их pudenda (множественное число от pudendum, «то, чего следует стыдиться»; изначально слово не знало родового различия, но потом под влиянием мужчин им стали обозначать только женские половые органы). Immundioris deinceps ex seminis sui limo. В другом месте той же главы еретики-насмешники или язычники у Тертуллиана не без основания ставят вопрос о том, каким будет наше тело на том свете: Rursusne omnia necessaria illi, et inprimis pabula atque potacula, et pulmonibus natandum, et intestinis aestuandum, et pudendis non pudendum, et omnibus membris laborandum?*[[2]](#footnote-2)* Pudendis non pudendum — вот это стиль! Почти непереводимо.

Эстер чувствует вину, разлитую в воздухе, и в шевелении теней большого дома, раскинувшегося под их матрацем, забрызганным его спермой и ее соком, ей мнится мое присутствие, но тоска и накопившееся недовольство мной заставляют ее отмахнуться от этого чувства и еще раз насладиться, правда, более умеренно, ладным телом неловкого молодого любовника. Она целует его во влажные мягкие губы и потом долго смотрит ему в глаза, зная, что после оргазма ее собственные глаза позеленели и заблестели еще сильнее.

— Хорошо, если б у меня было красивое лицо, — говорит она, напоминая о брошенной им в момент страсти реплике. — Когда-то я была красивее, но теперь кожа стала сухая и масса морщинок.

— Не вижу никаких морщинок.

— А если бы видел?

— Все равно любил бы тебя!

— Ну конечно. Что еще можешь сказать? — говорит она суше, чем две минуты назад. — Извини, что не дала тебе кончить мне в рот. Мне жутко хотелось, чтобы ты... — Эстер снова входит в привычную роль обходительной и немного надменной профессорской жены, опускает глаза, — был там, внизу. В следующий раз обещаю.

Волнующее обещание, тем более что дано оно всей силой и широтой любящего женского сердца, и тем не менее слова о «другом разе» напоминают им о времени (сколько пробили прадедовы часы — четыре пятнадцать или четыре сорок пять? Ричи приходит из школы в начале шестого, и Дейл натаскивает его по математике), а ему — о текущей обязанности, каким-то образом появившейся в эти недели после Рождества, — заниматься любовью с моей законной женой в моем собственном доме, причем заниматься не по неизъяснимому взрыву взаимного влечения, а механически, регулярно, по графику с трех часов дня по вторникам и четвергам, заниматься сегодня, и завтра, и всегда — до момента их неизбежного, невыносимого, невыразимого расставания.

— Может быть, нам лучше встречаться в другом месте, — предлагает он.

Эстер делает удивленные глаза.

— Почему? Здесь же абсолютно безопасно. Родж никогда не уходит со своей любимой работы раньше половины шестого. Даже если вдруг заявится раньше обычного, ничего страшного. Ты побудешь здесь, а я всегда найду предлог отослать его из дома с каким-нибудь поручением.

— Да, но у меня какое-то неловкое чувство. Как будто забрел на чужой участок и высматриваю, что плохо лежит. А у тебя так много хороших вещей. И у меня такое ощущение, что он все время наблюдает за нами.

Да, наши вещи кажутся ему хорошими, даже роскошными, особенно старые, принадлежавшие еще коннектикутским предкам матери Эстер: ковры, красная козетка, стеклянный столик, обеденный стол черного дерева, датские кресла в стиле модерн, которые были еще в моде, когда мы начали совместную жизнь, и обилие электронных устройств в комнате Ричи, которые, правда, быстро выходят из строя. Когда Дейл поднимается по лестнице за упругим задом Эстер, ему, должно быть, кажется, что он бредет среди банкнот. На самом же деле наш дом по сравнению с домами Кригманов и Элликоттов довольно плохо обставлен и запущен.

— Я комнату с приятелем снимаю, — объясняет он. — Но он редко бывает дома. Сидит в технической библиотеке, а по вечерам работает. Присматривает за парковкой у одного кинотеатра.

— Хорошо, милый, но... Что это за дом?

— Да ты знаешь... — отвечает он, как будто она бывала там не только в его мастурбационных фантазиях или как будто все профессорские жены знают, как обитают вечные студенты. — Старый трехэтажный дом с однокомнатными квартирами...

— ...и разношерстной публикой в качестве жильцов. — Эстер хочется закурить, но она знает, что если спустится за сигаретами в спальню, это будет означать конец свидания; надо будет одеваться, наводить порядок, делать постное лицо, чтобы встретить Ричи, когда он придет из школы, а ей так хочется еще понежиться голой, посмотреть на свое отражение в зеркале плоти молодого любовника, почувствовать пряный вкус своего тела через его ощущение. — Могу себе представить. За стенкой у соседа грохочет рок, а в подъезде надо протискиваться сквозь строй поломанных мотоциклов.

Он кивает и тоже с печалью думает о том, что свидание заканчивается и как раз в тот момент, когда ему захотелось после очередного стакана вина зарыться лицом у нее между ног и лизать, лизать, чтобы она тоже кончила, хотя ее бедная куннус извивается и дергается, как пойманная на крючок рыбка. Inprimus pabula atque potacula. Эта зрелая женщина представляет для него широкое поле чувственности, где есть разгуляться его плоти. Годы скучного «исполнения супружеских обязанностей» рождают в ней фантастическое желание, чтобы он был жесток с ней. Пусть жестокость будет как натянутые вожжи, когда они занимаются любовью, и исчезнет, когда кончится акт.

— Я буду просто смешна, — говорит Эстер с манерной медлительностью — так, как делает это «в обществе», хотя сейчас она сидит, небрежно подогнув под себя ноги, и капли его семени сочатся из нее на матрац с поперечными синими полосами. — Как я буду там выглядеть в своем шерстяном костюме и сапогах от Гуччи? Любой скажет, пришла баба потрахаться. Нет, дорогой, когда у женщины седина, ей не следует появляться где попало. И вообще, быть женщиной — значит быть несвободной.

— Я просто подумал, — говорит он смущенно, — что детский сад, где ты работаешь, недалеко от моего дома.

— Когда я еду на машине, то ставлю ее, если удается, возле одного и того же здания, а потом иду немного пешком. Если я проеду дальше, меня засекут. — Эстер встает, и Дейлу снова кажется, что перед ним хищница-великанша с громадными грудями и промежностью, зияющей вожделением.

— Кстати, здорово, что ты помогла Верне устроить Полу в садик.

— Верна — просто маленькая девочка. Понятно, почему она не ладит с матерью.

— То есть? Плохой характер?

— Au contraire. Наоборот — твердая, решительная, эгоистичная, — говорит Эстер, подразумевая — в противоположность ее собственной мягкой, открытой, ранимой натуре.

— Она уже сдала экзамены по грамматике и американской литературе. Сейчас я готовлю ее по математике.

— Дорогой, тебе не приходило в голову, что Верна просто пользуется добротой других?

Дейл задумывается, с удовольствием наблюдая, как его подруга подтирается «клинексом» между ногами и натягивает маленькие прозрачные трусики. Не прошло и двух часов, как она прибежала домой из детского сада и, наскоро приняв душ и попудрив промежность, надела их специально для него. Подумала о том, не вставить ли диафрагму, но было некогда, и к тому же в ее возрасте и... махнула рукой: рискну. Immundioris deinceps ex seminis sui limo. Дейл смотрит, куда он закинул свои мальчишеские трусы, и говорит:

— А мы почему здесь с тобой встречаемся? Чтобы пользоваться добротой другого. Разве не так?

Эстер слегка шокирована — как и я бывал не раз шокирован — его неожиданной рассудительностью, уравновешенностью, скрытой за земной оболочкой вечного выпускника и неприкаянного неудачника.

Он чувствует упрек в ее молчании и старается объясниться:

— Поэтому я и чувствую себя виноватым перед твоим мужем. Он помогает мне получить грант, я пользуюсь его добротой, но вместо благодарности я здесь с... — Он делает жест рукой, как бы объединяющий ее полуобнаженное тело, и мансарду, и весь дом в один факт его вторжения в чужую жизнь.

— ...со старухой, которую еще можно потрахать, — заканчивает она. — Но может быть, он пользуется твоей добротой?

— Как?

— Не знаю. Родж — странный человек. Ему надо было бы на всю жизнь остаться священником, хотя тогда мне казалось, что я стала его спасательным кругом. Любит наставлять людей на путь истинный. Люди затем в церковь и ходят — за наставлениями. Нет, дорогой, ты перед ним ни в чем не виноват. Я изменяю ему здесь, дома, но тоже никакой вины не испытываю.

— Почему?

Эстер поднимает с пола еще какую-то кружевную вещицу и пожимает плечами.

— Он тиран и деспот. Мужья все такие. Поэтому жены ведут вечную освободительную войну.

Она чувствует, что в лежащем любовнике снова пробудилось желание, даже видит физическое свидетельство этого пробуждения и говорит:

— Хочу, чтобы ты испытывал вину только передо мной.

Дейл очарован ее хрупкостью, ее острыми локотками, ее написанной на лице решимостью нащупать застежку на надетом лифчике. Она подбирает внутрь зажатый лентой лифчика краешек груди, распрямляется, оглядывается, словно готовясь к бою.

— За что? — удивляется он.

— За то, что ты еще не сказал, как я классно подмахиваю, — отвечает она, надув губки.

Rursus, безбоязненно продолжает Тертуллиан, ulcera et vulnera et febris et podagra et mors reoptanda? Неужели там, на небе, нас не оставят язвы, болезни, лихорадка, подагра и желание смерти — неужели оно возродится, чтобы подтвердить вес приставки re-, подтвердить вечное возобновление, постоянную повторяемость? И все ж, о Господи, сколько бы ты ни придумывал придирок, мой гипотетический еретик или язычник, мы действительно хотим жить вечно, жить такими же, какие есть, разве что произведя небольшой профилактический ремонт организма, однако и без него можно обойтись, если альтернатива жизни — небытие, несуществующие частицы желаний в неизведанных недрах nihil — Ничто.

— Конечно, здорово, ей-богу, здорово!

Когда Дейл пришел ко мне на факультет, я увидел, что он смущен, причем смущен не так, как в последний раз, когда он упорно смотрел в окно у меня за спиной или оглядывал книжные полки с бахромой закладок. Из-за холодов на нем была подбитая мехом штормовка с капюшоном вместо хлопчатобумажной куртки. На штормовке виднелись грязные пятна, словно ею вытирали масленую сковородку. Он снял свою вязаную шапочку. Торчащие уши говорили, что он недавно постригся.

— Как наши дела? — спросил он с напускной развязностью, которая не шла ему.

— Я хотел спросить у вас то же самое.

— Я имел в виду насчет гранта. Вам удалось что-нибудь узнать?

Мне показалось, что он опускается в мое кресло из разных древесных пород медленно, осторожно, как будто у него болели суставы. К розовой россыпи прыщей под подбородком на его восковом лице добавились похожие на синяки мешки под глазами наподобие тех, которыми мальчишки в школе дразнят друг друга, поскольку они указывают на чрезмерное увлечение рукоблудием.

— Как я уже говорил, — начал я, — Клоссон проявил определенный интерес. Его, как и меня, привлекает необычность проекта. Но именно эта необычность вызвала у него желание проконсультироваться в комиссии по грантам. Он полагает, что вам тоже необходимо присутствовать, чтобы устно изложить суть дела и ответить на некоторые неизбежные вопросы.

— О господи, — устало пробормотал Дейл.

Я улыбнулся: не стоек ты, не стоек.

— Позвольте мне немного рассказать о Клоссоне. Плотный мужчина шестидесяти лет с удивительно квадратным черепом, не голова, а костяной ящик. Поскольку лысеет, то волосы укладывает поперек темени от уха к уху. — Я гордился копной своих седых волос и с насмешкой поглядывал на его жалкие уловки прикрыть плешь. — В глазах у него... как бы это лучше сказать... Словом, глаза — как неугасимый светильник. Родился он в семье квакеров из Индианы и сразу после войны учился в Германии. Любимый мыслитель — Хайдеггер. Верит только в то, что невыразимо словами, но сохранил в себе квакерский внутренний свет, что делает его вполне религиозным человеком. На таких, как я, смотрит как на палеонтологов, гробокопателей, а время отцов церкви считает абсолютной тьмой, их споры — битвой динозавров. Клоссон особенно интересовался тем, что нового, своего вы вносите в научные положения, на которые ссылаетесь. Я ему объяснил как мог. Кроме того, он спросил, зачем вам нужен компьютер.

— Как оптимальное средство суммирования, создания универсальной модели мира, которую затем можно рассматривать, изучать, анализировать — словом, делать что угодно. Помимо всего прочего, использование компьютера бросает новый свет на старые проблемы, например, проблему тела и души.

— А-а, ну конечно, тело и душа.

Его руки начали выписывать в воздухе всевозможные фигуры. Мы оба знали, что он насытился близостью с Эстер, — он весь светился удовлетворением, как блещет чешуей и соленой водой вытащенная на берег рыбина, — и это обоюдное знание засело у нас в головах, точно лишай на шее.

— Благодаря достижениям в области психофармакологии и исследованиям высшей нервной деятельности, благодаря пониманию химического механизма синапсов и oneрациям на полушариях головного мозга плюс успехи компьютерной техники за последние двадцать лет у широкой публики сложилось мнение, что с душою все ясно. Душа не является некоей невещественной субстанцией. Душа — это функция, подобно тому как стрижка является функцией волос. Вижу, вы недавно постриглись, — вставил я. Одновременно Эстер подстригла ногти.

— От длинных волос щекотно, — объяснил он. — Люди часто сравнивают тело с электронным устройством, а так называемую душу — с математическим обеспечением. Но эта аналогия не вполне корректна. Если принимать ее всерьез, мы скатимся к дуализму, потому что математическое обеспечение может существовать вне и помимо механического устройства. Точнее, оно может функционировать с различной аппаратурой. Если вывести из строя компьютер с определенной программой, то нет необходимости ремонтировать его, чтобы программа работала. Вы можете ввести ее в другой компьютер или даже довести до логического результата.

— «Жизнь после смерти на бумаге, когда бумажная луна плыть будет над картонным морем», — процитировал я, хотя по молодости лет Дейл не мог знать эту песню.

Он продолжал рассуждать:

— Для нас, кто профессионально занимается этим, все разговоры о том, что компьютеры умеют думать, — собачий бред. Даже если соединить вместе все компьютеры отсюда до Пало-Альто, то ни триллионы битов, ни весь объем памяти этих машин, никакие алгоритмы не создадут сознания. С таким же успехом можно ожидать сознания от телефонных проводов и коммутаторов. Вы не получите ни ощущений, ни чувств, ни воли, ничего. Хофстедтер может сколько угодно толковать о «странных петлях», но пока он не построит такую, которая заставит компьютер перепрограммировать самого себя или почувствовать такую смертельную тоску, что впору удавиться, все его рассуждения остаются на уровне представлений о возникновении жизни из «первоначального бульона». То есть предметов веры, фантазии. Материализм — такое же верование, как и теизм, только он предъявляет больше требований по части чудес. Вместо того чтобы требовать веры в Бога, материалист требует, чтобы мы не верили самим себе, не доверяли своим знаниям, своим чувствам и нравственным законам.

Я вздрагивал, когда Дейл делал очередной яростный жест, и спрашивал себя, каким моральным законом он руководствовался, когда уделывал мою женушку.

— Хорошо, а как насчет собак? У них есть сознание? Всякий, кто когда-либо держал собаку, скажет, что они способны чувствовать. Память у них тоже есть. А не составляется ли то, что мы обычно называем личностью или субъектом, преимущественно из памяти? Можно наблюдать, как не находят себе места собаки, как иногда мечутся перед тем, как что-нибудь сделать. Следовательно, они наделены зачатками свободы воли. Представьте, — продолжал я, — иерархическую лестницу живых организмов, начиная с амебы — она реагирует на определенные раздражители, такие, как тепло или свет, значит, имеет место известная степень чувственного восприятия, — так вот, представьте иерархическую лестницу: амеба, паук, ящерица, мышь, белка, собака, дельфин, слон, шимпанзе; эту череду можно упорядочить, но в любом случае вы в конце концов дойдете до существа с таким мозгом, который качественно не отличается от человеческого, дойдете до способности ощущать и чувствовать и других прекрасных вещей, которых, как вы утверждаете, не может быть у компьютера. На каком этапе возникают эти способности, в какой точке развития высшей нервной деятельности? По мере усовершенствования компьютеров — что может помешать достигнуть этой точки?

Дейл наклонил ко мне свою восковую, нездоровую физиономию. Стрижка немного изменила черты его лица — словно под действием внутреннего вращающего момента оно выражало сейчас некую нравственную неустойчивость. В уголках рта выступили пузырьки слюны: он жаждал высказаться.

— Я говорю так, потому что знаю, что внутри компьютера. Просто переключатели, крошечные переключатели, с помощью которых мы управляем электрическим током и в результате получаем расчеты, состоящие исключительно из нолей и единиц. Скорость процесса решения — фантастическая, но суть операций чрезвычайно проста. Сколько бы вариантных записей вы ни делали, никакой «духовности» там нет. И откуда ей взяться?

Я видел, что он осознает уязвимость своей позиции, и стал раскуривать трубку. Клубы дыма от первых затяжек образовывали в лучах солнца скульптурные фигуры из голубоватого камня. Холода держались вот уже месяц, но солнце с каждым днем светило все ярче.

— Но может быть, на взгляд инженера-электронщика, так же устроен наш мозг?

— Теоретически, профессор Ламберт, только теоретически. Но любой теоретик замолкает, когда дело доходит до практики. Потому что, помимо мозга есть еще кое-что, о чем он не хочет говорить, а именно — цельная личность. Когда вы слышите шум — возьмите хотя бы шум от этих бульдозеров, слышите? — так вот, шум, вибрация сжимают воздух, звуковые волны через камень и стекло доходят до косточек в вашем ухе. Они передают колебания звука барабанной перепонке, а та, в свою очередь, — жидкости во внутреннем ухе; эта жидкость приводит в движение волоконца, превращающие звуковое давление в нервный импульс, достигающий по слуховым нервам мозга. Но кто или что именно слышит шум бульдозеров? Не сам по себе мозг, представляющий собой электрохимическую коллоидальную структуру. Мозг ничего не слышит, так же как радио не слышит музыку, которую играет. Рассуждаем дальше. Кто же решает встать, подойти к окну и посмотреть, откуда шум? Что-то возбуждает нервные клетки, от этого возбуждения движутся мышцы, тело. Это «что-то» невесомо, невещественно, это — мысль, желание. Люди признают, что мозг воздействует на душу. Можно сказать, создает ее, но вопреки логике люди отрицают другую часть равенства: отрицают, что душевные движения действуют на мозг. Мир, которым мы живем, — это субъективный мир психологических процессов, посылающий электрические сигналы двигательному аппарату нашего тела. Это самый очевидный факт нашего существования, но материалисты игнорируют этот факт.

Его прерывистое дыхание разрушало сооружаемые мной дымовые скульптуры. Чубук натер мне нижнюю губу, и я подумал, что могу заработать рак губы. Меня часто посещают мысли о том, как я буду умирать. Какая болезнь или хирургическая операция вцепится в меня смертельной хваткой. Какие больничные стены и какая усталая ночная сиделка будут свидетелями моего последнего вздоха, моей последней секунды, той точки, к которой подойдет моя истончившаяся жизнь. Я взял карандаш с надписью «День паломника» и стал рассматривать тонкий кончик грифеля. Потом вздохнул и сказал:

— Мне трудно представить себе этот скачок от души к электричеству.

— А скачок от электричества к душе — нетрудно? — мгновенно возразил он.

Я, напротив, не стал спешить с ответом.

— Мне кажется, мы должны уточнить понятия, чтобы избежать смысловой путаницы, — наконец заговорил я. — Не все, что можно обозначать словом, является тем, что оно выражает. Когда материалист говорит «душа», он хочет сказать о том, как работает мозг. Точно так же, когда мы говорим «видеть» или «вид», то подразумеваем глаз и ничего другого. Овеществление абстрактных понятий и процессов — над этим среди прочих бился еще Райл. Со времен Платона мы путаемся в словах и смыслах, и церковь пользовалась этим, когда считала нужным. «В начале было Слово». Иначе говоря, с самого начала мы думали так, как хотели думать.

— С другой стороны... — Мой оппонент заерзал в кресле, причем так энергично, что оно громким скрипом выразило свое недовольство (молодой человек не настолько потерял в весе в результате адюльтера, насколько мне хотелось бы). — С другой стороны, со времен Демокрита материалисты толковали сознание как вторичное по отношению к бытию, как нечто иллюзорное. Между тем сознание — это единственное, что у нас есть, и...

— Отсюда отнюдь не вытекает, что оно дано на веки вечные...

— ...и квантовая теория утверждает, что сознание вообще присуще материи. Частица становится действительностью только в результате наблюдения. До наблюдения ее нет, она — призрак. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга...

Я начинал горячиться. Мне хотелось поскорее возразить ему, но в дыхательное горло попал дым, и я закашлялся.

— Если что-нибудь и возмущает меня на факультете, так это постоянные ссылки желторотых юнцов на квантовую механику и принцип неопределенности как аргументы в пользу этой старой развалины — идеализма.

Дейл откинулся назад и улыбнулся.

— Физики сами виноваты. Они только об этом и говорят. Между прочим, Эйнштейн терпеть не мог квантовой теории, называл ее «домом с привидениями». Несколько раз пытался ее опровергнуть, но эксперименты показывали его неправоту, в том числе и самые последние, проведенные в Париже в 1982 году. Опыт на камере с двумя отверстиями, поставленный Янгом еще в 1800 году, продемонстрировал существенную странность: поток световых частиц создает интерференцию волн, как будто каждая частица проходит одновременно сквозь оба отверстия.

— Certum est quia impossible est, — пробормотал я.

— Что? — спросил Дейл. Он не понимал латыни. Правда, он мог возразить, что те, кто знает латынь, не знают языка компьютеров. С каждым годом мы знаем все меньше и меньше: в нашем мире слишком много надо знать и слишком мало надежды на то, что эти знания улучшат жизнь.

— «Очевидно, ибо невероятно», — перевел я. Самое знаменитое изречение Тертуллиана, которое обычно цитируют неверно: «Credo quia absurdum est» — «Верю, ибо нелепо». Он этого никогда не говорил. О чем он говорит в соответствующем разделе сочинения «О теле Христовом», так это о стыде, о смущении. Интеллектуальном смущении. Маркиона, этого придирчивого и разборчивого еретика, смущало допущение, что Бог воплотился в Иисуса Христа. Что недостойнее Бога, задается вопросом Тертуллиан, что скорее вызовет краску стыда — рождение или смерть? Что говорит о дурном вкусе — обрезание или распятие? Положение в ясли или во гроб? Всего этого следует стыдиться. Но «кто стыдится Меня, того стыжусь Я», — говорит Господь. «Я спасусь, ежели не устыжусь Господа моего», — пишет Тертуллиан, то есть если меня не одолеют сомнения насчет его очеловечивания и прочих чудес. Сын Божий умер, говорит Тертуллиан, в это надобно верить безусловно, ибо это нелепо, по-латыни — inepte. И положен был во гроб, и восстал из гроба; это очевидно, ибо невероятно[[3]](#footnote-3).

— А-а... Физика элементарных частиц дополнила представления о мире. Реальность по самой своей природе неопределенна и зависит от наблюдения. В Техасе есть физик, по фамилии Цилер. Так вот он сказал, что Вселенной придется подождать, пока не придет здравомыслящий наблюдатель. Только тогда она станет реальной, причем реальной не в субъективном понимании, а действительно реальной. В определенном смысле дух в самом деле влияет на материю. Есть еще один физик, Уигнер...

— Довольно, довольно... — прервал я его. — Все это замечательно, но не хватили ли вы через край? Дух, душа — люди не придают значения таким вещам по одной простой причине: они понимают, что целиком находятся во власти материального мира. Вам на голову падает кирпич, и душа — вон, независимо от того, упорядочены или нет траектории атомов в глине, из которой сделан кирпич. Человеческая жизнь и человеческая мысль не сравняется с движением планет, океанскими приливами, с физическими законами. Никакие молитвы, никакие благие намерения и горячие призывы не уничтожат раковую клетку или вирус СПИДа, не сломают решетку в тюрьме или защелку на дверце холодильника, куда случайно залез ребенок. Только потеряв стыд, как советует Тертуллиан, можно иметь дело с материей. Она не знает сострадания, жалости, милости. Ей наплевать на нас. Она даже не чувствует, что мы существуем. И все, что мы делаем — смотрим ли по сторонам, переходя улицу, или строим самолеты с повышенными системами безопасности, — решительно все говорит о бездушном безразличии вещей, какую бы сверхъестественную веру вы ни исповедовали.

По выражению лица моего собеседника я понял, что увлекся. По несносному обычаю проповедников он принял мою горячность за свою победу.

— Так вот как вы на это смотрите... — протянул он.

— Как многие, — сказал я виновато. — По отношению к вам я обязан быть приспешником дьявола.

— Сверхъестественная вера... — повторил Дейл мое выражение. Отражение продолговатого окна за моей спиной как бы разрезало оба его глаза пополам. — А вы действительно сердитый человек.

— Да, иногда Эстер говорит это. Не вижу, с чего бы. По-моему, я человек уравновешенный и добродушный — насколько это позволяет ситуация и даже более того.

Мне показалось, что при упоминании имени моей жены на восковых щеках Дейла проступила краска. Ему явно не хотелось выходить за рамки богословской дискуссии.

— Знаете что, — произнес он, — когда Иисус Христос сказал, что вера может сдвинуть горы, он не утверждал, что она сделает это немедленно и откроет ребенку захлопнувшуюся дверцу холодильника. По вашей логике — либо чудо, либо ничего. Но вы не можете отрицать, что дух, наши желания и надежды способны менять и меняют материальный мир. Я хочу сказать, что различные мнения в конце концов сходятся в принципе холизма...

— ...который сходится с принципом неопределенности, — закончил я вместо него. — Последние несколько лет я просто не выношу этого словечка — «холистический». Оно бессодержательно и только освящает кашу из полезных мыслей, которые накопило человечество за две тысячи лет... Как у Ричи с математикой — движется?

Кровь опять предательски хлынула Дейлу в лицо. Настал его черед быть pudibundus, нести груз стыда. Я косвенно назвал Эстер, назвав плод чрева ее.

— Неплохо. Он, в сущности, добрый мальчик и старательный. Правда, я не всегда уверен, все ли он понял. Бывает так: сегодня мы с ним разобрались в материале, а завтра он все забудет. Никак не может одолеть логарифмы. Чтобы упростить объяснения, я привожу в пример компьютер. Компьютер — он не только в принципе основан на двоичной системе счисления. Большинство машин используют шестнадцатеричные числа, при этом шестнадцать — это, конечно, четыре четырехбитных двоичных числа. Трудно сказать, почему ему так сложно, наверное, в отца пошел. С его врожденной добротой из него хороший священник получился бы.

Я не желал этого слушать. Я не желал слушать многое из того, что он говорил: как опытный дантист, умело орудующий в полости рта, он нащупывал самые мои слабые, самые чувствительные места. Я чувствовал себя лучше, когда он держался плотского, когда оперировал образами, напоминающими ему о его грехе.

— Да, но у его матери вкус к математике, — ввернул я. — Хотите, я расскажу вам кое-что об Эстер? Правда, это из сферы интимного...

— Хочу, — поколебавшись, вынужден был сказать он.

— Она раздевается, встает в ванной на весы и, если видит, что тянет больше ста фунтов, немедленно садится на диету. И питается только сельдереем и морковью, пока весы не покажут ровно сто.

— Это еще заставить себя надо. — Голос Дейла звучал хрипловато, как у Верны. Я знал, что мое замечание, касающееся нашей с Эстер общей ванны, заденет его. Наше вошедшее в привычку раздевание друг перед другом, влажные полотенца, постельное белье, застилаемое и мне, и ей, общие тюбики с зубной пастой и полоскания — все будет напоминать ему, что, кроме мансарды, где он и она разгадывали шарады безнадежной любви, в доме есть другие комнаты, где течет обычная жизнь, комнаты совместного имущества, супружеских обязанностей и взаимных воспоминаний, есть кров, который я мог дать ей, а он — нет. Когда приходишь к чужой жене, не поскользнись на мужниной вощеной нитке для чистки зубов.

— Знаете, я всегда почему-то испытываю волнение, когда думаю о ней как о ста фунтах женского тела, даже мяса. Тертуллиан называет его caro'carnis — это более удачное слово. Есть еще один довод в пользу противопоставления духа и плоти — отчуждение от своего тела, которое мы все чувствуем, отвращение, которое нам приходится перебарывать, когда мы занимаемся им. Когда кормим, моем, видим, как оно старится. А какие неприятности тело доставляет женщине! Нежелательная растительность в неположенных местах, менструации, секреция, пачкающая нижнее белье, всякого рода расстройства, проистекающие из-за того, что Бог задал слишком много работы женским животам...

— Сэр, мне не хотелось бы, чтобы вы из-за меня опоздали на ваш семинар.

— Не опоздаю, потому что никакого семинара не будет. У нас сейчас экзаменационная сессия. В следующем семестре мы рассмотрим ереси, возникшие после Первого Вселенского собора. Еретики в тот период — это толпы бедняков и простаков. Катары, вальденсы, апостолики, потом лолларды, гуситы, беггарды и бегинки, не говоря уже о нас с вами.

— О нас с вами?

— О протестантах. Мы же устранили посредника между нами и Всевышним, оставили личную веру в чистом виде. Долой пышные службы! Долой папу и папские индульгенции. Религия переплетается с политикой и экономикой. Тамплиеры, например, были не еретиками, а жертвами алчности французского короля и папы Климента V. Во многом это связано с ростом городов. Городская религия проникалась мистицизмом, что подрывало церковную организацию. Церковь, естественно, боролась с ней. Все вожаки, от Франциска Ассизского до Жанны д'Арк, претендовали на прямое общение с Богом. Это тоже вызывало недовольство церкви... Нет, мне ближе доникейское христианство, когда епископ Рима еще не стал чудовищем. Тогда, в первые столетия, христианство носило творческий характер. Люди действительно хотели понять, что произошло, понять истинную природу Иисуса Христа. Какова она, по-вашему?

— Что — какова?

— Природа Христа. Вы ведь христианин. Вы хотите доказать существование Бога через естественную теологию. Так где же в ваших построениях фигурирует Иисус Христос?

— М-м... — На этот раз причина смущения была другая, но краска на его лице выступила та же. — Как говорится в Символе веры, от Отца рожденный и сошедший с небес, дабы искупить грехи наши...

— Не надо, пожалуйста, не надо. Зачем нам искупление грехов? И вообще — какие грехи? Немного жадности, немного похоти. Но разве это грехи по сравнению с землетрясениями или ураганами? По сравнению с Гитлером?

— Гитлер... — начал он, ухватившись за мое слабое звено.

— И не надо ссылаться ни Символ веры, потому что напрашивается вопрос: какой Символ веры? Составленный святым Афанасием Александрийским сильно отличается от того, который был утвержден на Никейском соборе. Что до апостольского Символа веры, то он — сплошь общие слова, как бы подарок служащим от фирмы. Как вы смотрите на двойственную природу Иисуса Христа, на соединение Бога и Человека в одном лице? Как ариане, умалявшие божественное начало, или монофизиты, утверждавшие, что Христос-человек — только видимость, маска? Или вслед за несторианцами полагаете, что человеческое и божественное начала в Нем существуют порознь, так что бедный Иисус никак не мог взять в толк, кто он, что он, где и зачем. Жил ли половой жизнью? Время от времени или же вообще не знал, что это такое? Надо признать, он был обходителен с дамами — вспомните, как успокаивал сестер почившего Лазаря или возлежал в доме Симона прокаженного, а одна женщина выливала ему на голову драгоценное миро. Представьте его пятнадцатилетним, когда святое семейство вернулось домой, в Назарет, и все забыли, как он по-мальчишески спрятался в храме, и думали, что быть ему по примеру отца плотником. Интересно, он мастурбировал? Водил соседскую девчонку за кучу хвороста? Снились ли ему непотребные сны, которые даже старый строгий Яхве прощал мальчишкам? Не смущайтесь, прошу вас. Я говорю вещи, о которых до Никейского собора думали денно и нощно, а для философов и богословов это был тогда хлеб насущный — как теперь хлеб насущный для меня. Когда Эстер переваливает за сто фунтов, это значит, что она съела слишком много хлеба насущного и, разумеется, с маслом. Она у меня вообще прожорливая, не заметили? Любит поесть.

В бесцветных глазах Дейла мелькнул испуг.

— Вы косвенно обвиняете меня в богохульстве, — тихо сказал он.

— Да, — чистосердечно подтвердил я. — За ваше желание пойти на штурм неба. Если бы Господь хотел, чтобы пути Его были исповедимы, Он сделал бы их менее извилистыми. Зачем заводить их в астрономию и ядерную физику? К лицу ли такая скромность, если Он всемогущ? Скажите, вы не боитесь заглядывать в тайны бытия? Не боитесь, что вам вырвут глаза?

Дейл заморгал.

— Боюсь, — так же тихо ответил он.

Меня тронула прозвучавшая в ответе беззащитность. Я вдруг почувствовал, что меня до краев, до противности наполняет эта презренная штука —— жалость.

— С тех пор как я начал заниматься этим серьезно, — доверительно сказал он, — мне кажется, что мои ночные молитвы остаются неуслышанными. Что-то не связалось. Я чувствую гнев...

— Еще бы. — Я положил руки на серую замызганную тетрадь для записей и заметил, что ноготь на большом пальце опять подстрижен короче других и на нем зазубрина. Должно быть, я неправильно держу щипчики. — Вы хотите, чтобы в конце дороги у человека был Бог. Тем самым вы строите Вавилонскую башню.

— И в личной жизни тоже, — признался он хрипловато, со слезами в голосе. Почувствовав, что во мне пробудился священник, он был готов исповедаться.

Но я не желал слышать об Эстер, какими бы намеками он ни изъяснялся. Если позволить ему признания, если позволить поплакаться в жилетку, рана начнет затягиваться, перестанет болеть. Я поднял ладонь.

— Ах, это... Мы все не без греха. При нынешних условиях жизни у каждого из нас свой выверт. Но все равно не бойтесь держаться земного, плотского. Знаете, что сказал Тертуллиан? «В Природе нечего стыдиться, Природу надо уважать». Natura veneranda est, non erubescenda. В этой же работе у него масса интереснейших подробностей относительно мужчин и женщин. Он говорит, что когда они сходятся, душа и тело вместе отправляют свои обязанности: в душе рождается желание, а тело дает исполнение желания. Что тело придает семени текучесть, а душа теплоту, он называет это «душевной капелью». И тут же прелестная оговорка: его желание высказать правду рискует оскорбить целомудрие. — Я подался вперед словно для того, чтобы вызвать в его мозгу картины любовных игр с Эстер. — Тертуллиан утверждает, что при достижении оргазма у мужчины как бы отлетает душа, мутится в глазах, он точно пьяный. Далее он указывает, что Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него душу, жизнь, что земля по природе сыра и семя, ею рожденное, влажно[[4]](#footnote-4). Коротко говоря, ничего не стыдится. Non erubescenda. De Anima, XXVII.

— Странное дело, — сказал Дейл. — Иногда по ночам мне хочется поговорить с вами. Я подыскиваю аргументы и возражения. Вы почему-то выводите меня из душевного равновесия. Вот вы говорите, чтобы я не боялся земного. Но то же самое я могу сказать вам. Вы постоянно говорите о землетрясениях, войнах, болезнях. Об ужасающей огромности и бездушности мира...

— Ну и?.. — поторопил я его. Мне хотелось узнать, к чему он придет.

Краска еще не сошла с его лица. Я искал его взгляда, но Дейл упорно отводил глаза.

— О таких вещах, конечно, можно спорить и, вероятно, следует спорить. Я хочу сказать, что это внутри нас говорит Бог. Именно возмущение, бунт делает атеистов по-своему религиозными людьми, которые стараются обратить других в свою веру. Но... — Он буквально заставил себя посмотреть на меня, на оттенки моей седины. — Но вот однажды ночью я сформулировал то, что хотел сказать, а именно: вы должны сознавать, что наша верность Богу — это, в сущности, верность себе, — улавливаете?

— Улавливаю, — кивнул я, — и мне кажется, вы подошли к гуманистической идее. Вас это не смущает? У человека всегда должен быть Другой. Вы это знаете. И этот Другой оборачивается огнедышащим жестокосердным чудовищем, изрыгающим нечистоты. Так или иначе, хорошо, что вы это сказали. Я знаю, как трудно подобрать слова, чтобы выразить все, что накопилось и накипело в душе. И спасибо, что хотели успокоить меня.

Мы оба испытывали дискомфорт. Как угри, скользили, ускользали и метались из стороны в сторону наши глаза и души. С холодного и пустого январского неба в простор моего кабинета падал белесый безжизненный свет. Было холодно ночами. В костях я чувствовал груз книг, стоявших по стенам. Трубка давно погасла.

— Как Верна? — спросил я только для того, чтобы сказать что-нибудь и прийти в себя после отчаянных, опасных попыток наколоть Бога, как бабочку, на булавку и потрогать божественную суть.

— Не знаю, — ответил Дейл. — Что-то ее мучает. Одно время она была в приподнятом настроении, ждала аттестата и строила планы на будущее. Приятно было на нее смотреть. Но потом что-то произошло, она опять сникла. Вы после Рождества были у нее?

— Мое последнее посещение не имело успеха, — сказал я, хотя тогда у меня было несколько иное мнение. Впрочем, я побоялся развить преимущество из опасения, что мне просто показалось. — Мы попытались вместе прочитать «Танатопсис».

— Она уже сдала экзамен по языку и литературе.

— Да, я знаю.

— Знаете? Откуда? Она мне сама только на днях по телефону сказала.

— От Эстер. — Опять выплыло имя моей жены. Верна сказала Дейлу, Дейл — Эстер, Эстер — мне.

Он и глазом не моргнул.

— Вам стоило бы зайти к ней, честное слово. Она вас уважает.

Я усмехнулся. Мне вспомнились ее сердитое лицо и обнаженная грудь.

— У меня сложилось иное впечатление.

— Вы у нее единственный родственник в городе.

— Не исключаю, что она прибыла в наш прекрасный город именно для того, чтобы быть подальше от родственников.

Сейчас Дейл был почти таким же, как при первой нашей встрече: стеснительный и вместе с тем самоуверенный доброхот, чудаковатый иисусик в джинсах и камуфляжной куртке; он на несколько минут забыл (как он мог? как смел?), что любит мою жену, сорокакилограммовый мешок костей и кишок. Бедная Эстер вылетела из его головы, потому что он беспокоился о бедной Верне.

— Проведайте ее, профессор Ламберт, и посмотрите, как там маленькая Пола — я за нее беспокоюсь.

— Почему?

Он помедлил.

— Верна иногда просто бешеная.

— Но ребенок в детском садике пять дней в неделю. Причем бесплатно. — Финансовую сторону дела уладила Эстер.

— Да, но по вечерам и ночью она ведь дома... Не знаю, не знаю... Это как если бы с вас сняли часть груза, а потом снова весь навалили — он вам еще тяжелее покажется. Так и с Верной. Она почувствовала вкус жизни, поняла, чего лишена. Нет, правда, вы хотя бы позвоните ей. У меня никаких сил на нее не остается.

— Куда же они уходят, ваши силы? — недобро осведомился я.

Лицо Дейла немного омрачилось, расплылись очертания носового хряща, круглых щек, прыщавого подбородка, образовав складки, какие бывают на тельце ребенка. Я намеревался сокрушить его, и эта решимость была четкой, твердой и осмысленной, как удачный пассаж у Тертуллиана.

— Видно, на мою затею. Все думаю, как это сделать — смоделировать реальность на компьютере. Она ведь необъятна. Для хранения данных только об одном городском квартале требуется такой объем машинной памяти, какого нет у всех компьютеров, поставленных в ряд отсюда до Беркли. Даже если посадить программиста-всезнайку и чтобы он работал с молниеносной быстротой. Представляете разницу? Сейчас вот я занят одним коммерческим проектом. Надо сделать так, чтобы прыгал мяч с названием и товарным знаком какой-то собачьей снеди. Казалось бы, чего проще? Но каждый раз, когда мяч стукается о землю, нужно показать, что он слегка сплющивается, иначе это не мяч, а стеклянный шар, который должен расколоться. Во время отскока форма мяча восстанавливается, но в искаженном виде. Получается уже не круг, а части круга, к тому же асимметричные, ведь мяч сплющивается с одной стороны. Все это, конечно, можно просчитать, даже в трех измерениях, но нередко изображения накладываются друг на друга, надпись на мяче растягивается и сжимается раз тридцать в секунду. Не говорю уже об освещении, об отражениях света, о его рассеянии. Тогда нагрузка на вычислительные мощности становится существенной. Если же система загружена еще какой-то программой, можно несколько минут ждать, пока процессор не выдаст результат. Но прыгающий мяч — отнюдь не самая сложная штука. Фигуры, составленные из цилиндров и усеченных конусов, на порядок сложнее. В компьютерной графике, как и в роботехнике, именно эластичность органических веществ очень осложняет применение математических методов.

Я мало что понял из сказанного, и пытаться понять не хотелось. Поэтому я кивнул и ограничился малозначащим замечанием:

— Да, поразительно, если подумать.

— Но за нас думает машина, — уверенно продолжал Дейл. — Делает самую трудоемкую работу. — Его руки опять замелькали в воздухе, как бы иллюстрируя его подступ к проблеме и к машине. — Я подумал, что смешно даже пытаться бит за битом смоделировать творение. Что надо воссоздавать не творение, а Творца. Когда вы сказали, они хотят заслушать меня?

— Вскоре после начала семестра. Думаю, в феврале.

— О господи! Февраль уже на носу, а у меня каша в голове. — Его взгляд устремился в пространство. — Может быть, мне это вообще не по плечу. Иногда мне кажется, что я просто глуп.

— Что ж, глупость — особое человеческое свойство. Она присутствовала во многих благородных начинаниях.

Я услышал прощальную ноту в собственном замечании. Дейл тоже ее услышал, он встал и ушел. Наклоненная голова и опущенные плечи говорили, что молодой человек обескуражен. Я представил, как он идет на моем этаже по длинному коридору, устланному линолеумом шоколадного цвета, мимо закрытых дверей, ведущих в аудитории, как спускается по мраморной лестнице с дубовыми перилами на промежуточную, похожую на часовенку площадку с высоким узким окном, как идет потом по коридору первого этажа, проходит мимо информационного стенда со множеством объявлений: причащение под банджо в какой-то церквушке на окраине, вечерние конференции на темы «Развитие духовности у евреек-феминисток» и «Роль теологии в освободительном движении „третьего мира“ в Северной Америке», лекция приглашенного доктора медицины на жгучую тему «Интим и доверие в эпоху СПИДа».

Мы долго донимали друг друга, и после нашей духовной дуэли я чувствовал себя так, словно в грязи вывалялся. Мне было неприятно, что Дейл, из последних сил борющийся за свои убеждения и добивающийся благословения от меня, выставил на свет мои самые сокровенные мысли, мою золотую бартианскую сердцевину. Своих учеников я всегда держал на расстоянии, и вот, пожалуйста: юнец с другого факультета, пришелец с обратной стороны университетской деятельности вмешивается в чужие дела, ставит свои стопы на пути, мало кем хоженые. Даже угловатая Карлисс Хендерсон, которая с унылой настойчивостью потрошит святых, хотела бы знать меня поближе, «установить контакт» с убеленным сединами профессором Роджером Ламбертом, тем самым, кто давно заключил выгодную сделку с окружающим миром и — будь он проклят, если не выполнит ее условий.

## 

## 2

Я негромко постучал в зеленую дверь. Никогда не был здесь в такое светлое время дня. В окне на том конце обшарпанного коридора стояло солнце. В доме царила целомудренная тишина: дети — в школе, взрослые — на работе или в постели, вместе со своими грехами. Верна открыла дверь. На ней были строгая черная юбка и вязаный сиреневый свитер. Ну да, этим свежим крещенским утром она недавно отвела Полу в садик.

Дверь она открыла быстро, словно ожидала кого-то, но при виде меня круглое бледное — и глуповатое — личико преобразилось, исчезла ямочка. Она втащила меня в квартиру и упала мне в руки. Сквозь несколько одежек я чувствовал упругость ее грудей, слышал жар и стук сердца, заключенного в тонкой, хрупкой грудной клетке. Верна всхлипывала, ее горячее дыхание и горючие слезы скапливались у меня где-то под ухом.

— Дя-ядечка... — вырывался ее пронзительный ребячий голосок, — я все думала, куда ты пропал.

— Никуда не пропадал, все время был в городе, — сказал я, оторопев. — Могла бы и позвонить, если хотела повидаться с нами... со мной. — Первое местоимение указывало на меня и Эстер — тех, кто мог бы заменить ей родителей в случае необходимости, — но поскольку они с Эстер каждый день видели друг друга в детском садике, то сменой местоимения я как бы говорил: понимаю, ты хотела видеть меня, и только меня.

Она не отрывалась от меня. Первый раз за четырнадцать лет я почувствовал, что это такое — обнимать женское тело весом более ста фунтов. Правда, обнимал я ее некрепко, скорее по-родственному.

— О господи, — простонала она, хлюпая носом. — Это было ужасно.

— Что ужасно?

— Все!

— Я слышал, ты сдала часть экзаменов, — сказал я. — И разве плохо каждое утро сбывать с рук Полу? — Мы наконец оторвались друг от друга, хотя облачко ее тепла еще касалось моей рубашки, моих брюк.

Всхлипы сменились фырканьем.

— Не в Пупси дело. — Янтарные, с косинкой, глаза были похожи на глаза недовольной кошки. — Дядечка, знаешь, кажется, я залетела.

— Залетела?

— Ну да, забеременела, — кивнула она. Подкрашенные волосы упали на невысокий лоб, почти совсем закрыв его. Верне не хотелось оправдываться, но она сказала сдавленным голосом: — Сама не знаю, почему так получается. Стоит ребятам только моргнуть...

— Ты говоришь — ребятам?

— Да ладно тебе, дядечка! — Потом произнесла четко, как цитату из колонки советов в женском журнале: — Современная молодая женщина сама выбирает себе партнеров, и вообще...

То и дело повторяемое «дядечка» звучало как насмешка, и тем не менее мой приход подбодрил ее.

— Разве Дейл ничего тебе не говорил?

— Говорил, что тебя что-то гложет, но без уточнений. Сказал, правда, чтобы я у тебя побывал.

— Поэтому ты и пришел? Ну спасибо.

— Что же ты собираешься делать?

Верна пожала плечами, и по рассеянному взгляду, каким она окинула свое жилище, я понял, что она уже забыла и о своей проблеме, и о слезах, и объятиях. Из другой комнаты слышалось радио. Музыка перебивалась балагурной скороговоркой. Затем женский голос словно сбился: «Эй, теперь порядок. Вы на волне „Чащобы“. На ящике из-под молочных пакетов молчал телевизор. Комната теперь была похожа на студенческий угол. Появилась книжная полка, крашенная белой краской, где стояли модные журналы и принесенная мной хрестоматия. Появилось новое кресло с пышными, чересчур туго набитыми сиденьем и спинкой, оно что-то напоминало мне, но я не мог сообразить, что именно.

По-настоящему мой вопрос должен был бы остаться невысказанным — как и те теологические вопросы, которыми мы с Дейлом возмущали воздух. Но Верна забывала, что поступки имеют последствия. Ее лицо изменило выражение: еще немного, и она опять ударится в слезы, с какими встретила меня.

— Не знаю, ничего не знаю. Не хочу я ничего делать!

Надо было действовать решительнее.

— Тебе нельзя иметь еще одного ребенка. Тогда ты вообще увязнешь.

Меня вдруг осенило: новое Вернино кресло напоминало мне тот стул с вельветовой обивкой для сидения в постели, который нес на голове высокий молодой негр, когда я шел сюда по бульвару Самнера перед выборами. Разные формы, разные расцветки, но от обоих предметов веяло какой-то безысходной обреченностью. Я потрогал оранжевую обивку.

— Ты, вижу, нашла применение деньгам, что я тебе дал.

— Это кресло для моего дядечки, — сказала Верна тонким голоском, подражая маленькой девочке. — Чтобы он посидел, когда придет в гости. Если придет.

Я опустился в кресло на упругий новый поролон.

— И сколько же раз у тебя не было месячных?

— Кажется, два, — ответила она угрюмо.

Это было ниже моего достоинства — садиться в кресло. Теперь мое лицо находилось на уровне ее бедер. Я был еще взбудоражен тем, что держал ее в объятиях, все еще чувствовал ее тело, ее вес, чувствовал напряженность и свою ответственность. Существует особый, необычный момент эротической истины — не замечали? Момент, когда мы смотрим на человеческую особь противоположного пола как на самку двуногих существ, обреченную, как и самцы, на каждодневную рутину: физические усилия, сон, прием пищи, испражнения. Мы вместе в ней. In carnem.

— Кажется... — заметил я довольно резко. — Ты что, не умеешь считать?

— Подходит третий срок, — проворчала она. Ее бедра в черной юбке покачивались перед моими глазами. Она начинала заигрывать со мной.

— Значит, нет проблемы. Сделать аборт, и все. Скажи спасибо, что сейчас это просто. Когда мне было девятнадцать, приходилось просить разрешения на аборт, унижаться. Аборты были запрещены: считались опасной операцией, многие женщины умирали. Находятся идиоты, которые хотят вернуть те жуткие времена.

— Тебе тоже приходилось просить и унижаться?

— Мне нет, — ответил я неохотно. — Моя первая жена не могла иметь детей. Для нее это была трагедия.

— Но если б могла, ты бы заставил ее идти на риск и делать аборт?

— Мы были женаты, Верна, нечего сравнивать.

— Знаешь, дядечка, а я согласна с теми идиотами. Плод — живое существо. Его нельзя убивать.

— Не пори чепуху! В два месяца никакого плода нет — так, орешек, икринка.

— Сам не пори! Этот орешек во мне, а не в тебе. Я просто чувствую, как он хочет жить. И потом, я по телику видела, как они щипцами ребенка за голову...

— Хватит! О себе подумай. Куда тебе еще один чернокожий ребенок, когда ты и с одним-то жизни не видишь и бесишься.

В любом споре, даже в самом серьезном, бывает момент, когда суть дела куда-то ускользает и все внимание сторон переключается на сам спор, пререкание, взаимный запал. Игривость пристала ее бедрам, как туго обтягивающая их юбка.

— Кто сказал, что ребенок будет чернокожим? — понизив голос и с придыханием сказала она.

— Не важно, какой он будет! — продолжал я горячиться. — Даже если белый, как лилия, нечего ему делать в этом мире. Хочешь, чтобы он всю жизнь страдал? — Я пожалел, что не взял с собой трубку.

— Хочешь знать, дядечка? Мне нравится рожать. Чувствуешь, как ребенок в тебе растет и растет, а потом вроде как чудо. Ты будто раскалываешься, и вас уже двое.

Я подпер голову руками и подумал, что более выразительного возражения не придумаешь. Ее тело скользнуло ближе к креслу.

— А еще хочешь знать?

— Не уверен. — В горле у меня пересохло.

— Мамка не хотела меня рожать, но отец жутко религиозный был, даже до того, как начал рака бояться. Не позволил ей сделать аборт. Поэтому я на него не очень злюсь, что он меня с Пупси из дома выставил. Если б не он, меня бы просто на свете не было. Нигде бы не было.

В дверь постучали. Стук был негромким, нерешительным, но в квартире было мало мебели, хорошая акустика, и потому он показался оглушительным, как пистолетный выстрел над самым ухом.

— Верна? — спросил мягкий рокочущий баритон. — Ты дома, цыпочка?

Мы с Верной застыли, я — в кресле, она стояла рядом, ее бедра были в трех дюймах от квадратного подлокотника. Я поднял голову, посмотрел на нее, она посмотрела на меня, наклонив голову, отчего образовалось несколько подбородков. Потом улыбнулась лукавой материнской, с ямочкой на левой щеке, улыбкой, которой скрепляла наш заговор молчания.

Мужчина за дверью постучал снова, на этот раз громче, решительнее, потом было слышно, как он переступил ногами и присвистнул от нетерпения.

— Не притворяйся, что не слышишь.

Ни Вернин взгляд, ни ее улыбка не изменились, но своими пухлыми, с короткими ногтями пальцами она приподняла юбку, приподняла с тихим шелестом, который мог слышать только я, потом выше, еще выше, до пояса. Она была без трусов. Во рту у меня вмиг пересохло.

— Ну ладно, Верна, — сказал мужчина за дверью самому себе и задумчиво настучал по двери костяшками пальцев какую-то музыкальную фразу. Ее бледно-желтые ноги были как две небольшие стройные точеные колонны, между ними — широкий, как и ее лицо, куст, но волосы в нем — более темные, чем на голове, и завивались сильнее. Завитки поблескивали дужками отраженного света то здесь, то там, дужки сливались в колечки, образуя как бы круглые окошки, сквозь которые просвечивала кожа.

Человек за дверью тяжело и неестественно вздохнул, потом послышалось шарканье ног: он уходил.

Верна опустила юбку и отступила назад. На губах по-прежнему играла улыбка, но взгляд стал серьезным и холодным, едва ли не враждебным.

— К чему этот спектакль? — прошептал я.

— Да так, — сказала она своим обычным голосом. — Просто чтобы занять время, пока он там торчал. Я подумала, ты, может, заинтересуешься. И говори нормально, не шепчи. Он, наверное, слышал нас и стучал, чтобы позлить меня.

— Кто же это был?

— Друг — так ведь говорят?

— Он отец ребенка?

— Вообще-то вряд ли...

— Может быть, отец — Дейл?

— А что, это меняет дело? Можно оставить ребенка?

— Не думаю... Но если это он, то вам надо решать вместе.

— Нечего мне решать, дядечка. И вообще, я тебе давно сказала, не трахаемся мы. Он не такой, как ты. Не считает меня соблазнительной.

— Да, ты — соблазнительная. — То, что она выставила напоказ, потом останется в моей памяти как живое существо, как морской еж на белом океанском дне. Когда она заголилась, на меня пахнуло каким-то особым запахом, сродни знакомому с детства запаху лущеного арахиса, но шел этот запах откуда-то издалека, от начала жизни. Сухость во рту постепенно проходила.

Верна бесцельно ходила по комнате, она была вполне довольна собой.

— Если делать аборт, то это ведь не бесплатно, дядечка.

— В специальных муниципальных больницах — бесплатно. Для того их и создавали, чтобы девочки вроде тебя не краснели перед родителями.

— Да, но все равно они взимают какую-то плату. Это ведь часть рейганомики. Я, может, вообще не хочу в такую больницу. Оттуда уже через час выставляют. Может, я вообще боюсь операций, и мне надо ложиться в обычную клинику. И если я все-таки решусь, не должна ли получить что-нибудь за мои моральные страдания?

— Почему я должен прибегать к подкупу, чтобы ты поступила себе же во благо?

— Потому что тебе хочется потрахать меня. И полизать мою киску.

— Что за выражения, Верна!

— А что? Мамка так не выражалась? — захихикала она.

Мне предстояло узнать глубину ее падения и заодно — стоимость плода. Я спросил:

— Три сотни тебя устроят?

Она вытянула губы, как вытягивают их, когда пытаются выковырять языком застрявшую между зубами крошку, и стала удивительно похожей на мать. Так любила делать молодежь в пятидесятых.

Прикинув, Верна сказала:

— Я должна подумать. Нет, правда, дядечка, кроме шуток. Я думаю, что это грех.

— Все так думают. Но мир погряз в грехах. Мы барахтаемся в этом вонючем болоте и пытаемся узнать, какое из зол меньшее. Пытаемся сделать правильный выбор и отвечать за свои поступки. Это и означает быть взрослым человеком.

— Погоди, погоди... Ты считаешь, что маленькие дети тоже грешны?

— Не я считаю. Так считали Августин и Жан Кальвин. Так считали все христианские мыслители. Мы тоже должны так считать. Иначе мир не пал, и нет нужды в искуплении, и вообще вся история Иисуса Христа... Так или иначе, у тебя своя жизнь. Ты это правильно сказала. И тело хоть куда.

В доме было тихо, словно мы были единственные живые люди в целом свете. Ветер сдувал с карниза снежинки, они роились, поблескивая на солнце. Хотя снега выпало немного, весь январь держались холода, так что он не таял, а хрустел под ногами. Мела поземка, поднимая тысячи маленьких снежных бурь.

Верна пленницей металась по квартире. Но куда ей надо было спешить этим ясным утром? Ей, не имеющей ни машины, ни работы.

— Тело, говоришь, хоть куда?

— Раз я считаю тебя соблазнительной, как нам быть? — спросил я осторожно. У меня снова запершило в горле.

Сначала она не поняла меня, широко раскрыла глаза, потом прищурилась.

— А-а... честное слово, не знаю, — наконец отозвалась она. — Смешно трахаться, когда ты семейный человек. Это как кушать на полный желудок и вообще... — Ее отказ прозвучал чересчур твердо, такими и бывают предварительные мнения. — Перед твоим приходом я как раз собиралась нарисовать акварель. Дейл хотел кому-то ее показать. Кстати, он и книжку по математике принес, чтоб я лучше к экзамену подготовилась. Кроме того, я обещала своей работнице, что заскочу к ней взять новые формы на социальное пособие. Каждый раз у них новые правила. И знаешь что, дядечка, — Верна вытаращила глаза, — я получала бы в месяц на семьдесят четыре доллара больше, если бы заимела второго ребенка.

— Нехорошо делать деньги, делая детей, — строго выговорил я.

— Не хуже, чем делать деньги, делая аборты!

— Я не за аборт готов заплатить, а компенсировать тебе моральный ущерб.

— Не такая уж это большая разница. — Она смотрела на меня сверху. На подбородке у нее опять образовались складки. — Спрашиваешь, как нам быть? Трахаться, конечно, смешно, как-никак ты мой добрый дядя, и вообще... — Она дотронулась до моей серебристой седины, которой я так тщеславлюсь. — Ну ладно, разрешаю поцеловать меня. По-дружески.

Я хотел было встать с кресла, но она подошла вплотную ко мне.

— Не вставай. Целуй сюда. — И она опять задрала юбку.

Кто-нибудь из дружков-молокососов, должно быть, сказал ей, что у нее прелестная норка. Я увидел нежную ложбинку и едва проступающие голубоватые прожилки вен по ее склонам, там, где живот сходится с внутренней стороной бедер. По краям венерина бугра волоски стояли, как часовые на страже заповедной чащи. Я ткнулся губами в правый склон.

— Ой, щекотно! — хихикнула сверху Верна.

Чтобы не щекотало, я еще сильнее прижался губами к горячей плоти и хотел было лизнуть языком левее, самую расселину, но Верна вдруг отступила на шаг и опустила юбку. Я с удовлетворением почувствовал набухание внизу собственного живота. Не всякая женщина способна расшевелить наш рептильный мозг, и вообще это зависит от половых феромонов, неизученных нервных возбудителей, действующих на другую особь. Способность расшевелить никак не связана с тем, что принято считать женскими достоинствами; мало того, они даже мешают соитию. Люди совокупляются не ради собственного удовольствия, а ради пополнения гигантского генофонда человечества.

Верна снова была в том настроении, о котором пелось в прошлый раз по радио: девчонки просто хотят повеселиться.

— Может, стоит хотя бы раздеться. Просто так, для смеха, — сказала она. — Если, конечно, ты снова не оттолкнешь меня.

— Я тебя не отталкивал — с чего ты взяла?

— Все время отталкиваешь, дядечка. Всякое желание пропадает. Ты просто дразнишь меня.

— Странно. Готов поклясться, это ты меня дразнишь.

— Давай на спор, что ты удивлен, почему я без трусов.

— Да, у меня были кое-какие предположения.

— Вот и нет! Идешь по улице, и никто не догадывается, что у тебя секрет. Мне это нравится.

— И много у тебя секретов?

Ее глаза сузились, она приняла вызов.

— Не так уж много. Я тебе не потаскушка какая-нибудь.

Она смотрела на меня в упор, и внезапно словно бы стеклянная стена встала между нами. Полопались маленькие связующие нас звенья, выкованные, когда я терся лицом под ее животом. Передо мной стояла «трудная» уличная девчонка-недоучка, которая волновала меня не больше, чем манекен в магазине готового платья. Я почувствовал облегчение. Едва она высказала блестящую идею раздеться, как со всех сторон меня наперегонки стали осаждать сомнения: СПИД, экзема, мужчина у двери с тяжелыми кулаками, усилия, чтобы вскарабкаться на нее, моя расшатанная, ненадежная пятидесятитрехлетняя плоть[[5]](#footnote-5), возможные насмешки со стороны этого тинейджера с неустойчивой психикой, развеселые, под пьяную лавочку, россказни о случившемся чернокожим чужакам в «Домино»...

— Нет, ты человек, который мог бы лучше устроить свою жизнь, — изрек я.

— Пошел-ка ты, дядечка, знаешь куда? Не видать тебе больше моей норки, как своих ушей. И денег мне твоих не нужно. Помнишь, мы говорили, что у меня есть имущество.

— Господи, ты опять за свое? Ведь пропадешь! Кстати, как у тебя с травкой?

— До пяти вечера ни одной сигаретки. Разве что кокаинчика понюхать, если кто угостит. Как когда и смотря с кем.

— Несносная ты девчонка!

— Еще какая сносная, дядечка.

Мы снова впадали в пустословие. Я раскрыл бумажник. Да, по пути на факультет надо заглянуть в банкомат. «Благодарим за то, что воспользовались нашими услугами. Удачного вам дня».

— Вот тут восемьдесят пять долларов, больше у меня с собой нет. Это тебе на первое время. И обязательно сходи в больницу. Может, хочешь посоветоваться с Эстер?

— При чем тут Эстер?

— Ну, женщина все-таки.

— Эта коротышка? Воображала — вот кто она. Даже не глядит на меня, когда я прихожу в садик.

— Может быть, она думает, что ты не желаешь с ней разговаривать. Она вообще у меня стеснительная.

— Стеснительная, да не со всеми.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То и хочу, а о чем — сам догадайся.

Я не посмел спросить, не сболтнул ли ей Дейл чего лишнего. Мне до смерти хотелось поскорее убраться из этой квартиры с застоявшимся воздухом, из этой тупиковой новостройки и снова очутиться в старых величественных стенах факультета, среди старинных, редких и редко снимаемых с полок книг (на днях я раскрыл компактный двухтомник Тертуллиана, изданный иезуитами в Париже в 1675 году; за три с лишним столетия никто не удосужился разрезать страницы).

Однако отношения с племянницей у меня сложились легкомысленные и нелепые. Уходя, я прижался губами к ее накрашенному рту. Верна ответила мне горячим поцелуем. И не успела захлопнуться дверь за спиной, как меня захлестнуло видение ее обнаженного тела — сокровища, от которого я отказался. Захлестнуло, как волна накрывает нерасчетливого серфингиста.

...Я как раз собиралась нарисовать акварель, Дейл хотел кому-то ее показать.

— Очень мило, — говорит Эстер. — На фоне этих железок вдруг горшочек с фиалками. Бедные бледные фиалочки.

— Может быть, у нее не было подходящей краски, чтобы сделать цвет более насыщенным, — вступается за Верну Дейл.

Они оба раздеты — Эстер и Дейл. У обоих белая-белая кожа, и ни единого жирового отложения. Их тела — как удлиненные капли в пробирке с серым смогом зимнего города. Во имя любви она согласилась прийти сюда, в скромную студенческую квартиру в старом трехэтажном доме, — целый квартал таких же домов принадлежит университету, пока он не пущен под снос, хотя совсем рядом высятся новые сооружения, увенчанные куполами и утыканные антеннами. В них размещаются научные институты и лаборатории, которые содержатся за счет финансовых вливаний Пентагона и гигантских корпораций. По некрашеным деревянным ступеням она поднялась в подъезд, стараясь не угодить шпильками красных кожаных сапог в какую-нибудь трещину или дыру в подгнившем настиле. С бьющимся сердцем одолела баррикады из ржавеющих мотоциклов, подошла к ряду побитых почтовых ящиков (на каждом — карточка с двумя или тремя фамилиями) и нажала кнопку против надписи Колер/Ким.

Хотите знать, кто такой Ким? Один из тех трудолюбивых молодых людей с Востока, чьи руки в двадцать первом столетии лягут на рычаги управления миром. У него плоское матовое лицо, рассказал Дейл Эстер, прямые черные волосы и отрывистый лающий смех. Зовут его Тон Мин, хотя, может быть, это фамилия, никто толком не знает. Так или иначе, успокаивал Дейл Эстер, между половиной третьего, когда кончается ее рабочий день в детском саду, и половиной шестого, когда она должна быть дома на аллее Мелвина, чтобы встретить сына и мужа из их учебных заведений, веселого и умного мистера Кима здесь не будет: он занимается на семинаре по гидрогеологии, а потом дежурит на парковке у своего кинотеатра.

Не снимая перчаток, Эстер, моя Эстер — я чувствую, как бьется ее сердце и влажнеют трусы, — нажимает на кнопку звонка и, положив руку на дверную ручку, ждет, когда заверещит устройство, отпирающее вход. О, этот захватанный шар по размеру ладони, сколько тысяч пальцев сжимали и поворачивали тебя? Сначала мозолистые лапищи ирландцев-иммигрантов, теперь привычные к клавишам и перу пальцы студентов со всех уголков земли, а между ними несметная череда натруженных рабочих рук. Ей вспомнились истертая сотнями подошв подставка для ног у чистильщика сапог и внушительное кресло для клиента. Подставка была высокая, красивая, металлическая, в ней как в зеркале отражались носок и каблук, каблук всегда ниже носка. В начале своего восхождения по лестнице бизнеса отец был мастером по части чистки обуви, и маленькой девочкой ей не раз приходилось стоять подле многоступенчатого трона, каких сейчас нигде не увидишь, но в свое время их было полно в гостиницах, на вокзалах, в других модных местах где-нибудь в Олбани или Трое. Ей вспомнился запах ваксы и сигарного дыма, вспомнились щетки и суконки для наведения блеска, старые негры, словно кланяющиеся при каждом взмахе рук и фыркающие от шуточек человека в кресле-троне. Стоя около чужих ног, которые у папы сияли ослепительнее, чем у других чистильщиков, она чувствовала на себе грубые безразличные взгляды мужчин, возвышающихся над папой, и слышала его голос, более хриплый и протяжный, чем дома. Какие некрасивые пятна остались бы на ее платьице, если бы кому-нибудь из чистильщиков вздумалось дотронуться до нее своими грязными ручищами! Последнее мощное круговое движение суконкой, последний поклон и — готово. Медное покрытие на тех красивых подставках для ног стиралось, как и эта дверная ручка, до белизны. Так, атом за атомом стирается мир.

Замшевые перчатки, модное желтовато-коричневое шерстяное пальто, сапоги цвета бычьей крови, нахмуренные брови под меховой шляпкой — такова Эстер, с виду типичная профессорская жена, самоуверенная и осторожная, быстрая и чопорная женщина на пороге среднего возраста. Что она делает в этом доме? Может быть, решила навестить живущего здесь сына? Или она — активистка какого-нибудь общественного движения? Противно, как и у нас в доме, дребезжит звонок, щелкает запор, и дверь поддается нажиму. Эстер несет вверх по лестнице свое пугливое трепещущее сердечко, несет, как младенца, украденного и спрятанного за отворотами пальто. На каждой площадке из-за дверей слышатся стуки пишущей машинки, роковые ритмы и фуги Баха, грубоватые мужские шутки. Она молится или скорее твердит про себя как заклинание: только бы не распахнулась вдруг какая-нибудь дверь, только бы не вышел дерзкий молодой человек и не увидел, как она крадучись спешит на свидание.

Дейл живет высоко, на четвертом этаже. Запрокидывая до боли в шее голову, она видит дорогое виноватое бледное, точно больное солнце, лицо. Он смотрит на нее сверху, перегнувшись через перила. Его взгляд придает ей бодрости. Ее толкает вперед сила, которая мощнее боязни огласки и осуждения. Вот она наконец на последней ступени. Он хватает ее в охапку и втаскивает в свое неказистое жилище. В глаза ей бросаются крикливые плакаты и разбросанные вещи, в ноздри бьет едкий запах двух молодых мужских особей, сожительствующих на тесной территории. Он запирает дверь, накидывает потускневшую цепочку. Она — его любовница, бесстыдное и нежное стофунтовое тело. Они раздеваются, они совокупляются.

Погодите, слова, не спешите! Над прохладой ее плотного пальто они отворяют окно горячих губ и горячей слюны. Тепло от этого малого источника распространяется у каждого по всему телу, проникает сквозь одежду, подтверждает их близость и право друг на друга. Она не была в его комнате прежде и, даже упиваясь его поцелуем, старается разглядеть сквозь трепещущие ресницы репродукции гравюр Эшера, плакаты, на которых женские тела перетекают в кузова легковых автомобилей и обратно, горчичные стены, покрытые потрескавшейся местами штукатуркой, единственное окно и одностворчатую раму с заклеенными порыжелым скотчем трещинами от ветров, пронесшихся за столетие. Бросается в глаза примета корейского быта — широкая раздвижная ширма, на которой по черному фону разбросаны группки людей, все в чудных квадратных шапках, у каждого в руках затейливый зонтик с извилистыми переплетающимися ребрами, который он держит с таким же наклоном, как и все другие. Ширма делит комнату на две половины, где молодые люди спят, самозабвенно распространяя вокруг себя всевозможные запахи. Остальное пространство занимают техника, книжные полки, составленные из бетонных подставок и сосновых панелей с лесопилки «Гроува», несколько складных кресел с расшатанными шарнирами и полотняными сиденьями и спинками и бессистемный набор потрепанных мягких кукол одинакового металлического цвета.

— Увлечение Кима, — словно извиняясь, поясняет Дейл. — Собирает космических кукол.

Печальный И.Т., у которого голова похожа на картофелину, купологоловый робот Р2-Д2 и его серебристый дворецкий и кореш Си3-РО, дальновидный долгоухий Иода, пушистые говорящие юоки из продолжения «Звездных войн» — Эстер узнает их благодаря кино, куда водила Ричи, когда тот еще не стеснялся ходить с мамой. Конечно же, чудаковатый мистер Ким, а не ее серьезный Дейл раздобыл где-то самую большую куклу в солнечных очках немыслимо причудливой формы и шапочке с большим козырьком, какие, по ее мнению, носили только фермеры, но теперь носят, считая это особым, «деревенским» шиком, многие горожане, причем сплошь и рядом на таких шапочках пропечатаны названия и символы торговых фирм.

— Ты знаешь, оказывается, эти восточные люди не такие, как мы. Обожают гротеск. Обожают Годзиллу.

Под плакатом на стене с изображением Рейгана и его любимого пса Бонзо висит большая компьютерная распечатка. Прищурившись, Эстер видит, что из цифр и букв, расположенных с различной степенью плотности, вырисовывается лежащая на боку обнаженная женская фигура: распущенные волосы, тяжелые груди, треугольник на лобке. Под полкой, заваленной бумагами, как раз над кроватью, вероятно, Дейловой, висит небольшой черный крест. Единственное окно смотрит в сторону окраины, которая начинается за зданиями гуманитарных факультетов, в том числе богословского, и ее собственным домом. Над верхушками деревьев она различает шпиль университетской церкви. Когда они с Роджером только что переехали сюда, он служил ей ориентиром во время походов по магазинам.

— Ты как, сможешь здесь расслабиться? — робко спрашивает Дейл. — Может быть, приготовить тебе чашечку чая?

— Не откажусь, — кивает она, круто отворачиваясь от окна. Словно пережив десятилетие, Эстер вдруг ощущает себя женщиной под сорок, попавшей в непотребный район города, нарушающей супружескую верность на виду шпиля церкви, женщиной дурной, испорченной, которая при беспощадном свете из окна и выглядит, вероятно, не моложе своих лет: морщинки в уголках глаз и слишком сухая кожа на руках, как будто они вымазаны мелом. Она пришла сюда прямо из детского сада и не имела возможности принять душ, освежиться, натереть руки и лицо увлажняющим лосьоном.

— В половине одиннадцатого я выпила стакан сока с кусочком печенья, а в полдень съела бутерброд с арахисовым маслом, — поясняет она, пытаясь подшутить над своей диетой, и еще потому, что любовники всегда рассказывают друг другу о себе — в надежде, что партнеру по постели это интересно.

— Знаешь, наверное, эта квартира — не совсем подходящее место для любви, — говорит он из крохотной кухоньки, скорее даже — ниши, где помещается только двухконфорочная плита на низком холодильнике. В его голосе можно даже уловить нотку надежды, что близости сегодня не будет. Она расстегивает пальто и бросает на кресло, которое едва не опрокидывается под его тяжестью, кладет туда же меховую шляпку — такую же ярко-рыжую, как ее волосы, разматывает шерстяной шарф. Как реакция на его реплику ее захлестывает волна обиды, обиды и желания. Она следит за изломами его фигуры: вот он тянется за пачкой печенья с «Фермы Пепперидж», затем нагибается, чтобы достать с полки красную коробочку с пакетиками чая, потом, согнувшись почти пополам в тесной нише, вытаскивает из холодильника пакет с молоком и снова распрямляется, чтобы взять сахарницу. Теперь он стоит, нагнувшись над плитой, и ждет, когда закипит вода. До чего же трогательны мужские зады, та их часть, что труднее всего защитить! Низ длинного Дейлова туловища, туго упакованный в потертые джинсы, из которых торчит пола рубашки-шотландки, смотрится совсем неплохо. Эстер давно заметила, что он носит широкий ковбойский ремень с большой пряжкой, на которой выбита голова длиннорогого быка. Она садится на его кровать и начинает стягивать сапоги на высоких каблуках. В красноватом тумане под опущенными веками проплывают детские личики, многонациональное потомство многочисленных работающих или праздношатающихся матерей. Снят второй сапог, и туман рассеивается. Из чего сделан крест? — думает она. Не из дерева: нет ни прожилок, ни зерен; не из металла: нет ни острых краев, ни зазубрин. Может быть, из пластмассы? Ей хочется потрогать крест, но неудобно, вдруг он увидит. Купидон и Психея. Потом, решает она и подходит к Дейлу, и они вместе ждут, когда закипит вода. Она знает, что, стянув сапоги, стала сексуально привлекательнее: ниже ростом, и ноги в чулках на голом полу. Кладет ладонь на его затянутый беззащитный зад; потом рука скользит вокруг пояса, и пальцы нащупывают треугольник оголенной кожи за выбившейся из джинсов рубашкой. Он гладит ее по голове, ласкает пришпиленные имбирные пряди, потом — нежный пушок на шее. Вне родных стен, вдали от дома, от мансарды, увешанной ее энергичными фантастическими холстами, попав в эту невзрачную незнакомую комнату, она теряет уверенность. Любовники оробели, как если бы их внезапно выкинули на потеху публике, которая насмехается над их непохожестью, над нелепостью этой пары. У Дейла просыпается совесть, и он порывисто обнимает Эстер, словно стараясь оградить от чужих глаз. Вода закипает, чайник свистит, но им уже не до чая. Господи, думает она, принимая его в свое распластанное и гнущееся тело, как же он быстро возбудился, а у нее сухо, так что в первые секунды больно. Но потом боль растворяется в красном тумане закрытых глаз и переходит в ощущение завершенности, захватывающее все ее существо, в несказанное чувство наполненности, перед которым отступает даже страх смерти, меркнут звезды и солнце. Она не помнит, испытывала ли такое чувство с Роджером, хотя должна была испытывать, потому что любила его, любила так, что увела его от жены и соединила свою судьбу, судьбу женщины, уже познавшей независимость, с его судьбой.

Дейл всхлипывает над ней. Она нежно проводит левой рукой по его костистой спине, обнаруживая под пальцами несколько прыщиков, а правой дотрагивается до креста. Как она и думала, не дерево и не металл. Пластмасса. На кресте нет изваяния человеческой фигуры, нет манекена, взошедшего на его космический корабль, — только голая стартовая платформа, межзвездная рогатка.

— Поразительно, — говорит Эстер, — ты так быстро настроился... Почему ты плачешь?

— Потому что... О господи, как же было хорошо! Слишком хорошо. Так больше нельзя! И самое печальное, что я понимаю: это должно кончиться. И кончится. Скоро.

Дейл сильно шмыгает носом, заглатывая мокроту. Кровать сотрясается.

— М-м... — лениво говорит Эстер, поглаживая его бритую шею. Мысли ее несутся через окно к шпилю церкви, возносятся вместе с Иисусом, летят вверх, как воздушный шарик, вырвавшийся из рук на ярмарке сахарной ваты и других сластей, куда отец водил ее, когда ей было лет восемь. Она объелась крабовым пирогом с засахаренными яблоками, и ей стало плохо. Когда Эстер пришла домой, мама отругала папу. Через несколько лет, которые теперь кажутся днями, мама умерла, и они с папой могли ходить куда угодно. — Ты мог бы меня похитить?

— Не имею такой возможности, — глубоко вздыхает Дейл. Он уже думал об этом. — На что мы стали бы жить? Я один едва свожу концы с концами. Питаюсь пиццей и супами из пакетов. Ким каждое утро выходит на пробежку, а я — нет, берегу калории. И потом — как быть с Ричи? Как быть с профессором Ламбертом?

— Профессор Ламберт перебьется.

— Как перебьется — без тебя?

— Я с ним не та, что с тобой.

— Он обожает тебя. Иначе быть не может.

— Обожал, но это было давно. — Эстер начинает чувствовать тяжесть Дейлова тела: как-никак, он весит почти вдвое больше ее, несмотря на нищенское питание. Упоминание о пицце резануло ей ухо. И слезы на его восковом лице, мутными шариками стекающие к подбородку, тоже неприятны. Она предложила ему увезти ее, он отказался. Типичный женский жест самоотдачи не возымел действия. Он не поспешил ей навстречу.

— Такой скромный и грустный этот крестик. — Она, не прячась, гладит крест теми самыми пальцами, которыми несколько минут назад направляла куда следует его неимоверно большой горячий замечательный член. Бугорки на нем на ощупь напоминали замерзшую речную рябь. — Из чего он сделан?

— Не знаю. Это не мой, Кима. Многие корейцы исповедуют христианство, представляешь? Возьми того же Муна и его сторонников. А крест, думаю, роговой. Яки или мускусные быки в Корее водятся? У кого еще черные гладкие рога?

— Похоже на пластмассу, — лениво возражает Эстер.

— Да, вот еще... Помнишь, ты интересовалась акварелями Верны? Я попросил ее сделать одну для меня. Вон там, на столе...

Дейл сползает с Эстер, встает с постели. Его полуопавший скользкий блестящий член покачивается из стороны в сторону, как змея, почуявшая опасность. Эстер, продолжая лежать, как лежала, не сдвигая коленей, говорит:

— Может, дашь пару салфеток или бумажное полотенце? Я буквально плаваю в твоей сперме.

...Очень мило. На фоне этих железок вдруг горшочек с фиалками. Но Дейл говорит Верне другое:

— Она восхищалась твоей акварелью. Говорит, ты очень тонко чувствуешь цвет, у тебя определенно талант, а уж она разбирается в живописи.

Верна не в духе. На то у нее масса причин, но Дейл первым попался ей под руку. Сегодня День сурка, второе февраля, суббота. Вчера моросил холодный дождик. К утру он перестал, но небо по-прежнему пасмурное. Поле нездоровится, простуда, так что Верна не может уйти из дома.

— Воображает из себя. Если б я знала, что ты хочешь показать мою мазню этой мочалке, ни за что не дала бы ее тебе. И вообще, где ты ее видишь-то?

— У них дома. Я ведь занимаюсь с Ричи. Иногда угощает меня чаем.

— Берегись, парень! Эти изголодавшиеся дамочки-домохозяйки только об одном и мечтают: как бы затащить кого-нибудь в постель.

— Нет, она ничего, — вспыхнув, говорит Дейл.

— Слушай сюда, придурок. — Верна смотрит ему прямо в глаза, словно пришла к определенному решению. — Ты какой-то нелюдь. Тошно с тобой, с ума сойти можно.

Как всегда в таких случаях, Дейл делается до ужаса доброжелательным, кротким, терпеливым.

— Это не со мной тошно, — говорит он, — это тебя что-то гложет.

— Избавь меня от своих нравоучений! — На Верне купальный халатик: она только что из ванной. В воздухе еще стоит кисло-сладкий запах шампуней и горячей воды. Глаза у нее покрасневшие, видимо, не выспалась, лицо опухшее — или так кажется Дейлу, который привык к худощавому лицу Эстер с ее умным насмешливым печальным ртом.

— Как ты думаешь, что с Полой?

— Хрен ее знает. Грипп какой-нибудь, наверное. У них в саду миллионы микробов, и все заразные. Может, забрать ее оттуда?

— Ни в коем случае.

— Это почему же? — Верна упрямо раскрывает рот.

— У тебя должны быть развязаны руки. Надо развивать свои возможности. Как у тебя с оставшимися экзаменами?

— А никак! Чем я занимаюсь? Покуриваю дешевую травку, жалуюсь на судьбу да слушаю, как лопочет Пола. Теперь она не только «па-па» говорит. А что будет через два годика? Начнет неприятные вопросы задавать.

— Можно взглянуть на нее?

— Валяй! — Она зажигает сигарету. Дейл раздвигает темно-бордовую занавеску, разделяющую две комнаты. Ребенок спит в своей кроватке, рядом ревет плейер. «Я не усну-у всю но-очь, — тянет сиплый женский голос, — с тобой я бу-у-уду». Ему кажется, что девочка стала темнее в последнее время, и цветом лица теперь ближе к Натали Коул, чем к Дайане Росс. Дыхание у нее прерывистое, затрудненное. Извилистые ноздри под приплюснутой переносицей забиты зеленой слизью. Он щупает ребенку лоб. Лоб горячий, влажный, словно возмущенный метанием атомов, как возмущена даже самая мертвая материя.

Дейл возвращается к Верне, спрашивает:

— Ты ей что-нибудь даешь? Детский аспирин или...

— Дала половину таблетки тайленола, но маленькая сучка ее выплюнула.

— Если завтра или послезавтра ей не станет лучше, надо показать ее врачу.

— Показать врачу? А ты когда-нибудь был в наших поликлиниках? Чтобы попасть к врачу, надо два часа просидеть в очереди, вдыхая всякую заразу, которую придумал Боженька. А доктора — сплошь арабы и вообще иностранцы, они и по-нашему-то едва-едва говорят. Господи, до чего же глупый ты человек, Дейл.

Вчерашний дождь смыл с кирпичного подоконника снаружи снег, но на голых ветвях уснувших деревьев кое-где держится наледь.

— Какие неприятные вопросы? — спрашивает Дейл.

— «Почему ты трахаешься с кем попало, мамочка?» или что-нибудь вроде этого. Но тебе-то что? Тебе-то какая разница, сдам я на аттестат или нет? И вообще, на хрена мне аттестат? Он что, поможет мне выбраться отсюда? — Верна обводит рукой стены, стулья, окна, коврик под ногами. По ее лицу с пухлыми щеками и обманчивой ямочкой пробегает злая гримаса. — Ты что, не видишь, как мне плохо?! — кричит она. — Не видишь, что одной приходится со всем справляться? И чего ты ходишь ко мне со своей поганой добренькой улыбочкой? Почему не оставишь меня в покое? Не сделаешь такую милость?

— Потому что люблю тебя.

— Не любишь, не любишь! Не говори глупостей! — На покрасневшие глаза навертываются слезы. Она знает, что он видит их, и это злит ее еще больше. — И я не желаю, чтобы ты меня любил! Ты, ты... Жалкий идиот, вот ты кто! Убирайся отсюда, без тебя тошно. Не видишь, я снова залетела?.. Ну уходи, ну пожалуйста...

Она начинает колотить его, но неумело, как отбивающийся лапами котенок. Дейл загораживается от ее ударов, смеется. Его смех только заводит ее, она лупит все сильнее, сильнее, как будто стараясь стереть у него с лица эту словно приклеенную доброжелательную улыбочку, а ее собственное лицо и янтарные глаза искажает слепая ярость. Каждый удар сопровождается громким, похожим на хрюканье выдохом, какой нынче в моде у начинающих теннисистов при подаче.

— Мерзавец, мерзавец! — приговаривает молодая женщина. Дейл пятится, сдерживая смех, хотя Верна уже лягается, а это куда опаснее. Перед его носом захлопывается дверь, и до Дейла доносятся стуки в стены и протестующие выкрики соседей, услышавших шум.

Снова залетела.

Эстер поглаживает крест, сделанный, по всей вероятности, из рога корейского яка.

— Э-э, скажи, — тянет она самодовольно, как женщина, только что испытавшая оргазм, — это много для тебя значит?

Дейл думает, что она имеет в виду их близость, и готов подтвердить, что да, очень много, но вовремя замечает ее взгляд, устремленный на крест, и поглаживающие его пальцы — те самые тонкие пальчики, что минуту назад кинули на пол намокшие салфетки.

— Да, много, — говорит он, и добавляет неуверенно: — Конечно, я не так разбираюсь в подробностях и перипетиях развития нашего вероучения, как твой муж...

— Он считает эти перипетии просто смешными, — прерывает его Эстер. — Люди, убивающие друг друга из-за каких-то тончайших различий в мыслях, — это чья-то злая шутка.

Дейл хочет сказать что-то в мою защиту — есть мужская солидарность, в силу которой мы готовы идти прямо и до конца против женщин, существ самонадеянных и беспринципных, — но чувствует, что в ее вопросе нет подвоха, и пускается в откровенность.

— Мне страшно без веры, — говорит он. — Так страшно, что я теряю способность действовать. Я словно впадаю в летаргический сон и лежу на дне моря. Помню, в прошлом году в Айдахо забрел в чащу. Иду, иду, а кругом лес без конца и края, и ветер свистит в ветвях. Казалось, в мире нет Бога, понимаешь, а из чащи глядит отвратительный лик Дьявола...

В Эстер пробуждаются женские и материнские инстинкты — Дейл ожидал и не ожидал этого. Она снова обнимает его, прижимает к своему тонкому телу, к сорока килограммам женской плоти, крови и костей.

— Бедненький... — шепчет она.

Уткнувшись влажными губами ей в ухо, он шепчет, шепчет, стараясь объяснить как можно доходчивее.

— Без нее... без веры... возникает какая-то большая дыра, причем определенной формы — странно, правда? И Он заполняет ее, понимаешь?

Все, что он говорит, запутанно и печально до безнадежности. Она обнимает его костлявую спину, чувствуя под ладонями прохладную кожу, усеянную созвездиями прыщиков. Почему ей хочется, чтобы он снова, сейчас же взял ее? Неужели подействовали страх и отчаяние этого молодого человека, которому, как и всем нам, придает силы изо дня в день, с утра дотемна тянуть лямку жизни только обветшавшая забава и хлипкая опора — христианская вера?

— И тебе всегда страшно?

— Нет, временами накатывает. А так — идешь по улице, и тебя вдруг охватывают какой-то восторг и уверенность, правда. Но иногда... иногда я до боли чувствую хрупкость бытия. И знаешь, они неизбежны, эти приливы отчаяния. Их много в Новом завете. Отчаивается не только Петр, но и сам Иисус Христос. Ты переживаешь период упадка духа, а потом через отчаяние снова обретаешь жизнь, выходишь обновленным. В сущности, человеку и нужно-то лишь горчичное зерно. Помолись со мной, Эстер. Нет, не сегодня и не здесь. Здесь нехорошо. Как-нибудь потом. Мне будет приятно.

Его прерывистое горячее дыхание рождает в ее сердце жгучее желание, настолько жгучее, что она едва успевает, словно теряя сознание, выговорить:

— Что мне сделать, чтобы ты смог еще раз?

— Тебе придется постараться, — отвечает он таким же сдавленным голосом, — но я вряд ли смогу.

## 

## 3

Комиссия по грантам обычно собиралась в мемориальной комнате Роланда Л. Партча. Отец Партча, и дед, и прадед — все были пресвитерианскими священниками, и хотя сам он почувствовал призвание вкладывать деньги в недвижимость в городских предместьях — другими словами, почуял, что грядет джентрификация[[6]](#footnote-6), задолго до того, как придумали это слово, — но в среднем возрасте его потянуло на благотворительность, чем он успешно и занимался как бы в предчувствии своей безвременной кончины при взрыве газового баллона, подающего топливо к грилю на лужайке перед домом. Его сын, краснощекий студиоз Энди Партч, был у меня учеником в первые годы моей работы на факультете, а сейчас исцеляет души в одном очень приличном приходе городка под Вашингтоном с новозаветным названием Вифезда. Комната Партча раньше была частью полуподвального подсобного помещения Дома Хукера, поэтому по ходу заседания в окнах, как на телеэкранах, попеременно появлялись кроссовки, бегущие по дорожке из бетонных плит, шагающие щиколотки в шерстяных носках, бредущая бахрома джинсовых штанин; иногда откуда-то с белесого поднебесья спускалась летающая тарелка — студенческий народ открывал сезон игр во фрисби, хотя земля была покрыта месивом из поблекшей прошлогодней травы, черной грязи и пористых остатков снега.

Я уже рассказывал о Джессе Клоссоне. Бывший квакер с квадратным черепом, терпимый и невозмутимый в вопросах веры. Он шире в плечах и запястьях, чем это может представиться из моего описания его внешности, и от него всегда дурно пахнет, потому что он закладывает нюхательный табак не в ноздри, а за щеки. Когда он с приветливой улыбкой, обнажающей коричневые зубы, поворачивает к вам свою голову-ящик, изо рта у него несет, как из плевательницы или мусорного бака. При всем при том он начитан — Гуссерль и Хайдеггер, Шлейермахер и Харнак, Трёльч и Овербек.

Ребекка Абрамс, наш профессор гебраистики[[7]](#footnote-7) и смежных дисциплин, — высокая сухая дама с резкими, порывистыми движениями, широкими крыльями носа, мужскими бровями, в очках с поблескивающей оправой. Черные волосы она зачесывает назад и собирает в пучок, но благодаря доставшейся от предков энергетике они все равно курчавятся, образуя мягкий ореол вокруг строгой прически. Как у многих евреев, в хорошую минуту ее лицо вдруг озарялось теплотой и приветливостью, словно напоенное водой, которую ударом своего жезла исторг Моисей из скалы на горе Хорив. Джереми Вандерльютен с кафедры этики и морали веры, единственный чернокожий в комиссии — негнущийся мужчина с тяжеловатой поступью, на факультете он появлялся исключительно в костюмах-тройках. Лицо у него цвета железных опилок, а нижние веки немного отвисли, словно под тяжестью практики христианства. Четвертый член комиссии — Эд Сни. Он считался пресвитерианцем, но игрою случая и капризом моды, которые время от времени оживляют академическую рутину, стал общепризнанным вершителем безбожных бракосочетаний. Когда дочь чешского эмигранта-астрофизика выходила замуж за буддиста-японца, заканчивающего курс по специальности «семиотика», то именно Эд, и никто другой, подогнал церемонию под нужный оттенок благовоспитанного безверия брачующихся и вместо того, чтобы испросить благословения Небес, чуть поджав губы под мягкими, точно замша, усиками, молча возвел очи... Для тех же, кому малейший намек на мировую гармонию и вечную любовь казался проявлением варварского теизма, у Эда был наготове набор пустопорожних фраз, которые он произносил нараспев, как заклинания, да еще подпуская в голос южной гнусавости, так что совесть парочки молодых агностиков ни на волос не была потревожена, а полуглухая приемная бабка невесты — несгибаемая приверженка епископальной церкви — покинула церемонию вполне умиротворенная. Это побочное занятие не принесло Эду богатства, зато шампанского было выпито и ванильного торта съедено неимоверное количество. Местные рестораторы хорошо его знали и частенько подвозили на своих фургонах до дома. Он являлся к заброшенному семейству, прихватив угощение — остатки цыплячьей печенки, утыканной разноцветными зубочистками и завернутой в ломтики ветчины.

Дейл выглядел плохо, восковая бледность лица приобрела болезненный оттенок. Он, вероятно, потел в своем клетчатом спортивном пиджаке, надетом прямо на рабочую куртку. Пиджак и куртка никак не гармонировали друг с другом. Перед приходом сюда, как он сказал мне, всю ночь провел за компьютером, добывая дополнительные данные.

Мне разрешили присутствовать на собеседовании, поскольку я был первым, кому Дейл изложил свои идеи, но предупредили, что слова мне не дадут. Я сидел немного в стороне от стола, вполоборота к четырем членам комиссии, в старомодном кресле без левого подлокотника, а по правому прошла трещина, похожая на какую-то растопыренную клешню. Лица их были в тени, но макушки освещались лучами скупого февральского солнца. Плохо подстриженные, неровные виски отняли у квадратной Клоссоновой лысины всю внушительность.

Мне были видны только клетчатые плечи Дейла, но, когда он начинал крутиться под градом инквизиторских вопросов, в поле моего зрения попадали профиль дергавшегося прыщавого подбородка и нервные взмахи длинных ресниц. Над этой картинкой в окнах-экранах мелькали ноги, ноги, ноги.

Дейл очень подробно доказывал комиссии то, что доказывал мне, — полнейшую невероятность крайне неустойчивого самодовлеющего равновесия множества первичных и противоположно направленных сил в момент Большого взрыва, такого равновесия, которое одно могло дать толчок к возникновению Вселенной, способной породить жизнь, а на нашей планете — приматов, сознание, абстрактное мышление и мораль.

За окнами светлыми вспышками мелькали ноги, а в комнате стояло непроницаемое молчание. Но когда Дейл, заговорив о связи сильного взаимодействия с выделением тяжелого водорода, а затем и с термоядерной реакцией, начал путаться и сбиваться, Джереми Вандерльютен пришел ему на помощь. Он кашлянул и со свойственными ему изысканностью и красноречием заметил:

— Все это представляет несомненный интерес, мистер Колер, но, насколько мне известно — поправьте, если я ошибаюсь, — данным, которые вы приводите, уже несколько лет. Космологические представления со временем меняются, и нынешние взгляды на Вселенную и ее происхождение не являются истиной в последней инстанции. Меня лично, если позволите, поражает тот факт, что наш интерес к этике и религии не убывает, каковы бы ни были господствующие космологические взгляды, напротив. Вспомним восемнадцатое столетие... Тогдашние ученые были абсолютно убеждены, что механический материализм дает ответы на все вопросы и Ньютоновы законы механики незыблемы. Но посмотрите, что происходит в ту пору в рамках иудейско-христианской версии. Возникает пиетизм, в той же Англии проходят массовые молитвенные собрания методистов-уэслианцев, миссионеры проникают в самые отдаленные уголки земного шара. И посмотрите на современную молодежь, когда без умолку толкуют о смерти Бога, — это самое религиозное поколение за все столетие. И верует оно не по принуждению, а по велению сердца. — Джереми дотронулся до своего репсового галстука, каменное лицо, изрезанное глубокими складками, казалось, вот-вот засветится улыбкой. — Только влиянием звезд это не объяснишь. Тут действуют звезды плюс... плюс этика. Помните, что говорил Кант по этому поводу?

Дейл покачал головой, которую не потрудился причесать как следует. К тому же он был плохо подстрижен сзади. Дело рук Эстер, затеявшей эротическую игру в духе Далилы, или Верны?

— «Der bestirnte Himmel uber mir und das moralische Gesetz in mir», — зазвеневшим голосом процитировал Джереми и, постукивая длинным пальцем по галстуку, любезно перевел: — «Звездное небо надо мной, и моральный закон во мне». Как видите, они вместе, звезды и закон.

— Ну да, конечно, — согласился бедняга Дейл. От бессонной ночи у него сдавали нервы, и он чувствовал, что разговор соскальзывает в незнакомую ему плоскость. — Я только хочу сказать, что люди должны знать: Вселенная полна неожиданностей и загадок. Иначе говоря, есть простор и воле верить, и велениям совести — вы меня понимаете?

— Понимаем, мистер Колер, понимаем, — колко откликнулась Ребекка Абрамс. — Для того мы и собрались, чтобы понять, что вы имеете сказать.

Волнуясь и жестикулируя, Дейл поведал комиссии о неизбежных, если присмотреться поближе, несуразностях эволюционной теории — от ничтожно малой вероятности того, что исходная самовоспроизводящая единица превратилась в так называемый первоначальный бульон, до абсурдных гипотез относительно качественных скачков в развитии живых организмов, которые якобы могли произойти в результате постепенного накопления мелких мутаций. Разве таким путем мог появиться человеческий глаз или китовый хвост? Дейл не стал распространяться о шее жирафа и устричной раковине, о которых говорил мне.

Ребекка глубоко вздохнула, раздувая свои скульптурные ноздри. Нос у нее был прямой, а не крючковатый, как вообще у семитов, и очень длинный, что придавало ей, когда она снимала очки, вызывающий вид.

— Но послушайте, Дейл, — сказала она, отбросив формальное обращение, — вы считаете креационистскую доктрину более приемлемой? — Задавая вопрос, она подалась вперед, а потом откинулась на спинку кресла так быстро, что мне почудилось, будто торчащий нос оставил белесый след в полусвете комнаты. — Как вы себе это представляете — акт творения? Видите, как откуда-то сверху спускается рука Господа Бога и начинает месить глину? Вам, конечно, известно, что «Адам» означает «глина», «красная земля». Я сказала «креационистская доктрина», хотя никакой доктрины, собственно, нет. Креационисты даже не пытаются объяснить, как материя обретала форму, почему исчезли многие виды животных и почему эволюция потребовала так много времени. Все, чем они располагают, — это первая глава книги «Бытия», стих двадцатый и далее. Но даже там говорится, что Бог сказал: «Да соберется вода... и да явится суша» и так далее. — «Vayyomer elohim tose ba 'ares nefesh hagyah leminah». Все в сослагательном наклонении. Другими словами: пусть случится то-то и то-то. Как будто Он не может поступить иначе и дает разрешение, в противном случае... — Она высокомерно фыркнула. — Толкуя библейский текст буквально, вы ставите себя в сложное и смешное положение. Это равносильно утверждению, что горные породы начали образовываться только в четыре тысячи четвертом году до нашей эры. Иначе говоря, они «моложе» остистой сосны, чей возраст можно сосчитать по годичным кольцам... Не уподобляйтесь некоторым моим студентам-креационистам. — Ища сочувствия, она обвела взглядом своих коллег, которые знали, какие испытания выпадают на ее долю. — Бедняги, их можно даже пожалеть, хотя они такие несносные... — И снова вопрос, как вызов, Дейлу: — Так с чем же вы к нам пришли?

Ребекка была готова пожалеть своих учеников, а я уже жалел Дейла. Я смотрел на его заостренный затылок. Волосы у него встали дыбом, как если бы он только что снял шерстяную шапочку, отдавшую голове свой заряд статического электричества.

— Я не отрицаю роль науки, мэм... — начал он и запнулся, не зная, подходит ли это обращение профессору, но не находя другого. — Не отрицаю научных данных, каковы бы они ни были. Я уважаю науку, у меня и мысли не было вторгаться в... — он сделал неопределенный, неуверенный жест, который мог включать комнату, небо за окнами, нас пятерых, — в дела веры. Я читал Библию в воскресной школе, но с тех пор редко в нее заглядываю, честно признаюсь. В те времена Бог из Библии соответствовал уровню техники и общественного сознания. По теперешним же представлениям он довольно жесток — все эти жертвоприношения, агрессивность, ярость, обрушивающаяся на врагов. Не буду развивать эту мысль, чтоб не впасть в богохульство... Нет, я не вижу руки Господней, которая месит глину, но иногда мне кажется, что до меня кто-то дотрагивается, мнет меня и лепит... Если вы назовете это ощущение галлюцинацией, истерией или еще как-нибудь, я не стану спорить. Названия, которые мы даем вещам, сплошь и рядом говорят о нашем отношении к этой вещи, но не о ней самой. Кто-то скажет «видение», кто-то — «галлюцинация», и эти слова выражают разные мнения о чем-то, что существует или не существует...

Клоссон чувствовал, что парень путается, и решил помочь ему.

— Как указывали Беркли, Гуссерль, пусть по-своему — Витгенштейн и многие другие, коренной вопрос о том, существует или не существует что-либо, и если существует, то какова его природа, — этот вопрос отнюдь не решен окончательно. Ответ на него во многом зависит от того, как мы определим действительность... — Старый квакер помолчал, потом добавил: — Esse est percipi, помните? Быть — значит быть в восприятии. — Он откинул голову, спрятав морщинистые, как у пресмыкающихся, веки за толстыми стеклами очков. Скривившиеся в улыбке губы обнажили коричневые десны.

— Но я даже не об этом, — возразил Дейл, вертясь на стуле. Он горячился, несмотря на усталость, несмотря на страшную слабость тела и ума, охватившую его после любовных утех с Эстер, после того как она высосала все его силы. — Я хочу, чтобы религия больше не пряталась, чтобы она вышла из убежища, которое она нашла в человеке, в так называемой субъективной реальности, можно сказать — в несбыточных мечтах и грезах. Вы спрашиваете, с чем же я к вам пришел. Языком науки, и в первую очередь математики, я попытаюсь заявить о том, о чем не осмеливается сказать сама наука. Ученые умывают руки, наука хочет остаться чистой наукой. А между тем имеется множество поразительных числовых совпадений... — И Дейл принялся рассказывать о десяти в сороковой степени, о том, как это число неожиданно встречается в самых разных контекстах — от количества заряженных частиц в тех пространствах Вселенной, которые мы можем наблюдать, до отношения электрической силы к силе земного притяжения, не говоря уже об отношении возраста Вселенной ко времени, которое требуется для прохождения света сквозь протон. Он остановился на примечательном факте: разница между массами нейтрона и протона почти равна массе электрона. Другое замечательное, на его взгляд, уравнение показывало, что температура рождения материи при излучении равна температуре, при которой энергетическая плотность фотонов равняется плотности материи, главным образом протонов. Что касается углерода, играющего важнейшую роль в возникновении всех форм жизни, то он синтезируется в звездах посредством ядерных колебаний, в результате чего...

Эд Сни, чьи церемонии отличались похвальной краткостью, попытался было прервать его:

— Э-э, мистер Ко-ола, интересно бы знать...

Но тут вмешался Джереми Вандерльютен:

— Я уже говорил, все это выглядит повторением прошлого, известного как синтез, так сказать — с бору да с сосенки. Мы можем оказать финансовую поддержку только оригинальному проекту. В чем состоит ваша собственная идея?

Из внутреннего кармана пиджака Дейл достал сложенные гармошкой листы компьютерных распечаток с перфорацией по краям. Бумага была усеяна колонками цифр, которые местами сливались в серые пятна.

— Я сейчас как пьяный и объясню почему, — заявил он комиссии с такой загадочной и подкупающей откровенностью, что Ребекка встрепенулась и подняла длинный нос, а Джереми опустил строгие глаза. — Я всю ночь провел за компьютером, строя наугад самые различные сочетания некоторых фундаментальных постоянных. Мне хотелось наткнуться на что-нибудь любопытное, чтобы показать вам.

— И что бы это могло быть, ваше «что-нибудь»? — поинтересовался Клоссон, оттопырив нижнюю губу, будто ему не терпелось сунуть за щеку очередную порцию табака.

— Что-нибудь неожиданное и неслучайное.

Подбородок Дейла вздернулся, голос окреп. Он смело смотрел в глаза оппонентам. Мне подумалось, что человек любит, когда ему брошен вызов. Прилив адреналина смывает ворох проблем и делает нашу жизнь такой, как нам хочется. Лучше кровь, чем крест надгробный. Предчувствие боя устраняет сомнения.

Дейл раскрыл распечатку, гармошка растянулась у него между колен почти до пола. Он сказал:

— Сопоставим, например, скорость света и гравитационную постоянную Ньютона по международной системе единиц. Первая величина — весьма значительна, вторая — ничтожно мала. Так вот, если величину гравитационной постоянной разделить на скорость света, то, откинув нули, получаем удивительно простое число два. Точнее — одну целую девятьсот девяносто девять тысячных и еще четыре знака. Удивительное совпадение, правда?

Никто из членов комиссии не проронил ни слова.

— Другой неожиданный результат получается при делении постоянной Хаббла, то есть скорости разбегания галактик и расширения Вселенной, на заряд протона, который, как вы понимаете, находится на противоположном краю спектра астрофизических постоянных. Результат этот — двенадцать с половиной без остатка. Сижу, размышляю над этим фактом и вдруг около двух часов ночи замечаю, что принтер начинает выдавать одно и то же число. Двадцать четыре, снова двадцать четыре, потом опять двадцать четыре... Я услышал: «тонкие структуры», «постоянная радиация», «минус двадцать четвертая степень», «закон Хаббла», «время Планка», «радиус Бора»... Так вот, я стал обводить это число на распечатке кружочками. Вот посмотрите... — Длинная лента была как рулон обоев, разрисованных красными кольцами. — ...они располагаются в определенном порядке — видите?

— Не убежден, что я вижу, — пробурчал Джесс Клоссон, глядя поверх очков.

Дейл поднял распечатку повыше. Руки его тряслись. Он держал ими всю Вселенную.

— Порядок или беспорядок еще ни о чем не говорит... — начал Джереми Вандерльютен.

— Дружище! — выкликнул Эд Сни, словно призывая к порядку разгулявшуюся на пикнике компанию. — Разве они что-нибудь обозначают, эти связи между числами? Не складываете ли вы, как говорится, яблоки с апельсинами, а потом делите на грейпфруты?

— Это не просто числа, — возразил Дейл, — это основные физические константы. На них стоит тварный мир.

— А мне это понравилось, — заявила Ребекка.

Я понял, что она стала первым союзником Дейла. Он тоже это понял, повернулся к ней и заговорил словно бы для нее одной. В его голосе зазвучали почти сыновья серьезность и страстное желание быть понятым.

— Эти величины являются словами, которыми говорит с нами Господь. Он мог выбрать другие величины, мэм, но Он выбрал эти. Может быть, наша система мер несовершенна, может быть, мои расчеты не самые удачные... Я очень устал ночью и перенервничал из-за сегодняшнего заседания... Может быть, есть неизвестное нам дифференциальное уравнение, которое более четко и определенно выражает то, что я хочу сформулировать. Как бы то ни было, в этих соотношениях заключен большой смысл. Вам не понравилось, что при делении гравитационной постоянной на скорость света получается два?

— Мне-то понравилось, — повторила Ребекка, сделав ударение на первых словах, — однако...

— Каббала чистой воды, — проворчал Джереми Вандерльютен. — Если подольше поиграть числами, они что угодно покажут... Будьте добры, удовлетворите мое праздное любопытство — нет ли на вашей бумаге трех шестерок?

Дейл медленно обвел глазами распечатку и объявил:

— Да, сэр, конечно, есть. И не три, а десять шестерок подряд. Радиус Бора, поделенный на радиус Хаббла.

— Видите, — сказал наш чернокожий коллега, — вот мы и дошли до числа зверя. По поверью это значит, что близок конец света.

— Или что двойку разделили на три, — добавил Клоссон, сдабривая свою вежливость перчиком нетерпения. — Ваши расчеты, молодой человек, отдают, на мой взгляд, отчаянием. Как выразился бы Хайдеггер, ваша Verstehen подавлена вашим Befindlichkeit — рассудительность подавлена находчивостью.

Члены комиссии прыснули со смеху.

— Вы правы, временами я впадаю в отчаяние, — с достоинством признался Дейл. — Но меня согревает одна мысль: почему Бог должен помогать мне, если он отказывал в помощи всем другим до меня? Прошлой ночью настал момент, когда я почувствовал, что больше не могу, — одолевает усталость, раздражение, не знаю что еще. И тогда я начал нажимать клавиши наугад, и вдруг посреди хаотического нагромождения картинок на экране появилось удивительно красивое число — один, запятая, ноль, ноль, ноль, ноль, может быть, десять нолей, а потом снова единица. Одна целая одна десятимиллиардная. Никакие расчеты не дадут такого результата. Цифры возникали и проплывали по экрану, я попытался остановить, вернуть их назад, но изображение исчезло.

Все молчали. Я подумал, что Дейл ни разу не взглянул в мою сторону. Очевидно, вчерашнее свидание с Эстер в нашей мансарде было на редкость сладким, потому что, вернувшись домой без четверти шесть, я застал ее томной и одновременно насмешливой. Она, Дейл и Ричи склонились над обеденным столом, освещенным лампой от Тиффани, напоминая гравюру меццо-тинто на библейский сюжет. Их головы образовывали треугольник, голова Эстер благодаря пышной прическе возвышалась над другими. Они решали примеры на шестнадцатеричную систему счисления.

— И два Д — сколько это будет, Ричи? — спросил Дейл.

Подросток не отвечал. Молчание затягивалось. В кухне жужжал холодильник: советовался сам с собой, как приготовить побольше льда.

— Сорок пять, — протянула наконец Эстер. — Ясно как божий день.

— Твоя мама права, — подтвердил репетитор, испытывая неловкость от того, что у нее такой несообразительный сын. — Видишь, двойка слева — это два раза по шестнадцати, то есть тридцать два, а Д равно... — ты, конечно, помнишь, что двузначные числа меньше шестнадцати мы обозначаем какой-нибудь буквой — ...тринадцати, — подсказал он, выждав несколько секунд. — Тридцать два плюс тринадцать получается?..

— Сорок пять, — слабым голосом произнес Ричи.

— Верно! Вот видишь, ты уже усваиваешь.

— Давно пора, — сказала Эстер томно и насмешливо. Даже под свежим слоем помады ее губы выглядели помятыми, и мне показалось, что зеленые глаза светятся всей глубиной естества, в которую она погрузилась несколько часов назад. В ту ночь в нашей супружеской постели она попыталась по инерции сладострастия продемонстрировать свои непристойные штучки на мне, но я шлепнул ее по голому плечу ладонью и повернулся спиной, дабы сберечь то, что прежде в Огайо в шутку называли семейными драгоценностями.

А Эд Сни тем временем, деликатно скрывая свое неудовольствие, задавал Дейлу решающий вопрос:

— Есть у вас иные соображения относительно использования компьютера в вашем поиске... — Он с трудом заставил себя раскрыть рот под крошечными, словно бы лишенными грандиозности мифа усиками, чтобы произнести древнее односложное слово, и вместо него сказал: — ...Абсолюта?

— Или это все, что есть в вашей мошне? — хрюкнул Клоссон, по квакерской наивности не подозревающий о двойном смысле этого выражения.

Но Ребекка знала и подалась вперед, чтобы загладить промах коллеги и подбодрить молодого человека.

— Дейл, как вам видится конечный результат ваших исследований? Письменный отчет или что-нибудь более существенное и вдохновляющее? — Она выпрямилась, сняла со своего длинного носа очки, и это изменило ее внешность. Перед нами была женщина — Ева, Hawwah, «жизнь». Я почувствовал, как всем сердцем потянулся к ней Дейл, к теплому уголку в холодной мрачной темнице судилища. Она улыбнулась и продолжала: — Я хочу спросить вот что: как мы смогли бы использовать ваши теории, чтобы обосновать выделение гранта?

Джереми, недовольный недостаточным вниманием присутствующих к das moralische Gesetz, спросил:

— И вообще, что вы пытаетесь доказать, тасуя и перетасовывая числа?

— Сэр, я хочу попытаться дать Всевышнему возможность заговорить. — Крепнущим голосом Дейл поведал комиссии, поведал полнее, нежели мне, свое желание смоделировать реальность на принципах компьютерной графики. Если фигуры заложены в машинную память как элементарные твердые тела, говорил он, то от них можно откусывать по кусочку и при соответствующих командах делать любые разрезы и под любым углом. При промышленном проектировании на компьютере, например при конструировании лекал и штампов, одинаково важны фигуры и правильной, и неправильной формы. Твердые тела можно сделать и курсором, если перемещать его в определенных направлениях. Выстраивая системы твердых тел и заставляя эти системы взаимодействовать, есть вероятность, по мнению Дейла, воссоздания действительного мира, не столько его содержания, сколько сложности, причем воссоздания на таком уровне, где находятся графические или алгоритмические ключи к неким первоосновам — если, разумеется, таковые существуют. Этот процесс, продолжал он, немного напоминает обычную операцию в компьютерной графике, когда вызывается первое «проволочно-каркасное» изображение твердого тела, — делается это векторами, а затем по простой формуле, прилагаемой к координатной оси, устраняются скрытые от простого глаза ребра непрозрачного предмета. С богословской точки зрения мы начинаем двигаться как бы в пустоте. Его, Дейла, замысел в том и состоит, чтобы с неоценимой помощью высокой комиссии попытаться, фигурально выражаясь, разогнать тьму, восстановить эти «ребра», вернуть творению ту первоначальную прозрачность, которая со времен грехопадения была доступна только мистикам, безумцам и, может быть, детям. Если комиссия предпочитает аналогию из области физики элементарных частиц, его попытка заключается в том, чтобы макрокосм, переложенный на компьютерную графику, вовлечь в процесс, подобный расщеплению атомного ядра.

Чем дальше, тем менее уверенным становился доклад соискателя. Временами Дейл замолкал; создавалось впечатление, что он столько раз предварительно повторял тот или иной довод, что, когда наступал момент привести очередное доказательство, у него не хватало на это сил. Казалось, он готов махнуть на все рукой.

Джереми почуял кровь и заговорил своим скрипучим ворчливым голосом:

— Большинство философов, начиная с Канта и Кьеркегора и вплоть до Уильяма Джеймса и Хайдеггера, полагали, что религия — часть субъективного мира. Субъективность — естественная среда ее обитания. Если же оперировать псевдонаучными категориями, то попадаешь прямехонько в болото колдовства и фундаментализма самого низкого разбора. И тогда — прощайте, моральные императивы, привет, шаманство.

— А тебе не кажется, Джерри, что ты несколько искажаешь Писание? — возразила Ребекка. — Бог Авраама и Моисея был не только субъективным феноменом. Древние евреи воспринимали его всем своим существом. Он вписывался в их историю. Они спорили с ним, даже боролись. Они были связаны с ним Заветом. Неужели ты присоединяешься к тем, кто говорит Богу: нечего ломиться в историю, тебе нечего делать в объективном мире!

— Каждый божий день мы призываем Его в молитвах наших, — прочищая изъеденное никотином горло, изрек Клоссон. — Но самое поганое, что после стольких столетий поклонения никто не знает, пришел Он или нет.

— А меня вот что беспокоит, — церемонно гнусавил преподобный Эд Сни. — Допустим, у компьютеров, о которых доложил нам мистер Колер, действительно появляется некое подобие разума, то есть возникает своеобычный субъективный мир, и если один из них засвидетельствует объективное существование Абсолюта — насколько весомо будет это свидетельство? Будет ли оно достовернее свидетельства какого-нибудь мужлана из теннессийской глуши?

— Или свидетельства ацтекской девственницы, которая так верила в Кецалькоатля, что дала жрецу вырвать у нее сердце? — В крокодильих глазах Клоссона заиграл озорной огонек, пропахший табаком рот приоткрылся в молчаливом смешке. Я подумал, что религия всегда его забавляла.

— Будь моя воля, — заявил Эд, — дал бы я этим компьютерщикам побольше веревок — пускай повесятся.

— На мой взгляд, — прогудел Джереми, — это будет неоправданное разбазаривание средств. В то время, когда не хватает денег на изучение афро-американцев и женского движения...

— Многим женщинам, с которыми я общаюсь, — прервала коллегу Ребекка, — надоело, что их изучают. Разве быть женщиной — это все, что мы умеем? Неужели нам нечего сказать, кроме того, что современный патриархат навязывает нам дезодоранты? Мои юные боевые подруги, борющиеся за свои права, — иногда у них такой вид, словно они сроду не мыли голову и не чистили ногти, как будто душ и ванну изобрели мужчины... — Она знала, что надо остановиться, но продолжала с неотразимой улыбкой: — По-моему, просто замечательно, что этот молодой человек с естественнонаучного и технического крыла университета хочет помочь нам.

Клоссон еще раз откашлялся и повернул голову-ящик ко мне.

— Роджер, может быть, у тебя есть соображения, которыми ты хотел бы поделиться с нами, прежде чем мы отпустим мистера Колера? — Одна из жалких прядок, уложенных у него поперек плеши, упала ему на висок и покачивалась, как антенна.

Я вздрогнул — настолько неожиданным было приглашение покинуть мое теневое существование.

— Ты ведь знаешь меня, Джесс, — отозвался я с фальшивой живостью, зазвеневшей в моих собственных ушах, — я — последовательный приверженец Барта. А Барт, полагаю, счел бы проект Дейла пустым и оскорбительным для верующих образцом натуральной теологии. Я согласен с Джерри: апологеты не должны покидать безопасную почву и устремляться туда, где из религии постоянно делают посмешище. Как и Ребекка, я считаю, что Бога нельзя сводить к явлению человеческой субъективности, но его объективность — совершенно иного рода, нежели физико-математические категории. Даже если бы дело обстояло иначе, возникают дополнительные проблемы доказуемости. Бог, который позволяет доказывать собственное существование, а точнее, Бог, который не может существовать без таких доказательств, — не будет ли он покорным, пассивным существом, целиком обязанным человеческой фантазии, то есть Богом беспомощным, ничтожным, условным? Что касается фактов, которые нам сулят продемонстрировать, здесь тоже большая проблема. Мы, педагоги, знаем истинную цену фактам, знаем, что с ними бывает: их игнорируют, забывают. Факты — скучная вещь. Они инертны и безлики. Бог, являющийся простым фактом, встает в ряд со множеством других фактов, которые человек волен принимать либо отвергать. На самом же деле мы постоянно движемся к Богу, который скрыт от нас. Deus absconditus, Бог-тайна. Бог с нами благодаря своему кажущемуся отсутствию. Очень жаль, но проект, который нам предлагают профинансировать, представляется мне недостойным космологическим соглядатайством, не имеющим почти ничего общего с религией, как я ее понимаю. Как говорит сам Барт — увы, я не готов сейчас отослать вас к соответствующей странице, — «Какой же это Бог, если его существование нужно доказывать?»

После этого Иудина поцелуя Дейл впервые взглянул на меня. Мне показалось, что прыщей у него поубавилось, конечно же, благодаря стараниям Эстер. Голубые глаза остекленели, затуманились. Он не понимал, какую я ему оказал услугу.

Джесс — последовательный экуменист, питающий слабость к Тиллиху, Эд — профессиональный бультманист, Ребекка чувствует антисемитский душок, присутствующий в его проеврейских высказываниях[[8]](#footnote-8), а Джереми — социальный активист и моралист. Ссылками на Барта, насмешливого оппонента религиозных гуманистов и всяческих примирителей, сглаживающих острые углы, давнего противника Тиллиха и Бультмана, я настроил комиссию против себя, то есть в пользу Дейла.

Клоссон помычал и попытался подытожить:

— Тот, кто дал толчок всему сущему, должен быть существом высшего порядка. Он не может быть еще одним существом... Гм-м... Но вот тут-то и возникает уйма вопросов... Является ли существование, бытие, esse, Sein простым, выражаясь языком мистера Колера, бинарным состоянием, или же оно имеет степени, переходы... Все это очень и очень интересно, из-за вас, молодой человек, нам придется поломать голову, что в академических кругах не принято, хе-хе... Вы узнаете о результатах недельки через две.

Десятью днями позже я сообщил Эстер, что комиссия проголосовала за выделение Дейлу гранта в размере двух с половиной тысяч долларов при условии, что к первому июля он представит сорокастраничный отчет о конкретных и оригинальных результатах проделанной работы. Выполнение этих условий даст ему преимущественное право в сентябре претендовать на продление гранта.

Эстер встретила новость мало сказать без энтузиазма.

— Плохо. Просто ужасно!

— Как так?

— Теперь он обязан будет что-то выдать, а то, что он пытается сделать, невозможно.

— Это ты так думаешь, как все маловеры.

— Он и без того утрачивает веру... Грант окончательно его доконает.

— Откуда тебе известно, что он утрачивает веру?

Вместо ответа Эстер, стукнув каблуками, повернулась и пошла по коридору, давая мне возможность лицезреть ее сзади, когда даже самая незаметная женщина выглядит величественной, словно часть Матери-земли. На ней были удобные широкие штаны для домашней работы. Сейчас она подрезала деревья в ожидании, когда из-под снега проступит мульча и на проталине поближе к сараю Элликоттов покажутся первые подснежники.

— А мы все — разве не маловеры? — отозвалась она, прежде чем скрыться в кухне. Я всегда считал Эстер неверующей, и атеизм был частью ее очарования и свободы, которой она ни с кем не делилась.

Я просил Эстер отвести Верну в абортарий. Она отказалась, сказав, что девчонка — моя племянница, а не ее, и что та почему-то невзлюбила ее и грубит, когда приходит в садик. Верна между тем приводила туда Полу все реже и реже, а когда приводила, бедный ребенок был грязный, от него плохо пахло. Наши дела на этом фронте никуда, заключила Эстер, как будто фронтов насчитывалось несколько, а мы с ней сидели в штабе и отдавали команды.

Верна, со своей стороны, определенно заявила, что одна туда она не пойдет. Я, мол, это придумал, мне и расхлебывать. Ладно, сказал я, отведу тебя. Придется, подумал я, а то она отвертится. Я был исполнен решимости довести дело до конца.

В назначенный день сиделка, по своему обыкновению, напилась, и нам пришлось взять маленькую Полу с собой.

Мы отправились в ту пору дня, когда всего несколько суток назад было темным-темно, хоть глаз выколи, а сейчас улица поражала ярким светом. Он лился на серые кварталы трехэтажек, на забранные решетками витрины лавок, на голые деревья, на погнутые щиты с надписью: «Стоянка запрещена». И посреди бела дня я вез в своей солидной, без единой царапины и вмятины, слишком броской «ауди» девятнадцатилетнюю женщину и полуторагодовалую девочку мимо отрыжек Детройта — автомобилей, стоявших вдоль улиц, как застывшая лава. Мне было не по себе. Не мое это дело, однако я за него взялся. Я обрекал на смерть неродившегося ребенка, чтобы спасти рожденного. Нет — чтобы спасти двух детей.

Клиника помещалась в невысоком, неновом здании белого кирпича, достаточно белого, чтобы видеть темные швы известкового раствора. Располагалась она за новостройкой, в нескольких кварталах, в той части города, куда я никогда не заглядывал.

Мне было неловко сопровождать в регистратуру ребенка-полукровку и болезненно-бледную полноватую девицу-тинейджера со слабым ртом. Для этого случая Верна выбрала из своего гардероба самые дешевые, плохонькие вещи. В широкой водолазке грязно-канареечного цвета, в оранжевом кожаном жилетике, выглядывающем из-под старенького пледа, она была похожа на бродяжку. Волосы она уложила в химические завитки — влажные змейки, словно только что из ванной, такие все чаще видишь даже у секретарш на кафедрах факультета богословия.

Жужжащие лампы дневного света едва разгоняли сумрак. За стойками в приемном отделении копошились регистраторши и сестры. Одна из них пронзила меня неодобрительным взглядом. Чтобы заполнить бумаги, Верна передала мне Полу. Та была тяжелее, чем в прошлый раз, когда я брал ее на руки, — не только из-за верхней зимней одежды, прибавила в весе и сама девочка, младенческая рыхлость сменялась детской упругостью. Еще крошечная, но уже полная жизни, самоценная личность, требующая к себе внимания от мира, к тому же личность длинноногая. И выражение лица у нее было теперь более значительное, задумчивое. Пола вертелась у меня в руках, пока не решив, хочет она вырваться или нет. Она смотрела мне прямо в глаза, смотрела серьезно, оценивающе, потом напевно произнесла:

— Пола не падать. — Глаза у нее, которые казались мне синими-синими, сделались карими, но потемнее, чем у Верны.

— Пола не упадет, — подтвердил я. — Дядя крепко держит.

От согревшегося в моих руках ребенка шел какой-то запашок. Я вспомнил, как Эстер сказала, что Пола «плохо пахнет», но это были не испражнения и не моча. Это был привычный и уютный затхлый запах моего давнего детства, которым отдавали заколдованные места за платяными шкафами и пузатыми буфетами с полками, застланными клеенкой. Я вспомнил бабку этого ребенка, вспомнил, как мы забирались на чердак, как плясали пылинки в косом луче солнца, как Эдна расстегивала лифчик под свитером, как мы все мысленно прижимались друг к другу и обнимались, как вода обнимает тело пловца.

— Дядечка, не возражаешь, если ближайшим родственником я запишу тебя? — громко спросила Верна своим скрипучим голосом. Несколько посетителей обернулись посмотреть на меня. Вдоль стены регистратуры были расставлены пластмассовые стулья с ковшеобразными сиденьями. Стулья были разноцветные, как в младших классах школы. Стены выкрашены в неопределенный цвет. Жалюзи загораживали вид на улицу, а уличный шум растворялся в тишине помещения. Треть стульев была занята молодыми женщинами, в основном негритянками, и несколькими угрюмыми сопровождающими. Одна юная особа, не желающая стать матерью, с каменным лицом виртуозно и методично выдувала розовые пузыри из жевательной резинки — надует, втянет, надует, втянет. У другой в ухо был вставлен проводок от кассетника, и, закрыв глаза, она блаженно внимала грохоту, наполняющему ей голову. Чернокожий паренек чуть постарше того мальчишки, который вызывался сторожить мою машину, что-то нашептывал своей подружке, видно, предлагал затянуться его сигаретой. Щеки у нее были залиты слезами, но в остальном она выглядела совершенно безразличной — африканская маска с толстыми губами и величественным подбородком.

— Но я же не ближайший, — возразил я шепотом, подойдя поближе.

— Дядя плохой, — проговорила Пола. Своими влажными резиновыми пальчиками она теребила мне рот, тянула за нижнюю губу. Крохотные ноготки царапались.

— Не желаю я писать мамку и папку, — опять громко, не обращая внимания на окружающих, сказала Верна. — Они послали меня куда подальше, и я кладу на них.

Лопнул еще один пузырь. На улице тигром рыкнул автомобиль с испорченным глушителем. Сестра в синем джемпере поверх белой униформы повела Верну в соседний, освещенный как положено кабинет. Сквозь приоткрытую дверь мы с Полой видели, как она садится на стул, закатывает рукав и у нее меряют давление. Изо рта Верны, покачиваясь, торчал термометр. Пола задергалась, испугавшись, что маме сделают бобо, и я вынес ее на улицу.

На город уже спустился вечер. Из отдаленного центра, где небо окрасил красноватый купол и на верхушках небоскребов мерцали сигнальные огни для самолетов, морским прибоем доносился приглушенный шум, казалось, что сдерживаемая волна автомобильного движения приобретает вечный вселенский смысл. Район, где находился абортарий, был почти на самой окраине. Напротив, на углу виднелась зеленнáя лавка. По тротуару взад-вперед сновали безликие прохожие, иногда обмениваясь на ходу отрывистыми приветствиями. Пола все так же вертелась у меня в руках: она тревожилась за маму, захотела есть и как будто сделалась тяжелее и все так же дергала меня за губу. Сквозь дубленку я чувствовал, что она вдобавок еще и лягается. Я не рискнул нести ее назад в клинику. Мы влезли в «ауди», и я попытался поймать по радио какую-нибудь веселую песенку. Я не мог отыскать Синди Лопер в мешанине новых звезд и новых, с позволения сказать, мелодий, хотя прокрутил круговую шкалу на все триста шестьдесят градусов.

— Музыка, — проговорила Пола.

— Ничего, — согласился я.

— Ужасная, — сказала она.

— Пожалуй.

Я продолжал шарить по шкале приемника, однако теперь, когда вечер вступал в свои права, все чаще попадались новости и беседы со слушателями. Добрая половина из тех, кто звонил в студии, была пьяна, а удача — попасть в прямой эфир — прибавляла им говорливости. Меня всегда поражала отрепетированная наглая вежливость, с какой дикторы обрывали слушателей: «Хорошо, хорошо, Джо, мы все разделяем ваше мнение... Простите, Кэтлин, но вам следует хорошенько подумать... Берегите себя, Дейв, и тысяча раз спасибо за звонок». Пола задремала. Я положил ее на сиденье и почувствовал, что она обмочила мне колени. Выключил радио и вышел из машины.

На меня вдруг нахлынула какая-то душевная усталость. Я неожиданно осознал, что начиная с тридцатитрехлетнего возраста моя жизнь представляла собой непрерывное наблюдение за своим телом и заботу о нем — подобно тому, как теряющий рассудок инвалид живет на уколах и вливаниях в доме для престарелых, — что так было всегда, что вспышки тщеславия и желаний, освещавшие мне дорогу, когда я был помоложе, и придававшие моему существованию насыщенность романа или мечты, были суррогатами, иллюзиями, которыми манили меня вдаль плоть и дух. Есть особая прелесть в подобной усталости — это хорошо знали святые, — как будто, погружаясь в апатию и отчаяние, мы приближаемся к тому темному бездонному состоянию, которое побудило летающего в пустоте Бога осторожно изречь: «Да соберется вода в одно место... и да явится суша».

Я нажал на ручку дверцы и нагнулся послушать, не разбудил ли Полу уличный шум. Дыхание ее прервалось на пару секунд, но потом снова вошло в спокойный, ровный ритм. Начал сеять мелкий дождь, щекотавший лицо. Постепенно темнел асфальт. Приятно, когда до тебя дотрагиваются сверху, будь то дождь, снег или что-нибудь еще. Я подумал об Эстер: вот она хозяйничает в кухне, движения у нее замедленные из-за выпитого вина и задумчивости. Подумал о Ричи, который, не отрывая глаз от мерцающего экрана, механически кладет кусок в рот. Как хорошо хоть иногда вырваться из дому и побывать под моросящим дождичком здесь, в незнакомой части города, такой же незнакомой и наполненной обещаниями неведомого, как Тяньцзинь или Уагадугу. Может быть, пойти посмотреть, что там в клинике, оставив в окне машины щелочку для воздуха, как это делают, оставляя собаку? Кому вздумается ее похищать, Полу, сверток тряпья? В свете уличного фонаря лицо ее было бесцветно, как газетная фотография.

«Наша» сестра куда-то отлучилась, но регистраторша сказала, что моя племянница ждет своей очереди: в отделении сейчас работает только один доктор, поэтому прием идет медленно. Из трех негритянок, на которых я обратил внимание, осталась только «африканская маска». Сопровождавший ее парень сбежал, слезы у нее высохли. Держалась она с царственным безразличием, эта черная принцесса, представительница той расы, что от колыбели до гроба живет за счет государства, как аристократы в прежние времена. Я смотрел на нее и думал, сколько же времени ей понадобилось, чтобы заплести такое множество косичек да еще перевить их разноцветными бусинками и крошечными колечками поддельного золота.

Когда без десяти восемь из недр клиники показалась наконец Верна, на ее лице тоже ничего не отражалось. Она ступала медленно, осторожно, словно бы не чувствуя пола под ногами. В руках у нее были листки бумаги — большие, какие-то бланки, и маленькие, рецепты. Под мышкой она сжимала маленький сверток — что-то мягкое, обернутое в бумажную салфетку.

Когда Верна покончила с формальностями, я предложил ей руку, но она то ли не заметила услужливо подставленного локтя, то ли не захотела за него взяться. Под глазами у нее виднелись лиловатые припухлости, как будто у нее отекало лицо, и опухоль еще не спала.

— Что это, в свертке?

— Прокладка! — пояснила она, подражая образцовому ребенку, но добавив в свой восторг щепотку соли. — И еще бесплатно выдали хорошенький пояс!

Дождь сменился туманом, но мне все равно хотелось укрыть, защитить Верну, пока та мелкими шажками шла к машине. Напрасно, как бабочки возле неподвижной статуи, кружил я заботливо около ее негнущейся фигуры — она была целиком погружена в себя. Меня встревожила стоическая гордость, с какой она перенесла бесчестье, теперь вылившаяся в решимость мстить, мстить до конца. Верна терпеливо стояла у машины, пока я неловко нащупывал углубление с ручкой дверцы и вставлял ключ в скважину.

— Ну так что, дядечка, — сказала она мертвым трубным голосом, — с одним покончено, с другим едем?

# 

# Часть IV

## 

## 1

Под вечер первой апрельской пятницы с остывающим куском копченой говядины в пропитавшемся маслом кульке, с пакетом жирного молока и парой помятых овсяных булочек в пластиковом конверте Дейл направляется к возведенному в 1978 году зданию, где размещается постоянно пополняемое оборудование для компьютерных разработок. Бетонный куб с сотней окон на одной стороне, он маячил над обветшалыми и обреченными на снос жилыми домами, недвижимостью, принадлежащей университету и ожидающей своей горестной судьбы. Будничная жизнь выглядит малозначительной, жалкой в тени этого громадного сооружения, чьи многочисленные оконные рамы были вставлены в наклонные, точно плиты у пуленепробиваемого бункера, проемы. Небо сегодня бирюзовое, бегучие весенние облачка сменили плотную зимнюю пелену. Все вокруг, от зеленеющих веток до слякоти под ногами, вдруг потянулось вверх, словно стараясь стать чем-то другим, нежели сейчас. Неприятное ощущение в желудке у Дейла подкатывает к самому сердцу, терзаемому сомнениями и нехорошими предчувствиями. Он получил деньги на работу — откусил больше, чем способен проглотить.

Хотя нормальный рабочий день кончился и в огромном вестибюле, выложенном розовым мрамором, никого нет, кроме апатичного охранника, который бросает ленивый взгляд на пластиковый пропуск Дейла, на некоторых верхних этажах, что днем отданы прибыльным коммерческим проектам, начинается по-настоящему творческая работа.

На первом этаже Куба размещались бюро пропусков, справочная, кабинеты службы связи с общественностью, библиотека по вычислительной технике и главным языкам программирования (LISP, FORTRAN, PL/1, Paskal, Algol с его предшественником Plankalkül и последователем JOVIAL), а также небольшой интересный музей, где выставлены абаки, образцы узелкового письма и счета у древних инков, кипу, счетная линейка семнадцатого века, арифметическая машина Паскаля, сделанная из зубчатых и храповых колес, и ступенчатый механизм Лейбница, увеличенные чертежи эпохальной «Аналитической машины» Чарлза Беббиджа — гигантского арифмометра с программным управлением и запоминающими устройствами, репродукции избранных страниц из математических тетрадей графини Лавлейс и один из собственноручно вышитых ею льняных платков, несколько перфокарт Холлерита, которые использовались у нас при переписи населения 1890 года, основные узлы цифровой вычислительной машины на электромагнитных реле, построенной в Гарварде в 1944-м, арифметический процессор от ЭНИАКа, первого электронного компьютера, который был сконструирован в Филадельфии для расчета траекторий полета снарядов.

Второй и третий этажи облюбовала администрация Куба; рядом расположены несколько залов для заседаний. Есть и небольшая кухня, отделанная листами нержавеющей стали, для угощения важных гостей. К услугам сотрудников — гимнастический зал с двигающейся беговой дорожкой, бассейн со снаряжением для подводного плавания, комната для медитаций совсем без мебели (только маты), медпункт на три койки и помещение, где оставляют велосипеды и мопеды, чтобы их не украли на улице. В большинстве лифтов кнопки четвертого этажа залеплены клейкой лентой, но и те, что не залеплены, не срабатывают, если не вставить в специальную щель пластинку с цифровым кодом, который меняется каждую неделю. На четвертом этаже ведутся сверхсекретные работы, именно они приносят Кубу основные финансовые средства. Занятые там сотрудники скрывают, что работают на четвертом этаже, но их нетрудно узнать по строгим костюмам и галстукам, тогда как даже начальник исследовательского центра, американец итальянского происхождения по имени Бенедетто Феррари, обычно ходит в водолазке или шелковой рубашке с расстегнутым воротом, открывающим толстую золотую цепочку на шее или бусы из чешуек кедровой шишки. Бусы давно потеряли аромат, и носил он их, похоже, в память о старой любви. Блестящий в свое время математик, обладавший чисто итальянской способностью находить самые красивые решения сложнейших проблем, Феррари поражал попечителей неуемной энергией и умел уговаривать по телефону усталых чиновников в Вашингтоне, которые, подобно углекопам в старые времена, периодически должны были выдавать «на-гора» дневную норму неиссякаемого национального богатства.

На пятом этаже идет работа над любимым проектом Феррари — созданием кремниевых чипов для искусственного мозга, хотя какую пользу человечеству, уже обремененному множеством потенциально опасных мозгов, может принести промышленное производство еще одного, менее понятно, нежели ослепительная улыбка одобрения, которой босс неизменно одаривает сотрудников, посещая близкий его сердцу отдел. Вероятно, он испытывает такое же удовлетворение, какое испытывали Пигмалион, доктор Франкенштейн и все те, кто узурпировал божественную прерогативу, вдохнув жизнь в глину.

Шестой этаж — недра Куба, нескончаемые ряды машин: CPU-VAX785S. Символика 3600 LISP MU, компьютер собственного производства. Двадцать четыре часа в сутки они, урча, производят расчеты. Жужжащие вентиляторы предохраняют их от перегрева. Под сдвигающимися плитами пола проложены мили и мили проводов, по которым бегут миллионы байтов не только на установки «дисплей-процессор», расположенные на других этажах, но с помощью модемов и спутников в отдаленные терминалы, находящиеся в стратегически важных пунктах: Пало-Альто, Гавайи, Западный Берлин, Израиль... Дейл частенько заглядывает сюда, чтобы остудить разгоряченную идеями голову, побродить по вибрирующему полу между коробками с мотками проводов и катушками магнитной ленты, погрузиться в глухой угол, где происходит некая высшая душевная работа, напоминающая более привычный уху шум в машинном отделении парохода. То и дело этот гул прорезают недовольные, нетерпеливые человеческие восклицания — техники с перепачканными руками в очередной раз проклинают какое-нибудь неподдающееся соединение.

На седьмом и восьмом этажах вытянулись в ряд двери, за ними трудятся над темами, которые не являются фаворитами начальства. На девятом — установка для кондиционирования воздуха. Окна здесь ложные, ими архитекторы удовлетворили свою тягу к голой симметрии, к постмодернизму с его поддельными ценностями. Дейл выходит из лифта на седьмом этаже, проходит мимо буфета, он закрывается в пять вечера, но к нему примыкает помещение, уставленное старенькими автоматами, которые в самый глухой час суток проглотят монету и выдадут кофе, чай, куриный или говяжий бульон, шоколадки, банки с легкими напитками и даже треугольные сандвичи в полиэтиленовой упаковке. Труженики компьютерной революции, эти обшарпанные металлические ящики отличаются натужной надежностью, но иногда ни с того ни с сего что-то не срабатывает, словно в них пробуждается бунтарский дух, и тогда кофе из белого погнутого носика продолжает течь и течь, или появляется красная надпись: «Распродано», хотя в плексигласовом окошечке ясно виден желанный пакетик с фруктовым пирогом.

Вдобавок, на седьмом этаже — горы мусора: бумажные стаканчики, обертки, пакеты, ворохи рекламы. Одна стопка листовок частично наложена на другую, та — на третью и так далее, все вместе напоминает «окна» на мониторе, которые нельзя убрать нажатием клавиши — нужно ногтем отколоть кнопку, а потом усилием приколоть снова. На доске объявлений и на дверях у этих компьютерных колдунов в седьмом круге красуются картинки — зверьки из комиксов: чокнутый белый песик Снупи, толстый неуклюжий полосатый кот Гарфилд, Бутовы бультерьеры и веселые косматые человекообразные существа, которые живут у Корен. Похоже, что эти молодые умы заплатили за свою недетскую, не по летам развитую сообразительность ценой замедленного воспитания чувств. Лишь единицы из ровесников Дейла оставались на своих рабочих местах в столь неурочный час, многих просто позвали домой весна и праздничное настроение. Сквозь двойные двери можно разглядеть Оллетона Валлентайна, конструктора-роботостроителя из Австралии, — он зарылся в груду рахитичных суставов разобранной механической руки, а на экране компьютера терпеливо светился чертеж рычажных и шарнирных соединений. С красновато-коричневой банкой баварского пива в руке сидел Айзек Шпигель, который уже на первом курсе Массачусетского технологического института погрузился в непроходимые дебри машинного перевода. Стены его комнаты увешаны полками со словарями, лингвистическими исследованиями и ветвистыми, точно оленьи рога, схемами в духе теории порождающих грамматик Хомского. Оказывается, язык, человеческая речь, которая естественно, как слюна, льется из любых уст, поддается анализу еще труднее, чем ферменты. Шпигель даже начал лысеть на верной службе избранной специальности: вообще-то он волосатый, но на затылке плешина формой и размером с ермолку. Он тяжеловат для своего возраста, из-под натянувшейся рубашки между каждой парой пуговиц тыквенными семечками проглядывает кожа. Он поднимает голову на появившегося в дверях Дейла.

— Фу, черт, напугал! Бродишь, как тень отца Гамлета. Где пропадал, моржовый?

— Да тут...

— На тебя это не похоже — тут. Что-то отвлекает? А как же старая привязанность? Границы реальности и все такое?

Дейл раскрывает рот, чтобы ответить, но Айк опережает его:

— Наверняка передок нашел или задницу? Или ты не самый большой любитель засаживать?

Неостывающее желание целиком обладать Эстер, ее гибким хрупким телом недавно привело Дейла при ее попустительстве к тому самому маленькому тугому отверстию. Вспомнив, как зажимала его член смазанная запирательная мышца, как смотрелась милая шейка возлюбленной на противоположном краю спины, он вспыхнул до корней волос, дивясь небрежной проницательности этого толстяка, его бесстрашию перед лицом природы, его приземленности. Помазанник Божий. Негры и евреи — вот настоящее чудо Америки, а наша бледнолицая безбожная высокомерная раса — ее балласт, незаживающая ссадина от седла.

— В этом роде, — выдавливает Дейл признание.

— Заходи через часок-другой. Есть пара свежих анекдотов. — На своем крутящемся кресле Шпигель повернулся к заваленному бумагами столу, к неподдающимся исследованию морфемам, рассеянным по морю собственной многозначности и человеческой двусмысленности.

Дейл идет к себе в комнату, которую он делит со студенткой-выпускницей, пикантно плоскогрудой Эми Юбенк. Она занимается разработкой количественного подхода к проблеме распознавания по неким системным признакам — начиная с расцветки насекомых и птиц и кончая причудливой неповторимостью человеческой личности. Родные и друзья узнают человека на таком расстоянии, когда стираются все признаки и пропорции. Мы замечаем знакомого, закутанного в зимнюю одежду, за квартал. Каким образом? Дейл был неприятно удивлен, узнав от Эми, что для насекомых видимая область спектра включает ультрафиолетовый диапазон, недоступный человеческому глазу, и что цветы имеют нектарники, которые мы не видим, равно как не видим и не обоняем половые аттрактанты на крылышках мошкары. Поистине живая природа постоянно ведет нескончаемый и неслышный для человека разговор. Это открытие почему-то задевает Дейла, хотя существует же множество языков, которых он не понимает, да и христианская вера учит, что многие области знания непостижимы нами, что пути Господни — это не пути человеческие. Собачий нюх и слух не сравнимы с нашими, перелетные птицы ориентируются в геомагнитных координатах. И тем не менее мысль о том, что у цветов есть краски, которые видят только насекомые, оскорбляет его. Глаза — зеркало души, гласит поговорка, и в силу застарелого пережитка мы считаем, что они дают нам полную зрительную информацию. Percipi est esse.

Как и Дейл, Эми для работы необходима «Венера», компьютер VAX 8600 стоимостью четыреста тысяч долларов. Они пользуются машиной попеременно, сменяя друг друга каждые четыре часа, поэтому редко бывают в комнате вместе. Это устраивает Дейла, ибо тонкая женственная Эми, хотя она на голову выше Эстер, напоминает ему о любовнице — особенно хрупкими запястьями и тем, как тревожным движением поднимает голову, словно прислушиваясь к звукам, недоступным его слуху. Его волнует это сходство, оно наводит на мысли о других женщинах, которые не будут старше его на десять лет и замужем за доктором богословия. Даже у Эми, если как-нибудь поутру стянуть здесь, на тишайшем седьмом этаже, с нее блузку, найдется что пососать — пусть не такие крупные конические груди с большими сосками грязновато-коричневого цвета, причем вокруг левого он заметил несколько ненужных волосков. Она, Эстер, любит попеременно совать груди в рот своему молодому любовнику в то время, как ее собственный рот вбирает его член. С Эстер всегда так: ее рот, то чуть приоткрытый, спокойный, то разинутый, искаженный, меняющий форму, как скважины в гиперпространстве, и цвет, как неуловимые переходы и оттенки в богатой колористической гамме плафонов и стен у Веронезе. Когда они сплетаются в постели, Дейлу порой кажется, будто он распластан на плоскости среди необычайных геометрических фигур, а его тело опутано паутиной извращенных желаний. Если бы он занимался любовью с Эми — разумеется, в традиционной благочестивой позе, она, стыдливо застывшая под ним, могла бы потом, после акта, заговорить о чем-нибудь совсем непостельном — о линейных алгоритмах и скорости обновления буфера, о сравнительных достоинствах проекций кавалье и кибине, о параметрических кривых Эрмита и бикубической поверхности Безве, а не лежать, дымя сигаретой, как это делает Эстер с унылым видом, словно предчувствуя трагедию, а за ней — скуку, смертельную скуку, привилегию профессорских жен. Эми была бы вроде сестры, растрепанной, вспотевшей, как после бега трусцой, и у Дейла не было бы того тревожного ощущения, что он, его молодое тело и любовный пыл — всего лишь удовольствие, которое растягивают перед смертью, на краю долгого спуска в небытие. Тем временем небо стало сине-фиолетовым, и на нем, как на подушечке ювелира, сияет одинокая звезда. Эта картина как бы вставлена в наклонную оконную раму. Под небом — темные прямоугольные коробки других зданий факультета и принадлежащих университету жилых домов. Перспектива меняет форму крыш: резервуаров, трубопроводов, вялых вентиляторов. Лесопилка, где он подрабатывает, была бы черной дырой, если бы не тусклый свет в окнах конторы и инструментального склада. Подальше — зубчатая бездна манящих неоновых огней — это часть бульвара Самнера с китайским рестораном, кегельбаном, кинотеатром для взрослых. Кусок говядины остыл и осклиз, есть такой не хотелось. Дейл открывает пакет с молоком, макает туда булочку. Набирает на клавиатуре свое имя, пароль DEUS для запуска своей программы. Одно за другим сменяются изображения. Каждое со своим символом и полосой на левой стороне экрана. На каждом застыл яркий треугольный курсор, приводимый в движение «мышкой». Еще одна фраза на клавиатуре, и появляется список созданных, смоделированных им предметов: Дерево, Кресло, Водяной клещ, Молекула углерода. Изображения одних представляют собой скопления многоугольников, составленных из точек и прямых, других — нагромождение криволинейных поверхностей согласно определенному многочленному уравнению. В любом случае полное, математически точное воспроизведение объекта возможно лишь в некоем идеальном пространстве, которое физически существует как длинная цепочка нолей и единиц, как закрытые или открытые переключатели, пустые или полные электронные «карманы», заложенные в океанической оперативной памяти, куда, нажимая на клавиши, подбирается Дейл.

Целый мир в специфической форме — на кончиках пальцев у Дейла. Его охватывает страх, священный трепет, руки замирают. Он не уверен в своих намерениях, у него нет плана действий для достижения конечного результата, обозначенного в Прометеевом названии его проекта. Им движут вера и чутье — с их помощью он должен пройти по лабиринтам, построенным для воспроизведения созданной (разве есть иная?) реальности в ее общих и основных чертах. Он отдает себе отчет в том, что выводы, полученные по его программе, представят лишь ничтожно малую часть того, что существует на Земле, не говоря уже о Вселенной. Но чувствует, что количество битов в его изображениях и их вариантах приближается к числу столь значительному — пусть очень далекому от бесконечности, — которое нельзя рассматривать как случайность или единичное явление. Бесконечно мала была вероятность того, что результаты рассмотрения такого большого круга предметов неприложимы к общему порядку вещей, ко всему божественному мироустройству.

Чтобы войти в рабочий ритм, Дейл ставит чуткий курсор-светлячок на Молекулу углерода и, установив отображаемый объем как куб со стороной десять единиц, поворачивает его параллельно оси Y при X = 100, набирает:

(повернуть

(молекула (протеин 293))

(углы

(от альфа)

(к дельте)

(шаг (\*0,001 (– дельта альфа))))

(оттенок S3)

Пересчитываемая каждую тринадцатую долю секунды, разлапистая молекула медленно кружит на невидимой нити оси Y. Дейл, настроив перспективную проекцию, приближает изображение; постепенно, цикл за циклом, время, которое требуется для расчетов, для нескончаемой смены синусов и косинусов, начинает превосходить время смены картинки. Векторы дергаются, похрустывают паучьи суставы, атомы углерода послушно разбегаются, сияют на сером экране, как звезды в вышине, как немые свидетели царящего в космосе безумия, как искры в пустоте под сводом небесного мозга.

Затем Дейл стирает изображение и, чтобы перейти к своей программе (богохульственной, по моему убеждению), вызывает из памяти машины объект под названием Дерево. Оно построено по частям, то есть «выращено» по заложенным в компьютер определенным принципам произвольного дробления, которое, насколько удается, приближено к органическому росту древесины. Элементарной переменой параметров можно добиться того, чтобы крона Дерева напоминала уходящие вверх ветви вяза или пирамидального тополя, купы плакучих ив или болотных дубов, величественные раскидистые отростки кизила или бука. У деревьев, как и у скалистых гор или кафедральных соборов, складчатая форма, одни и те же элементы повторяются на разной высоте благодаря хитроумному алгоритму, который Дейл вывел сам в старые добрые времена (до профессора Ламберта! До Эстер!!). Ствол и нижние сучья Дерева утолщаются по мере того, как множатся новые побеги на верхних ветвях. После того как Дерево «выращено» и его математические характеристики заложены в память машины, его можно снова вывести на экран под любым углом, целиком или по частям (хотя многие детали пропадают из-за недостаточной разрешающей способности монитора) и снова подвергнуть всевозможным операциям. Дейл поворачивает Дерево перпендикулярно плоскости экрана, вдоль координатной оси Z, и рассекает поперечной плоскостью. Когда Z = 300, появляется круглое облачко точек, — это верхние ветви в поперечном разрезе. Установив ось Z повыше, Дейл двигает курсор к нижней части Дерева, где вырисовываются кружки и овалы, — это толстые сучья, рассеченные под разными углами, — а затем к краю экрана, куда смещаются черные точки и отрезки прямых, изображающие молодые побеги на них. Теперь в центре экрана кляксы, которые расползаются и сливаются в одну. В конце концов остается только корявый ствол.

Едва слышно, как мышь, скребется под пальцами Дейла пластмассовая клавиатура. Он опять направляет курсор по стволу Дерева вверх, где точки и овалы обозначают высоту, куда без опасности для жизни могут забраться виртуальные мальчишки, забредшие в чащу чисел. Каждому элементу массива данных соответствует свое уравнение, которое в другом конце комнаты, там, где в отсутствие Дейла работает Эми Юбенк и оставляет после себя перепачканные любовные послания в своеобразной системе письма, принтер послушно распечатает в «сброс», как говорят компьютерщики.

Дейл перебирает значения Z: 24, 12, 4, затем 3 и, наконец, 1. Снова слышно, как скребется мышь, и снова в скрежете синкоп машина «выдает» цифры, строка за строкой, строка за строкой. Дейл напряженно вглядывается в экран, стараясь уловить какой-нибудь маловероятный порядок и повторяемость. Потом просматривает сложенные гармошкой распечатки, отмечая каждую двойку и каждую четверку, и останавливается на 24, священном, во что он начинает верить, числе, каким Бог заговорит с ним. Это число выше и чище грубых нолей и единиц, которыми оперирует машина, оно оседлает традиционную Троицу, в нем нет зловещих пятерок, что привились на наших руках и ногах.

Дейл обводит эту пару красным и не может решить, чем вызвана пляска красных кружков в периферическом отделе его зрения — случайным сбоем количественных показателей или его усталостью. При мысли о тщетности собственных усилий Дейла бросает в пот. С тех пор как он получил грант, ему плохо спится. По ночам мерещится, будто он впадает в великий грех. И в романе с Эстер не все ладно. Она стала еще более ненасытной и менее нежной. К пламени их страсти примешивается нетерпение, недовольство, неудовлетворение, так что он замечает в себе признаки мужского бессилия. Начала откалывать в постели такие номера — словно рекорды по акробатике ставила, — что все его существо протестует против роли механического исполнителя фантастических сексуальных желаний. Тело отказывается работать как следует. Это удивляет Дейла: под покровом интеллектуальных и духовных устремлений в нем с подросткового периода живет гордость своими гениталиями. Он считает, что у него прекрасный пенис: бледно-мраморный ствол с ярко-голубыми прожилками и темно-розовая раздвоенная головка. В состоянии эрекции он слегка загибается кверху, словно хочет дотянуться до уютного гнездышка в пупке. Иногда Дейл чувствует в себе раздвоение личности, и та, что несравненно меньше, обладает большей жизненной силой и даже духовностью. Власть Эстер над Дейлом заметнее всего ощущается в том, что она то и дело ненароком открывает красоту его фаллоса, которым до нее он восхищался в одиночку, и не без чувства стыда, под одеялом, перед тем как уснуть. Эстер безбоязненно выставила эту спрятанную красоту на свет божий. Теперь он не стесняется стоять в чем мать родила перед зеркалом ее глаз.

Когда мужчина сходится с женщиной, у него всегда возникает вопрос: что получает она от их близости? Дейл подозревает, что он нужен Эстер, чтобы спастись от угрюмого субъекта с тяжелыми бровями и влажными глазами, который тучей нависает над их свиданиями, грозя разразиться стылым ливнем. Хотя Дейл испытывает непреходящую потребность кого-то от чего-то спасать — достаточно посмотреть на его утопическую затею вызволить страждущее человечество из вериг сомнений, вероятности, что никакого Бога нет, или его полоумный присмотр за бедной, отравленной травкой Верной — рядом с Эстер он задумывается, не слишком ли он обременителен, этот предмет спасения, не слишком ли много в нем острых углов. Он не может не видеть, что, несмотря на угасшую привязанность к мужу-рогоносцу, женщина цепко держится за положение, которое дает это замужество, держится за дом со всем его содержимым. После нескольких пробных визитов Эстер не удостаивает своим посещением Кимову квартирку, отдающую запахами кроссовок и соевого соуса, и снова принимает Дейла в мансарде особняка на аллее Мелвина. Они оставляют щелочку в окне, чтобы впустить бодрящий весенний ветер. Под грачиный грай и переливчатые трели серенады — то хорошенькая Мириам Кригман, скинув блузку на солнечном балконе, упражняется на своей флейте — любовники изливают друг на друга сексуальные соки. Чинный квартет с высокими заборами и зеленеющими лужайками — как зрители в цирке, которые с замиранием сердца, без шепотков и покашливаний следят, как они исполняют рискованнейшие акробатические трюки. Временами Дейлу кажется, что Эстер в пылу страсти извивается, как змея, частично для того, чтобы бросить вызов кому-то третьему, порисоваться перед ним. Он чувствует себя статистом в продолжающемся спектакле. Ему досадно, но разве могла бы, допустим, та же анемичная Эми Юбенк провести его по крутой головокружительной спирали сексуального наслаждения к самой сердцевине плотской жизни? Разве у нее такие же жадные глаза и рот и такой тугой и одновременно податливый зад?

Поскольку Z при значении два с половиной представляет собой плоскость, то, установив равенства между Z и преобразованными координатами атомов углерода, Дейл делает несколько более сложных сечений. Он напряженно всматривается в экран, пытаясь обнаружить какое-нибудь более или менее определенное изображение — снежинку, лицо, что угодно. Точки разбегаются по экрану, роятся, как мошкара над летним прудом, но в их пляске он не видит никакой фигуры, не улавливает никакого сигнала.

Дейловой идее (как догадываюсь я, находящийся по ту сторону водораздела между точными и гуманитарными науками) присуща простота, приходящая с отчаянием. Если элементарные трехмерные фигуры, заложенные в памяти компьютера, в достаточной степени представляют спектр созданных и существующих вещей, то, соединяя их, то есть ребрами одних воображаемых многогранников разрезая другие, он дает Богу возможность выдвинуть свою версию той первичной формы, что лежит в основе всех форм. Все эти многогранники и совокупности отдельных частей выражаются рядами двоичных чисел, поэтому машина, производя расчеты, приближается к некоему математическому пределу, позволяющему Богу проявить себя, причем проявить в более выгодном свете, нежели чудовищные несуразности сотворения мира, — в поразительной согласованности физических постоянных, в демонстрации невозможности эволюционного процесса, в человеческом сознании, что быстрее наших нервных клеток. Адвокат дьявола, который сидит в душе Дейла, — его собственная совесть, — мог бы возразить, что у Бога масса возможностей проявить себя, и прежде всего в богатейшем словаре вещей и информации, охватывающем все пространство от нас до самых дальних квазаров, что даже на нашей крошечной по космическим масштабам планете наблюдается бесконечное множество Его достижений. Если Бог не пожелал недвусмысленно выразить себя в траве и дожде, в бегемоте и Левиафане, почему он должен заговорить на логических перепутьях компьютера? Потому, ответил бы Дейл, что числа на экране компьютера становятся источниками и путями света и доступны нашему разумению с чистотой простого силлогизма. Потенциально световые векторы — это костяк того, что Виттгенштейн назвал ситуацией. По сути дела, доводы Дейла сводятся к молитве, не больше, но и не меньше, к попыткам сделаться пророком. Того же бессонницей, самобичеванием, загоняя себе крючья под кожу, добивались византийские святые и наши индейцы с равнин. Его бдение напоминает самоумерщвление, крестную муку, которую он делит с компьютером.

В файлах его машины хранятся аэропланы и кубы, двенадцатигранники и морские звезды, трехмерные буквы, используемые на телевидении, и даже оживляемый человечек с ногами, как печные трубы, и квадратными плечами. Лицо человечка составлено из массы крошечных пластин, и каждой соответствует известное дифференциальное уравнение. Меняя значение членов этих уравнений, можно придать лицу любое выражение — радостное, гневное, горестное, задумчивое, а лицевые мускулы и глаза согласовать со словами, которые произносит человечек. При освещении из одной точки, выбранной по тому же алгоритму, которым удаляют невидимые плоскости, и удачной подсветке результат достигается фантастический: кукла кажется настоящим живым человеком, хотя движется он, как ртуть по сравнению с водой, а когда стоит неподвижно, то как бы вздрагивает от напряжения.

Когда на цыпочках уходит полночь, Дейл сдвигает фигуры в одну груду и, то выводя на экран линии и плоскости разрезов, то откусывая от груды предмет за предметом, перемещает оставшуюся часть по пространственной дуге, выделывая при этом затейливые узоры, которые подошли бы для лепнины в бесовских хоромах посреди преисподней или для плюща, что лепится к веселенькой беседке на краешке Марса.

Переключившись на цветной растр, Дейл по компьютерной сети связывается с машиной, расположенной на одном из нижних этажей Куба, и пополняет базу данных добавочным количеством визуальной информации и программным: двадцать четыре бита на пиксель. На экране появляется великое множество пикселей, 1024 × 1024, и каждый из этих элементов изображения сменяется другим каждую тридцатую долю секунды. Судорожно вращаются в страшноватом свете странные фигуры, молча свидетельствуя о бурях, бушующих в счетном устройстве. Дейл не довольствуется этими феерическими чудесами, набирает на клавиатуре дополнительные команды, закодированные в строчный, жесткий машинный язык (setq... defun... mapcar... eq... prog), и те гонят электрический ток через реле, через триггеры и сумматоры, через бесконечные транзисторные «воротца» диаметром двенадцать микронов — тоньше, чем тончайший волосок на груди у Эстер.

Фигуры на слегка выпуклом экране сбиваются в кучи и расползаются во все стороны. Дейл поворачивает их и так и сяк, подчиняясь неясной надежде, что там, за нагромождением вещей, в искусственном пространстве, где специальными командами можно подделать даже отражения и тени, лежит нечто, может быть, это паук или монета. Машина не успевает поставить на место сдвинувшуюся точку обзора, и Дейл хочет обмануть невидимого оппонента, выведя на экран наклонное зеркало. Зеркало ставится за изучаемым предметом — это сравнительно простая в компьютерной графике процедура, в которой, поскольку каждый пиксель можно считать замочной скважиной, линия прямой видимости проходит через все значения X и Y и отклоняется при определенном («скользящем», так как зеркало наклонно) значении Z. Команда к отклонению, подаваемая при соответствующем угле отражения (в нашем случае — 12 градусов), выводит пиксель за пикселем информацию о задней стороне изучаемого объекта, который поворачивается со средней скоростью 160 наносекунд на пиксель. Задняя сторона не сильно отличается от передней, и Дейлу не попадается на глаза ни спрятанная золотая монета, ни паук, плетущий сеть. Компьютер свято хранит свою тайну.

Одна операция сменяет другую, и чем дальше, тем больше слившиеся фигуры на дисплее делаются похожими на рыхлые мотки многоцветной пряжи. Мотки выглядят как комки какого-то органического вещества, словно процесс увеличения и очистки выявляет внутреннюю волокнистость вещей. Дейл предполагает, что, как и в предметах реального физического лица, под волокнами лежат кристаллические структуры, но возможности компьютера в отличие от электронного микроскопа недостаточны, чтобы достичь их. Компьютерный мир создан человеком, рассуждает Дейл, следовательно, его структуры грубее структур мира, который из кварков связал Всевышний. Сам он разработал специальную программу. По этой программе хаотическому нагромождению изображений сообщается вращающий момент, и незримые силы поворачивают их, и мнут, и давят, как отжимают под прессом масличное сырье, — и все для того, чтобы получить каплю, одну-единственную радужную каплю исходного принципа бытия. Дейл верит, что в конце концов эта капля покажется, словно протечка на цистерне, и нефть павлиньим хвостом растечется по ее стенкам и по земле посреди железного лома и всякого хлама. Именно это он жаждет увидеть: электронно-механическую радужность в идеальном порядке, как сотни многоугольных линз в фасеточном глазу трилобита. Иногда Дейл останавливается, чтобы считать информацию из уравнений на мониторе или перенести изображение на лазерный принтер. Вот уже несколько недель он проводит эти эксперименты, весь Великий пост копит данные, но сейчас он чувствует, что приближаются кульминация, кризис и искупление в его изначальном смысле — избавление от рабства, от труда. После нескольких часов работы у него покалывает в пальцах, точно ток сквозь них пропустили. Его нервы и электронная система процессора совместились в одно.

В какой-то момент он, должно быть, все-таки съел несъедобный сандвич с говядиной: смятый и замасленный кулек лежит на столе рядом с пустым пакетом из-под молока и «мышкой». В какой-то момент он, должно быть, пошел в туалет мимо механических торговцев, в конец коридора, а на обратном пути заглянул к Айку Шпигелю, потому что в голове засели обрывки услышанных сальных шуточек: «Одну, чтобы позвонить монтеру, другую — замешивать мартини...», «Ну не беспокойся, мне нравится в темноте...». Шпигель сам заливается смехом, «травит», и в просветах между пуговицами тесноватой рубашки видно, как трясется волосатый живот. Даже когда он сидит, у него вид заправского комика-говоруна. Хочешь слушай, хочешь не слушай, выдаю дальше. В памяти выплыл ключевой вопрос одной из хохм: «А зачем у баб дупло?» — и ответ совсем не шутейный, звучащий как печальная истина.

Пальцы Дейла бегают по легкой как перышко клавиатуре — феерия форм, фигур, фактур. И вдруг из этой ионной толкотни на мгновение, на миллисекунду возникает ЛИЦО, грустное, горестное, даже не лицо, а тень лица. Как просто все-таки нарисовать лицо: несколько точек, несколько дужек, и ребенок радостно тянется к забавной мордочке. Эми Юбенк утверждает, что мы можем отличить приятеля от незнакомца на полукилометровом расстоянии.

Лицо исчезло, растворилось в рыхлой многоцветной пряже. Дейл успел заметить: в запавших глазах — вечная тоскливая горькая жизнь. Он хочет восстановить изображение, но не может сообразить как. В голове пусто, в нее лезет начало еще одной шпигелевской хохмы: «Сколько бапов (белых американцев-протестантов) требуется, чтобы сменить электрическую лампочку?» Дейл дает команду «сброс», и принтер в другом конце комнаты начинает пережевывать материал своими клиновидными зубами. Дейл отрывает зад от нагретого липучего сиденья вращающегося стула и идет по коридору за диет-колой. Автомат, урча, ищет в своих внутренностях красно-белую банку и выставляет ее на полку, правда, если постучать по железному боку. Потом, подумав, он со звонком выплевывает два Дейлова четвертака. Какой-то остряк-самоучка научил его возвращать монеты. Всегда найдется айзек, который перехитрит самую хитрую машину. «В сколько еврейских мамочек?» Нет, надо быть евреем, чтобы понимать еврейские шуточки и штучки.

У явления на дисплее были, помнится, длинные волосы, но никаких признаков бороды. Вероятно, традиционная иконография ошибается. По телевизору часто показывают людей со Среднего Востока, дают интервью, и у каждого по меньшей мере трехдневная щетина. Как они ее отращивают? Устанавливают газонокосилку на максимум?

В длинном коридоре с кремовыми стенами, увешанными картинками Снупи и детскими рисунками, стоит глубокая тишина. В голове у Дейла раздается звук, похоже, получасовой давности — это Шпигель собрался домой. Возле мусорного ящика он сплющил подошвой пустую пивную банку и крикнул: «Спокойной ночи!» Теперь весь седьмой, залитый светом этаж в полном распоряжении Дейла, и, возвратившись к себе в комнату, он падает на колени между стулом и монитором и молится о просветлении, которое избавило бы его от этого бремени и этой вины, бремени и вины думающего животного. Под его веками пульсирует красноватая пустота. Он словно видит ее строение: микроскопические зерна быстро скатываются вниз, так скатываются капли косого дождя на оконном стекле. Он прислоняет разгоряченный лоб к экрану, тот студит голову, хотя чуть-чуть теплый. Эта радиация. Можно заработать раковую опухоль мозга. Ну и пусть. Дейл откидывается и тяжело поднимается на ноги. Решает поработать еще часок-другой. Он чувствует, что вот-вот что-то произойдет, но медлит, медлит сесть. Подходит к окну.

Сверху кажется, что город оседает, словно угли угасающего костра. В ночном небе не спится почти полной луне, она плывет среди перисто-кучевых облаков, барашки как зыбь на озере. Внизу, на трапециевидном сквере со скульптурой леди Лавлейс, дремлют деревья. Ломаные линии ветвей не длиннее, чем зимой, но очертания их расплываются от набухших почек, жаждущих развернуться в листву и продолжить процесс фотосинтеза. В глазах у Дейла колет, ноет тело, слишком долго находившееся в сидячем положении. Ему хочется потянуться, раскинуться на кровати рядом с Эстер, с ее жадными изумрудными глазами, ее жадными ищущими руками. У них, как у многих классических любовников, не было приличной постели — только затасканный матрац в мансарде да узкая молодежная койка под роговым крестиком.

Он опять садится за монитор и пытается снова найти тот волшебный знак, тот чудесный намек. Изучив цифровую распечатку ввода, по которому появилось лицо, Дейл подает команду сосчитать все двойки и четверки, по правилам математической статистики анализирует результат. Он недостаточен для построения теологической системы. Аналогичному анализу подвергаются несложные неодушевленные предметы — столы, стулья, самолетные крылья, многогранники, кривые Коха... Под конец у него фактически не остается сомнений, что статистическая обработка данных об органических моделях обнаруживает если не весь отпечаток какого-нибудь пальца у Всевышнего, но хотя бы несколько завитковых узоров на подушечке пальца.

Гистология — гистологией, но Дейл все же надеется, нет, не просто надеется — его томит духовная жажда сретения, встречи с лицом, чтобы он смог зафиксировать и принтером перенести на бумагу. Освежившись еще одной банкой коки с добавками кофеина и углеводов, он снова пытается найти ту заветную тропку, что привела его к чудесному видению. Он продирается сквозь бинарную чащу, меняет углы и параметры, приближает и отдаляет изображения. Он не чувствует, как бежит время. Предутренние часы похожи друг на друга. Далекие шумы на других этажах — стукнет дверь лифта, загудят провода в шахте — где-то трудится еще один полуночник, или это подают сигналы таймеры и термостаты? В комнате становится холодно. Мерзнут кончики пальцев, и с тыльной стороны ладони озноб ползет к запястью, к локтевому суставу, к предплечью, подбирается к грудной клетке. Дейл принимает его за откровение свыше. Сквозь микроскопическое марево, где одна-единственная пылинка может загородить дорогу, как скатившийся с горы валун, и тончайший волосок обрушится, точно балка в кафедральном соборе, он приближается к дракону, к огнедышащему секрету. Так же, обмирая от страха и нетерпения, он ребенком спускался в подвал родного тонкостенного дома в Акроне, где отец заводил подаренный ему на Рождество игрушечный железнодорожный состав. Пусковые рогатки поезда таили в себе тайну и волшебство, точно труп, положенный для вскрытия. У длинного металлического тела состава была большая живая голова — одноглазый тепловоз, который сердито крутил колесами, когда его ставили на рельсы. Сдерживая трепет, словно делал что-то нехорошее, Дейл забирался в подвал один и скоро начал разбираться в загадках механизма лучше отца. Потом из собственных скромных сбережений стал покупать дополнительную оснастку — новые рельсы, семафоры, стрелки. Он был на верном пути.

На экране все чаще и чаще высвечиваются предостерегающие надписи: «Недостаточен объем памяти» или «Вы уверены?». Монитор выводит в зону видимости испещренные полосами тороидальные фигуры, которые в мгновение ока сменяют друг друга, учащаются взаимопереходы операций разной степени сложности, язык накладывается на язык, ужимаясь порой до бинарного словаря. Дейл загрузил моделирующее устройство таким образом, что оно сообщает каждому следующему изображению новые параметры, выведенные из предыдущей фазы, — возникает своего рода коническая спираль, которая, полагает он, должна в конце концов коснуться космической сущности. Но формы и фигуры на экране не упрощаются, а, напротив, дробятся, усложняются, расползаются.

Лицо — вот что он хочет видеть, хочет и испытывает при этом благоговейный страх. В эти бегущие глухие утренние часы у него усилилось ощущение, что привидение, притаившееся в электронных закоулках, настроено враждебно. Оно не желает, чтобы его видели, и будет мстить тому, кто пытается его найти.

Или, допустим, в поисках Всевышнего на этих неведомых путях он, Дейл, собьется на ложную дорогу и встретит фальшивого бога, одного из тех, что веками мучили людей, Молоха либо Митру, Шиву либо Осириса, или переменившего обличье Люцифера и того Уицлипочтли, которому приносились кровавые человеческие жертвы. Тем не менее наш молодой человек продолжает давить на клавиши и снова читает: «Повторите». Формы и цвета на экране вздрагивают, как жир, растекшийся по воде, в которую бросили камешек. Вот новый рисунок, он похож на предыдущий — с той только разницей, что состоит из более мелких элементов, которые вращаются и образуют крошечные водовороты, концентрические круги из цветовых слоев, как бы спадающих вниз наподобие пальцев резиновых перчаток. Если немного скосить глаза и переустроить клетки головного мозга (Как? Кто же все-таки нажимает на клавиши?), можно увидеть, что это — конусы, вершинами направленные на наблюдателя. Между основаниями двух конусов лежит что-то непонятное, многоцветное. Дейл увеличивает изображение, при этом зеленый цвет смешивается с оранжевым, поворачивает его, но разглядеть не может. Тогда он выводит его на плоскость под углом 85 градусов к горизонтальной оси, потом, подумав, переносит на более безопасный угол — 72 градуса. Теперь он видит, что это рука. Рука, составленная из цветовых пятен, словно разрисованная камуфляжной краской, но какой-то неожиданной формы. Она лежит расслабленно, ладонью кверху, пальцы согнуты, но различимы даже линии на ладони. В неподвижности руки есть что-то странное. Онемела? Отрублена? Прибита гвоздями к кресту? Или больше похожа на руку Самсона, которому состригают волосы, когда он уснул, прикорнув к коленям Далилы? Может быть, на руку Адама до того, как Бог вдунул в лицо его дыхание жизни? Или же неподвижность — это знак истощенности, отчаяния, сдачи на милость победителя? Как ни всматривается Дейл, он не замечает на ладони ни клейма, ни прокола. Даже при нечетком трехмерном изображении видно, что конечность нетронута. Будь у его VAX 8600 бóльшая разрешающая способность, он различил бы костяшки и ногти. Глядя на руку, Дейл переносится в иную систему бытия, он переживает восторг вознесения. Холод, что он испытывал несколько часов, словно бы расчистил ему путь. Он полон жизненных сил. Едва дыша, чтобы не спугнуть непослушный центральный электрон, он подает команду зафиксировать изображение, и с другого конца комнаты, рядом со стаканчиками из-под кофе, испачканными губной помадой Эми Юбенк, раздается стрекот принтера. Попробуйте представить, что вас поглощает его жадный безотказный механизм! Дейл скармливает ему Бога, эту успокоительную тень по ту сторону разума.

Распечатка разочаровывает. Рисунок поблек, надо восстанавливать цвет. Руку едва видно, только бледная тень на бумаге, тогда как на экране светящиеся точки создавали впечатление живой материи. И тем не менее это свидетельство, какое-никакое. Его собственные руки с реденькими волосками промеж костяшек вздрагивают над клавиатурой — может, повторить операцию? Глядишь, машина выжмет что-нибудь более существенное, выведет на дисплей все туловище — или пустую гробницу? Озноб пробирает Дейла до костей. Он дрожит. Урчание компьютера кажется ему криком о милосердии, полунемым прошением о помиловании. Умопомрачительны скорость и точность взаимодействия электронов с электромагнитными полями, умопомрачительны, если не знать того, что узнал на курсах программистов Дейл, а именно: микрочастицы обладают корпускулярными и волновыми свойствами. Так они устроены, такова их двойная природа. Поэтому машина, которая сама по себе вызвала бы священный трепет у новогвинейского дикаря, из всех достижений цивилизации знающего только богоподобные летательные аппараты, для Дейла всего лишь средство постижения тайны. Мне лично Дейл представляется сейчас гигантской летучей мышью, взмывающей на своих руках-крыльях вверх. Он печатает слово «Повторить». По экрану пробегает рябь. Проходят секунды, прежде чем машина воспринимает команду. Полосы и концентрические круги предыдущего изображения преображаются в фигуры, по форме напоминающие рыбью чешую. Рука усохла, исчезла, если только не превратилась в зеленое пятно в нижнем правом углу экрана, на месте имени оператора. В некоторых его частях доминирует оранжевый цвет, упорядоченность чешуек притягивает глаз. Остальная часть экрана представляет собой пелену из светящихся точек, за которой сверхтонкая алюминиевая отражательная пленка. Компьютер не желает выдавать свои секреты. Жадно, нетерпеливо Дейловы пальцы умоляют VAX 8600 повторить цикл.

Цвет экрана становится холодным, серым, появляются неумолимые буквы: «Недостаточен объем памяти». Дейл чувствует себя опустошенным. Отодвигается от стола. Болят глаза. До костей пробрал холод предутренних часов. Он медленно бредет к окну. Луна скрылась. Обрывки облаков слились в сплошное одеяло оловянного цвета, подсвеченное снизу огнями большого города. На прямоугольных силуэтах зданий светятся только несколько окон, светлые прописи в двоичной системе — слово тут, слово там. Бесконечны ряды темных окон, черные провалы равно о чем-то говорят. Ноль — тоже информация.

## 

## 2

**—**Дядечка? Это ты?

Был поздний вечер, время приближалось к десяти. Я сидел у себя в кабинете с раскрытым «Социалистическим решением» Тиллиха, а Эстер в гостиной слушала запись «Богемы» и доканчивала бутылку розового вермута. Зазвонил телефон.

— Что-нибудь случилось, Верна?

— Все, все случилось. Господи! — Голос у нее был глухой, какой-то загробный, но я не услышал в нем ни тревоги, ни раздражения — только страх. — Послушай, — продолжала она плачущим капризным тоном, — не мог бы ты сейчас приехать?

По легкому щелчку я понял, что Эстер в гостиной взяла трубку. Чтобы ввести жену в курс дела, я повторил:

— Ты хочешь, чтобы я сейчас приехал?

— Ты должен приехать, ну пожалуйста! — говорила Верна отрывисто, как будто ей не хватало воздуха. — Вообще-то это не со мной, а с Пупси. С Полой.

— Что с ней? — Я чувствовал, что мой голос тоже звучит странно.

— Не может ходить, честное слово. Или же не хочет, дрянь такая. Визжать не визжит, но не дает до себя дотронуться.

На меня как столбняк напал — так бывает, когда на человека наваливается груз жизни, я потерял дар речи и способность соображать.

— Когда это началось?

— Не знаю, хуже всего было минут пятнадцать назад. А вообще-то все началось сразу после ужина. Мы кое-что обсуждали...

— Обсуждали?

— Ну да, выясняли отношения, как подружки, понимаешь?

— Ты выясняла отношения с годовалым ребенком?

— Ты что, все проспал? Ей скоро два будет. И вообще, не морочь мне голову. Я тебе не первому звоню. Пытаюсь дозвониться до Дейла, но его телефон молчит.

— Так говоришь, не хочет ходить? — повторил я не столько ради Эстер, сколько для того, чтобы представить себе, что там, у Верны, происходит.

— Похоже, что... — Верна запуталась, потом ее порвало: поскорее выложить неприятность и забыть: — у нее что-то внутри не в порядке. Поэтому она и не может ходить. Я ставлю ее на ноги, а она брякается на пол и вопит.

Наконец забрезжил слабый свет.

— Ты ее била?

Помолчав, Верна заговорила детским тоном:

— Ну, толкнула разок. Достала она меня, понимаешь? А вообще-то это дурацкий книжный шкаф виноват. Ну тот, который я купила, когда собиралась получить долбаный аттестат зрелости. Наверное, она ударилась об него ногой, я точно не видела... — Снова молчание, а потом: — Меня теперь в полицию заберут, да?

Казалось, механизм ее мозга едва-едва работает, преодолевая сопротивление трения, перерабатывая вредные химические вещества, накопившиеся в житейских волнах, которые то нахлынут, то откатят.

— Верна, подожди, не клади трубку, — попросил я. Тихонько, чтобы она не услышала, что я отошел от телефона, положил трубку на подлокотник кресла рядом с томиком «Социалистического решения», который стоял домиком лицом вниз, давая возможность заглянуть в красивое беспокойное лицо автора на задней обложке, и на цыпочках прошелся по коридору в гостиную.

— Что ты об этом думаешь? — спросил я Эстер шепотом.

Она прикрыла ладонью телефонную трубку — жест был медленный и удивительно грациозный, как движения пловца под водой. Подняла голову, и я увидел, что белки ее глаз расширились и покраснели. Сморщив губы, словно собираясь свистнуть, она сказала негромко:

— Поезжай. Ты должен поехать.

К Верне? На ночь глядя? Но Эстер благословила меня, не так ли? Я пробормотал ненужное извинение:

— Вероятно, много шума из ничего, но...

Она сидела, величественно выпрямившись, похоже, совершенно пьяная. На ней был желтовато-коричневый кашемировый кардиган (купленный в магазине Траймингхема в тот же день, что и мой джемпер из верблюжьей шерсти), надетый на желтую водолазку. Эстер примостилась на краешке обитого шелком канапе, голые колени упирались в край стеклянного столика, и в отражении стекла я видел белую полоску на коленных чашечках. Лицо ее лоснилось, может быть, от жара уже догоравшего камина. Мне подумалось, что звонок Верны удивил ее меньше, чем меня. Она убавила звук в кассетнике, но по красному огоньку и вращающейся втулке в окошках из органического стекла было видно, что опера еще шла к кульминационной сцене. Бедная Мими. Бедный Рудольф.

Я кинулся к себе, чтобы сказать Верне, что еду, но услышал короткие гудки: она бросила трубку. Я надел плащ на теплой клетчатой подкладке, обмотал горло серым шерстяным шарфом, нахлобучил капюшон, хотя последние два-три дня вовсю пригревало солнце, но апрель в наших местах — месяц холодный, сырой.

В коридор вышла Эстер. Мне показалось, что она нетвердо держится на ногах, хотя дома она не носит цокающие шпильки. Сейчас она была босиком. Для садовой возни во дворе она надевает резиновые сапоги или же старые замызганные кеды. За четырнадцать лет совместной жизни ее ступни раздались и огрубели, но поскольку ломкие ногти и желтые мозоли появились у нее на службе у меня, при выполнении работ по нашему общему дому, ее ноги сохранили для меня прежнюю прелесть. Какую диету ни соблюдай, все равно с возрастом кости делаются хрупкими, а мышцы дряблыми. От нее попахивало потом, как будто за время ее связи с Дейлом, тех бесстыдных дневных свиданий в мансарде, тех вывертов наизнанку, подобно порнозвезде, и отдохновения в луже молодой спермы она вся пропиталась чем-то пряным и острым, и это пряное и острое выступало теперь из пор ее кожи. Как все грешники, она варилась в собственном соку — влажные волосы были зачесаны назад, и выпуклый лоб поблескивал.

— Долго тебя не будет? — Неужто в ее одурманенной душе зашевелилась мысль устроить быструю встречу с любовником, стремительное, точно движение электронов, совокупление с нашим компьютерным колдуном?

— Я еще не знаю, что там случилось, — ответил я. — Если ребенка надо показать врачу, это займет определенное время.

— Ребенка?..

— Да, Полу. Или Верну — не знаю. А ты меня не жди, ложись. Ты была как всегда права: надо было оставить девчонку в покое.

— Ты старался быть хорошим братом Эдне. — Я не понял, сколько иронии заключалось в этом замечании, если вообще она там была. Сильно колотилось сердце, этот стук заглушал все другие чувства. Поддавшись какому-то порыву, неожиданному и редкому, я наклонился и поцеловал Эстер. Она вздрогнула, раскрыла губы для ответного поцелуя, но я уже поднял голову. Как же хорошо, однако, наклониться к женщине! Когда я целовал Лилиан, то словно совершал церемонию приветствия товарища по партии. Нет, прав Тиллих: как живые существа, мы не только непоправимо религиозны, но и непоправимо социальны.

Собираясь ехать и спасать другую женщину, я почувствовал вожделение к собственной жене, хотя она и пропиталась греховными соками другого мужчины.

А Эстер? Выражение ее лица напоминало о том, как она выглядела четырнадцать — фактически уже пятнадцать — лет назад после нашей незаконной любовной сессии у нее на квартире, отправляя меня домой к Лилиан. Я должен был предстать перед женой и перед фактом распада семьи. Если я больше не увижу тебя, словно говорили ее зеленые навыкате глаза, нам есть что вспомнить. Она мыслила, как бухгалтер.

Моя «ауди» стояла на улице перед самым домом. Я сел в машину и поехал.

Наш город разделен на зоны. Днем границы между ними стираются, но в темноте приобретают пугающую определенность. Обитатели одной зоны не могут попасть незамеченными в другую, даже если ты на минутку забежал в китайский ресторанчик, чтобы взять какой-нибудь снеди на ужин. В тусклом свете уличных фонарей со всей отчетливостью проступают тонкие различия в одежде, косметике, оборотах речи, манере держаться, проступают и выдают нарушителя границы. Поэтому не без опаски, стараясь сдержать жаркое сердцебиение, я выехал по аллее Мелвина из нашего уютного зажиточного квартала и взял курс на район трехэтажек, лавчонок с опущенными решетками, жалких самозаправок, освещенных голубыми лампами, туда, где у баров под неоновыми вывесками, как травоядные на подножном корму, тусовалась крутая молодежь. В приоткрытые окна моей «ауди» доносились свист ветра и обрывки музыки из баров. Колеса машины прыгали на растрескавшемся, в выбоинах асфальте. В основаниях конических лучей от моих фар проносились или притаились на тротуарах какие-то продолговатые тени, od ombra od omo certo — привидения или люди. По правую руку от меня, за рекой виднелись сигнальные огни на крышах высотных зданий в центре, огни красные и белые, как и на самолетах над аэропортом, расположенным еще дальше в той же стороне. Куда и зачем летят эти самолеты, зачем на тротуарах сбивается в кучки молодежь? Ими движет та же сила, которая в этот поздний, пахнущий весной сырой вечер выгнала меня из дома.

Усвоив, что движение по Перспективной улице одностороннее, за квартал до сгоревшего бара я свернул на такую же полузаброшенную улицу. Окна в домах здесь были либо совсем темные, либо мерцали телевизионным светом. Припарковаться в новостройке вечером оказалось куда сложнее, чем днем: птицы слетелись к своим гнездам. Пришлось покружить, прежде чем я сумел втиснуться на Перспективной в недозволенное местечко: тут находился водоразборный кран. Отсюда было видно знакомое дерево — опушившееся почками гинкго. Реденькие веретенообразные клены и белые акации по краю тротуара тоже готовы были вот-вот покрыться зеленью. Я запер машину и быстрым шагом, но так, чтобы не подумали, что я бегу, направился к залитой зеленовато-желтым светом новостройке.

Темнота и прежде заставала меня здесь — во время зимних визитов к Верне, но в такой поздний час я очутился у дома номер 606 впервые. Вместо темнокожих ребятишек, резвящихся среди старых автопокрышек и брошенных бетонных труб, на скамейках и на ступеньках подъезда с железными дверями собрались подростки, собрались, несмотря на холодное дыхание гавани и сизый туман, расползающийся между домами. Белый в дорогом дождевике так быстро взбежал по ступенькам, что они едва успели посторониться, чтобы дать дорогу. Я торопливо пробирался сквозь потревоженную кучу джинсов, дакроновых стеганок и шарообразных шевелюр, поблескивающих капельками оседающего тумана. Были здесь и девушки — пышногрудые, с пышными прическами «афро», пышными и темными, как резина, руками и пышными поддельными побрякушками, — и их присутствие успокаивало. Справедливо или нет, мы ассоциируем женский пол с безопасностью, хотя история и мифы говорят об обратном: достаточно вспомнить матерей-убийц, исступленных вакханок или воительниц-амазонок, выжигавших левую грудь у дочерей. В конце концов для того, чтобы убить, требуется одно: увидеть в другом человеке врага, чья гибель принесет тебе пользу. И видеть врага — отнюдь не исключительная прерогатива мужчин. Но вот садизм — это садизм, форма нравственно-философского протеста. Способность возмущаться природой вещей, червь недовольства, вдохновлявшего мужчин на такие праздники пыток, лежит мертвым грузом в сердцах дочерей милой, послушной Евы. Женщина может впасть в ярость от разочарования или сплести со зла сети, но не ликует, демонстрируя всему свету наслаждение болью.

С этими мыслями, вернее, с конспективным повторением их, поскольку я думал над этими вопросами прежде и даже затрагивал их в своем семинаре, богохульственно зачитывая соответствующие места из Вийона, Рабле, Сада, Верлена, Батайя и других (французский язык не является обязательным, но знать его желательно), я вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. Любовная похвальба Текса и Марджори была замазана краской, которую в свою очередь покрыла настенная живопись, причем такая искусная, что я ничего не мог разобрать. Размашистая подпись или надпись была выполнена то ли тайскими, то ли японскими иероглифами. Остановившись, я прислушался — не крадется ли кто-нибудь, чтобы завладеть моим бумажником, но ничего не услышал. На третьем этаже ко мне пришло полное осознание причины и цели моего визита. Я похолодел, снова вернулось состояние столбняка, когда непомерно тяжел груз жизни. О эти женщины-домохозяйки — расплывшиеся, пропахшие кухней. Сколько я повидал таких и успешно ускользал от них. Зачем же сейчас я сам нарываюсь на приключения, на беду!

Пустым коридором я прошел к двери с полустершимся номером 311 и негромко постучал, надеясь, что никто не отзовется. Но Верна в своем махровом халате тут же распахнула дверь, да так широко, что ударила ею себя. Жалобно звякнула цепочка. Лицо у нее было распухшее, со следами слез, с краешков глаз тянулись вниз полоски туши, напоминая японскую маску. Крашеные волосы отросли на дюйм-два, и под химией показались каштановые корешки. Она церемонно отступила, пропуская меня, но эта вежливость никак не вязалась ни с ее растерзанным видом, ни с полным кавардаком в комнате. Все вещи, казалось, сдвинулись со своих мест, и их наспех поставили обратно. Даже окно было не там, где следовало.

Несмотря на свое плачевное состояние, Верна помнила: самая лучшая защита — это нападение. Первые ее слова были:

— Долго же ты добирался, дядечка!

— Искал, куда поставить машину, — сказал я. — Где ребенок? — Меня удивил мой собственный, спокойный как никогда голос. Верна давно запугала меня своим бескостным, беспутным, бросающимся в глаза телом, зато сейчас я был на коне.

Она уронила голову и тусклым голосом отозвалась:

— Там.

Я раздвинул бордовую занавеску и первым вошел в полутемную комнатенку, где стояла детская кроватка, а на полу был расстелен футон с незаправленной постелью. Меня обдало сладковатым запашком самки. У двери в ванную, тоже на полу, стоял кассетник. Выключенный. В тишину просачивались звуки из соседних квартир: ритмы регги, вест-индского рока, шум спускаемой воды в туалете, ленивая перебранка, скорее всего из телевизора. Пола лежала неподвижно, в полумраке белел подгузник. Влажные немигающие глаза остановились на большом белом лице, склонившемся над ней, но взгляд был рассеянный, девочка прислушивалась к тому, что происходит внутри ее.

— Папа плёхой, — сказала она и улыбнулась, приподняв верхнюю губу и приоткрыв два зубика. Под глазом у нее был синяк.

— А это откуда?..

— Я ее стукнула, — буркнула Верна, стоявшая рядом (сквозь одежду я чувствовал ее горячую кожу). — Я ей одно говорю, а она наоборот делает. И весь день так. Говорю: «Собери игрушки в корзину», она их на пол вываливает. Я надела ей ботиночки, чтобы выйти погулять, а она сняла их и забросила за кровать. За ужином кормлю ее, а она наберет каши полный рот и выплевывает да еще смеется. Вся перепачкалась, паскуда. — Чувствовалось, что пункты обвинения хорошо подготовлены, словно накануне суда, который должен решить судьбу малышки. — А после засыпать не хотела! Я и так, и эдак, а она ни в какую... — Голос у Верны сорвался.

Обе ручонки у Полы были безвольно вытянуты вдоль туловища, на голом матрасике одна нога была согнута, будто у плясуна перед тем, как выделать антраша.

— Маленькая сучка... — продолжала Верна. За стеной раздался взрыв смеха, явно сфабрикованного, телевизионного — такой по ошибке не примешь за настоящий. — Читала ей сказку про Пряничного человечка, есть у меня пара книжек из «Золотой библиотеки», — я терпеть не могла, когда мамка читала мне про то, как его начали есть, отламывали по кусочку и ели, и про то, как он убег. Скукота жуткая. — Она глубоко вздохнула, и я словно почувствовал объем ее легких и мощь ее тела, тела амазонки. — Ну вот, уложила я ее, значит, вижу — уснула, и потихоньку в ванну. Потом выхожу, а она уже стоит, подлая, в кроватке, выкинула из нее своего медвежонка и Пилли и Блэнки тоже. Даже прорезиненную подстилку из-под себя вытащила — откуда только сила берется?! Тут я ее и стукнула разок-другой. Она такой дикий рев подняла, мне аж стыдно сделалось. Беру ее на руки, иду в другую комнату, успокаиваю, а сама вся голая и не просохла после ванны.

Даже в этом печальном повествовании Верна не могла обойтись без пикантных подробностей, чтобы поддразнить меня.

— Почему ты вдруг решила принять ванну?

— Что, человеку нельзя и ванну принять?

— Человеку — можно. Но ты, похоже, собралась смыться, как только Пола уснет. Она не засыпала, вот ты и разозлилась. Ребенок в кровать, а ты за дверь. Подозреваю, ты частенько так делаешь.

Пола в кроватке замерла, устремив куда-то невидящий взгляд — как у человека, который воткнул себе в уши проводки от кассетника.

— И ничего я не разозлилась, дядечка. Была как самая образцовая. Мать года. Но она все ревет и ревет. Никак не заткнется, а времени все больше и больше...

— У тебя было назначено свидание.

— Да, назначено, ну и что? Тоже умник нашелся. Или прикажешь целомудренный пояс одеть?

Я тяжело вздохнул. Меня охватила неимоверная усталость от этой суматошной женщины-недоросля, ото всей бесплодной круговерти, которую мы называем жизнью.

— Почему ты бросила трубку? — спросил я.

— Когда?

— Когда позвонила нам. Я сказал, чтобы ты подождала минутку, но, вернувшись, услышал в трубке только короткие гудки.

— Мне не понравилось, что ты пошел советоваться со своей женой, этой задавакой. Не люблю, когда меня обсуждают, и вообще... Знаю я, чем вы там занимаетесь.

Я опять вздохнул. Пола пошевелилась, подвигала здоровой ногой, словно ждала, когда же я выключу музыку, которую она слышала в себе.

Я пошел в другую комнату. Верна — за мной, щурясь от яркого света.

— Когда ты заметила, что Пола не может ходить?

Верна выпрямилась, выпятила грудь под халатом.

— Когда спустила ее с колен, и она стукнулась о шкаф. Ну тот, который я купила, когда вы с недоделанным Дейлом втравили меня в эту затею с долбаным аттестатом. — Она ткнула пальцем в шкаф, как бы обвиняя его в случившемся.

От жалости к себе у нее потекли слезы.

— Я по-доброму с ней, с этой малолетней сучкой, целый день терпела, веришь? И вдруг она опрокидывает мою рюмку, всю акварель залила, а я ее уже кончала. Что делать? Сажаю ее на стол, чтобы все просохло...

— Не могу себе представить, — сказал я. — Ты что, пила?

— Ага, в ванну бутылку взяла. Хлебнула чуток, чтобы взбодриться. Образцовая мама всегда должна быть в форме, правда? Вы ведь этого от меня ждете, умники?

— Не уверен, что мы этого ждем. Просто хотим, чтобы ты показала себя с лучшей стороны.

— Рассказывай.

— Тогда Пола и не смогла пойти?

Верна кивнула. Слезы ее так же быстро высохли, как и потекли.

— Она как-то чуднó упала. Ударилась о шкаф и упала. Упала и лежит, вопит, как бы от испуга. Похоже, что вправду испугалась. Поднимаю ее на руки, держу, а она орет и орет. Ставлю ее на ноги, она захромала и опять брякнулась на пол. Тогда я...

— Тогда ты — что?

— Еще разок стукнула... Дядечка, я старалась сдержаться, так старалась... качала ее на руках и напевала, а сама-то голая, только что из ванны. С черномазыми всегда так. Чуть-чуть расслабишься, а он пользуется, вытаскивает из штанов свою штуковину, или проливает твою выпивку, или еще что-нибудь в этом роде. Что угодно — лишь бы показать, что ты грязная белая шлюха. А я так старалась, когда рисовала эту акварель, и так хорошо у меня получалось, и вот на тебе — вся работа насмарку. И не только акварель, а вообще все насмарку! И еще, если хочешь знать, дядечка...

— Ну что еще? — Сердце колотилось, как после крутой лестницы, колотилось с того момента, когда ее звонок застиг меня погруженным в Тиллиха.

— Это было здорово! Лучше не бывает. Садануть ее последний разок, когда она на полу валялась. Черномазая бедняжка, еще двух годков нет, а я ее изо всей силы. Правда, здорово.

— Куда уж здоровее, — проворчал я, не зная, то ли Верна разыгрывает пьяную комедию и ждет, как я отреагирую, то ли вся она тут, скрывшаяся за пустым взглядом янтарных глаз, устремленных куда-то вне меня.

— Потом Пола сама залезла в кроватку?

— Зачем сама? Я ее уложила.

— Плакала, когда ты взяла ее на руки?

— Я же говорю, всю дорогу выла, и громко так. Даже в пол стучали и из-за стенки кричали. А одна, из другого конца коридора, разоралась: полицию позову! Она всегда так, чуть что — полицию позову. Пьянь старая!

— Может, у Полы разрыв связок или даже перелом — по ней ничего не было видно?

Испуганные глаза Верны остановились на мне.

— Господи, ты взаправду думаешь, что я что-нибудь у нее повредила?

— А ты думаешь, нет?

Услышав, что мы разговариваем, Пола зафыркала, заверещала — негромко, словно бы нехотя, как мотор, который не заводится, чихает, потому что у него сели аккумуляторы. Мы оба прошли к девочке. Я дотронулся до нее, начал осторожно ощупывать. Почувствовал чудесную шелковистость младенческой кожи. Под моими легкими прикосновениями Пола умолкла, пока я не дошел до ее левой ноги. Она вскрикнула от боли и обиды, в глазах было удивление и негодование. Они утратили свою глубокую синеву. Отцовские гены поработали на славу: раздувшиеся ноздри, толстые губы, квадратные уши, плотно прилегающие к голове.

— Вероятно, трещинка в ноге, — предположил я, — или просто растяжение. — Смещения кости как будто нет.

— О Господи! — снова простонала Верна.

— Скажи спасибо, что не задеты внутренние органы. Порви ты ей селезенку, девочка могла умереть от потери крови. В животе, кажется, болей нет. Но все равно надо везти ее в больницу. Дай мне два одеяла — ее, которое на полу, и свое. — В голове у меня была удивительная ясность, которая приходит с усталостью. Верна не поспешила выполнять мое распоряжение — она бросилась в ванну.

— И вымой лицо! Вымазалась, как клоун! — крикнул я ей вслед. Верну тошнило. Я давно заметил, что женщин рвет негромко, как будто это непонятное отправление организма более естественно по сравнению с мужчинами. Я начал заворачивать Полу.

— Знаю, знаю, что больно, — приговаривал я, — но я потихонечку-полегонечку. Мы поедем, мы поедем на машине, на машине. — Это присловье пришло ко мне из тех далеких дней, когда Ричи был маленький.

Пола задумчиво глядела на меня из одеял.

— Иди домой, — отчетливо, как команду произнесла она.

— Пойду. Скоро пойду, вот только... — Я подумал, не стоит ли посмотреть ее подгузник. Снаружи-то он был сухой, но эти новые штуковины из искусственного волокна не промокают.

Подошла Верна. Лицо она вымыла, почти прошла бледность.

— До чего же тошно было. Но сейчас, кажется, лучше, хоть что-то соображаю... Ну и кашу я заварила, господи! Меня в психушку надо.

— Одевайся, — сказал я, — и посмотри, не нужно ли поменять пеленки у Полы.

Я вышел в другую комнату, прибрал разбросанные вещи, постоял у окна, глядя на огни большого города. Пола в другой комнате хныкала. Верна напевала ей: «Всю ночь до утра...» Наконец они собрались. Пола была завернута в одеяла, на голове — гималайская шапочка с ушами. Верна надела черную блузку с низким вырезом, широкую юбку из шотландки и яркую мексиканскую шаль. Ее наряд показался мне неподходящим, но я смолчал.

Клиник и больниц у нас в городе великое множество. Они расползаются, захватывая квартал за кварталом. Создается впечатление, что искусство врачевания само стало раковой опухолью. Лучше всего я знал больницу, где в девятилетнем возрасте Ричи сделали операцию по поводу аппендицита и куда я возил Эстер с какими-то гинекологическими осложнениями. Находилась она на другом берегу реки, как раз напротив нашего района, и представляла собой комплекс небоскребов, среди которых, как пасхальное яйцо, спряталось самое первое гранитное здание храма медицины с луковичным куполом, покрытым патиной. Приемный покой был расположен в новой дугообразной пристройке, названной именем первой жены местного магната — производителя высоких технологий, — она скончалась совсем молодой. По широкому бетонному пандусу я подъехал к дверям.

Помещение было залито ярким светом. Забыв о больной ноге, Пола нетерпеливо ворочалась в одеялах у меня на коленях, пока Верна была занята в регистратуре. Знакомство с системой социального обеспечения научило ее смелости в отстаивании своих прав. Когда мы проезжали старый мост, у нее, мучимой сознанием вины и страхом, снова полились слезы. Потеки на щеках поблескивали в бледном свете пробегающих мимо фонарей. Слезы должны были бы послужить смазкой механизма приема ребенка в больницу, но бюрократов женского пола, заступивших на дежурство в ночную смену, они не тронули. Бюрократы привыкли к людскому горю. Больше того: сами не особо зажиточные, они презирали действительно бедных, немощных людей, не представляющих ценности для общества. Ночь только-только наступала, однако низшие слои уже прислали в больницу первых «делегатов»: юного хулигана с зимним загаром и выбитым зубом, бормочущую бомжиху с рассеченным лбом, семью гаитян, сгрудившуюся вокруг травмированного родича. Все терпеливо ждали очереди. Мне пришлось представиться и выложить кредитные карточки, прежде чем закрутились тяжелые маховики приемного механизма и появились люди в белых халатах.

Полу выпростали из одеял. Когда снимали ее беленькое с голубыми мишками пушистое одеяльце, она взвизгнула: «Бланки!», и одеяльце оставили при ней. Ребенка уложили на каталку с резиновыми шинами и повезли в больничные дебри, где врачи осмотрели ее и просветили рентгеном. Над ней проделывали что-то новое, непонятное, а она не спускала с матери своих темных живых глазищ. Рядом с ней Верна казалась безвольной и беспомощной, она тянулась за дочерью, как надувной шарик на нитке. Что до меня, то я цепко держал детскую гималайскую шапочку и тяжелое одеяло, принадлежность Верниной квартиры, того душного уединенного уголка, который я так часто посещал в эротических сновидениях.

С нами беседовал молодой врач, низкорослый блондин с маленькими хулиганскими, точно приклеенными усиками, в больших, какие раньше носили летчики, очках с розоватыми стеклами. Говорил он, повернув лицо в три четверти, словно сам с собой.

— Ничего страшного. Небольшая трещина в коленном суставе. Наложим гипсовую повязку — и все... но скажите, как это случилось?

Бледная щелочка рта Верны приоткрылась. Она подняла глаза, придумывая ответ. Я увидел, что со страха она готова сказать правду, и заявил непререкаемым профессорским тоном:

— Девочка просто упала. С качелей на детской площадке.

Врач поглядел на меня, потом на Верну. Подсвеченные стекла его очков отбрасывали розоватый, как разбавленная кровь, отблеск на лоб.

— Лицо девочка ушибла тоже во время падения?

— Ну да, — сдавленным голосом подтвердила Верна. — Перестала держаться за цепочки и упала лицом вперед.

Молодой человек был из тех, кто нерешителен, робок, не способен смотреть правде в глаза, но вместе с тем — упрям, как осел.

— Непохоже, что в нашем случае было падение, — сказал он неуверенно. — Когда ребенок падает с качелей, он чаще всего ломает руки. Кроме того, я не заметил крупинок земли в месте ушиба. Кровоподтек скорее говорит о том, что...

— Лицо мы девочке вымыли, это же очевидно, — прервал я его. — И вообще, что это — допрос? Мы привозим ребенка с травмой, нас заставляют полчаса ждать в регистратуре, а теперь еще и это... Мы где — в больнице или в суде?

— ...скорее говорит о том, что ее ударили, — испуганно моргая, продолжал молодой человек. — Кроме того, обнаружены синяки в области ягодиц. Дело в том, что мы обязаны докладывать обо всех случаях, где имеются признаки жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых. Ужасные вещи приходится наблюдать: детей прижигают сигаретами, распинают — так, что происходит разрыв промежности... Ни за что не поверите, пока сами не увидите. — Потом, помолчав, продолжал другим тоном: — Сэр, вы лично видели, как Полли упала?

— Пола, ее зовут Пола, — резко ответил я, стараясь поправкой выиграть несколько долей секунды, чтобы подыскать нечто более убедительное, чем простое «нет». — Ее мать позвонила мне, как только это случилось.

— Когда это было?

— Я не смотрел на часы.

— Поздновато для прогулки на площадке.

— Какого хрена? Не ваше дело! Я специально укладываю ее поздно, так утром она поспит подольше. — Верна пришла мне на помощь.

Как ни старался я победить в нашем словесном поединке, врач всем своим видом показывал, что разговором не отделаться.

— Странно, что мать не привезла ребенка прямо к нам, — сказал он мне, словно Верны не было рядом. — Или к Святому Станиславу, — эта больница в двух кварталах от ее места жительства, если верить регистрационной карточке. — Сюда уже принесли жалкий синий листок.

— У нее нет машины. Плохо знает район: недавно переехала. — Оба ответа были правильные, хотя можно было ограничиться одним.

Заглянув в карточку, он обратился к Верне:

— Миссис Экелоф...

— Мисс, с вашего позволения, — перебила она его. — Выйду замуж, когда буду готова.

Он посмотрел на нас обоих и без единого слова вышел из кабинета. Через несколько минут возвратился в сопровождении пожилого лысеющего негра с танцующей походкой и суровым выражением лица, которое своим цветом напоминало темный табачный лист. Из нагрудного кармана его белого халата торчал стетоскоп. Молодой врач привел своего начальника. Они негромко посовещались в сторонке, после чего чернокожий подошел ко мне.

— Сэр, кем вы приходитесь этой молодой особе?

— Дядей.

Он улыбнулся.

— А-а, один из тех. Замечательно. — Голос у него был усталый, протяжный — таким голосом под аккомпанемент двенадцатиструнной гитары поют блюз. — Сэр, мы ценим ваше участие, но поскольку при несчастном случае присутствовала только мать, нам очень хотелось бы послушать ее.

— Все было, как говорит дядя, — сказала Верна. — Держись крепче, говорю я ей, а она не слушается. В последнее время она вообще непослушная. Моя работница говорит, это возраст. Двугодки такие ужасные...

— Мы с коллегой задаемся вопросом, не слишком ли мал ребенок, чтобы сажать его на качели. — Тонкими длинными пальцами с красивыми ухоженными ногтями он пощекотал детские пальчики, высунувшиеся из-под Бланки. Его усталые покрасневшие глаза с желтыми воспаленными белками остановились на Верне. Чутье подсказывало ей, что появилась возможность выпутаться.

— Наверное, вы правы, — заговорила она тонким, детским голоском, как если бы ее затолкали в трубу и тащат сквозь нее. — Я больше не буду... не буду сажать ее на качели. Никаких качелей, пока не подрастет.

В глазах пожилого доктора зажегся веселый отеческий огонек.

— Обещаешь?

Ток взаимопонимания пробежал между ними, и Верна устремилась вперед. Она откинула голову, так что горло образовало дугу, и под тонкой тканью блузки приподнялись груди. На глазах у нее снова выступили слезы.

— Обещаю, — выдавила молодая женщина, всхлипнув.

— Потому что малое дитя, — продолжал доктор напевным проповедническим тоном, — это бесценный дар, данный нам свыше, и мы должны оберегать его, разве не так?

Верна кивнула раз, другой.

— Как бы тяжко нам ни было, разве не так?

Верна снова кивнула, будто ее загипнотизировали.

Я и молодой врач наблюдали эту сцену как зачарованные. Но неожиданно доктор нарушил очарование; нахмурившись, он сказал:

— Готовьте ногу.

Тут же появилась сестра и сделала Поле успокаивающий укол, хотя девочка и без того уснула под наши разговоры, уснула просто от усталости, несмотря на трещинку в коленном суставе и последующие злоключения. Закутанное тельце казалось крохотным на длинной каталке. Игла вошла у самого края бумажного подгузника. Укол не разбудил ее. Нам позволили пройти в небольшое, ярко освещенное помещение, где Полу переложили с каталки на операционный стол.

Молодой интерн стал накладывать пропитанную гипсовым раствором марлю на коричневую ножку ребенка. Она словно поглощалась белизной, которая резала глаза, уже привыкшие к холодному голубоватому освещению операционной.

Готовая повязка тянулась от середины голени до середины бедра. Когда молодой доктор колдовал над Полой, та удивленно открыла глаза. Она оглядела всех нас, потом ее взгляд остановился на пожилом докторе. Он протянул ей желтый от табака палец, и девочка схватила его своей пухлой ручонкой.

— Малышка, — сказал он. — Ты у нас замечательно ходишь, верно? А сейчас просто оступилась, да?

Приоткрыв широкую щель между двумя передними зубами, девочка улыбнулась в знак согласия или от удовольствия, что с ней разговаривают.

— Ты ползать не разучилась, малышка?

Вопрос позабавил Полу, она заулыбалась еще шире, у нее даже смешок вырвался.

— Потому как тебе придется немного поползать.

Молодой врач стянул с рук резиновые хирургические перчатки. Короткими пальцами с грязными ногтями Верна крутила завиток на виске. Часы на стене показывали одиннадцать сорок две. Часы были круглые, с белым циферблатом и крупными черными цифрами. Длинная красная секундная стрелка прыгала с деления на деление. Учрежденческая точность часов напомнила мне об Эстер, о ее ста фунтах, ни одним больше, ни одним меньше. Надо бы позвонить ей, но звонок перечеркнул бы короткий промежуток завоеванной мною свободы во время этого ночного приключения, которое, казалось, обещало придать жизни новый смысл.

Верна оправилась от столбняка послушания и, снова войдя в роль матери, спросила:

— А каких-нибудь таблеток на ночь ей не надо, ну вообще — лекарств?

Ответ был спокойный, немного печальный.

— Нам бы хотелось оставить маленькую Полу на ночь в больнице, — сказал доктор. — Разумеется, если мама не возражает.

Верна заморгала, не догадываясь об опасности.

— Зачем? Вы ведь наложили гипс?

— Да, нога зафиксирована, но есть ряд других проблем. Ей хорошо бы побыть под наблюдением врача. Она славно отдохнет у нас, правда, малышка? — тем же тоном обратился он к девочке.

— Вы думаете, что она что-нибудь повредила внутри? Но ничего такого нет, я уверена. И вы тоже, правда? — Она перевела взгляд с пожилого доктора на молодого, потом на сестру.

Сестра была седая женщина, такая же высокая, как Лилиан, и выглядела она такой же неприступной, стерильно-чистой, как и моя первая жена. Верна поняла, что попалась.

— Вы хотите позвать соцработников? — выкрикнула она.

Надо было действовать.

— Я — доктор богословия, преподаю в университете, — сказал я старшему. — Я лично ручаюсь за безопасность ребенка.

Тот устало улыбнулся.

— Не сомневаюсь, профессор, не сомневаюсь. Однако мы видим результаты вашего ручательства. Вам следовало бы проследить за девочкой несколькими часами раньше. — Он добавил более вежливым тоном: — Мы хотим оставить у себя ребенка, чтобы уточнить кое-какие детали.

— На хрена вам эта бестолочь из социальной службы? Ничего они не умеют, их не берут на порядочную работу. Сидят себе в управлении, проедают наши налоги. Вы не посмеете звать их!

— Если мать настаивает... — начал я.

— То нам ничего не остается, кроме как вызвать полицию и представителя управления социальной службы. По нашему мнению, травма нанесена не так, как нам рассказывали.

— Нет, так, — упорствовала Верна. — Все произошло совершенно случайно. Я слегка толкнула ее, и она ударилась об этот поганый шкаф, который меня заставили купить. Сама виновата, дуреха.

О качелях на детской площадке было забыто. Тут же вспомнив об этом, Верна ринулась напролом:

— Вы не имеете права держать ее здесь без моего согласия, подлые вы люди! Я свои права знаю. Хочу быть со своим ребенком, и ребенок хочет быть со мной.

Эдна тоже умела разыгрывать возмущение. Строя из себя настоящую леди, grande dame с окраины, матрону из Шагрен-Фоллз, она распекала неповоротливую прислугу. Умение это она переняла у матери, Вероники, когда та, бог весть какими бабьими штучками уведя моего отца, располнела, повадилась ходить в церковь и посещать кружок по садоводству. Мать просто рождена, чтобы устраивать сцены — так считала Эдна. Умение разыграть возмущение она передала дочери, но теперь оно вылилось в никчемный фарс.

— Дядя плёхой? — послышался голосок с операционного стола. Маленькая Пола уставилась на свою мать. В свете зажженных в помещении ламп радужная оболочка ее глаз сделалась синей, а зрачки — не больше карандашного грифеля. Ротик девочки кривился, вот-вот захнычет. Я выставил вперед указательный палец, она мягко ухватилась за него. Ноготь на нем, к моему неудовольствию, был нечист и неровно подстрижен.

— Пусть остается, Верна, — посоветовал я. — Она в надежных руках.

— Только если они пообещают не звать соцработников. Я и так натерпелась от этих придурков.

Вероятно, «придурки» были призваны смягчить другое выражение — «подлые люди». Никто не проронил ни слова.

Я вздохнул.

— Уверен, они будут делать только то, что на пользу Поле.

— Я все равно ничего не подпишу.

— Ничего подписывать не надо, — сказал пожилой доктор, уставший от всех этих разговоров. — Приходите завтра, примерно в половине десятого утра. Надеюсь, к тому времени мы выясним, что полагается, и дочурка сможет отправиться домой со своей мамочкой.

Верна подумала.

— Вообще-то у меня утром занятия по рисованию, и я хотела уточнить кое-что с преподавателем. Что, если я приду около двенадцати?

— Очень любезно с вашей стороны, — ответил тот без тени улыбки. — Меня уже, конечно, не будет, но я предупрежу старшего по смене... Через две недели мы проверим повязку, а через три, максимум четыре недели вообще снимем. В этом возрасте косточки быстро срастаются. — Косточки, но не души — вот что он подразумевал. — Приятно было познакомиться, профессор, — обратился он ко мне. — Всегда восхищался людьми, которые поддерживают в нас веру. У меня у самого папаша был проповедником.

— Это чувствуется, — ответствовал я.

Сестра и молодой врач переложили Полу на каталку. Верна подошла поцеловать дочку на ночь. Она склонила бледное лицо к темному личику ребенка, из-под низкого выреза хлопчатобумажной блузки показались тяжелые груди. Она поправила одеяло у подбородка дочери и нагнулась еще ниже — поцеловать пальцы больной ноги. С того места, где я стоял, было видно, что груди ее вот-вот вывалятся. Интересно, знает она об этом или нет, подумал я.

— Это хорошие дяди и тети, — говорила Верна. — Они уложат тебя в постельку, Пупси. А мама утром тебя заберет. Будь хорошей девочкой.

Острый подбородок Полы сморщился. Она начала плакать. Медики столпились вокруг девочки. Я вывел Верну из операционной. Пока я извилистыми коридорами вел ее к выходу, молодая женщина тоже плакала, и у нее так же морщился подбородок.

Верна продолжала плакать и в машине — то громко, навзрыд, то едва слышно.

— Знаешь, дядечка, — выговорила она с трудом, — когда я нагнулась над ней... мне показалось... показалось, что этот противный гипс... у меня в животе сидит... Я по ее глазам видела, что она не понимает... что за хреновина с нею творится.

— М-м... кое-кто из нас тоже плохо понимал.

— Они хотят отнять ее у меня, правда? Этот старый негр наверняка позвонит в управление... хотя и обещал, что не будет.

— Не слышал, чтобы он обещал. Я слышал только его молчание. Больница вынуждена ограждать себя от обвинений в нарушении закона и от судебных исков. Это он правильно объяснил.

За ветровым стеклом мелькали голубые и желтые огни. Нам пришлось сделать полный круг, чтобы въехать на старый мост с его фонарями в стиле модерн и приземистыми пилонами.

— Эти задницы житья мне не дадут, — продолжала Верна. — Заставят ползать перед ними на брюхе и есть дерьмо, все пятьдесят семь сортов дерьма. А если я откажусь, они... они отнимут у меня моего ребенка! — выкрикнула она, зарываясь лицом в край шали, словно для того, чтобы сдержать рыдания. Еще одна сцена, сказал я себе, но разыграна плоховато. У западных людей вообще октавы на две снизилась страстность. А вот женщины «третьего мира», если судить по телевизионным клипам из Ливии и Эфиопии, по-прежнему способны на душераздирающие нечеловеческие вопли из самой глубины своего существа.

— Не думаю, — вяло сказал я. — Вопросы у них, конечно, будут, но отобрать ребенка у матери — дело трудное, заковыристое. Допустим, отберут, и что будут делать потом? Государство не спешит стать сиротским домом для широких масс. Рейган и его команда призывают к возрождению крепких семей. Это снимет с них груз ответственности.

Верна упивалась своей истерикой.

— Сначала вы заставляете меня избавиться от одного ребенка, теперь хотите отнять другого!

Человек видит в своих фантазиях то, что хочет. Мне подумалось, что Верна не возражала бы сбыть маленькую Полу с рук.

— Если бы ты придерживалась нашего объяснения... — продолжал вразумлять я ее.

— Не нашего, а твоего, дядечка, причем дурацкого.

— Но у тебя не было никакого.

Наши перепалки с Эдной в те жаркие душные недели в Огайо длились иногда целый день. Это ты. — Нет, не я. — А я знаю, что ты. — А я знаю, что ты знаешь, что это не я. Словесные схватки заменяли нам соприкосновения. Мы были слишком зелены, чтобы прижиматься, к тому же брат и сестра.

Верна терла шалью глаза. Только сейчас до нее доходила реальность того, что произошло.

— Маленькая, а такая храбрая, правда, дядечка? Почти не плакала, хотя и люди чужие, и что-то с ней делают.

— Да, она держалась молодцом, — согласился я. Мы уже были в нескольких кварталах от Перспективной улицы, проезжали сквозь бездну ярких огней, которую неделей раньше видел Дейл со своего седьмого этажа. Поскорее бы забросить Верну и — домой. Эстер еще не легла, сидит за бокалом и курит, переходя от раздражения к волнению и обратно. Я знаю Эстер, знаю, как она склонна перебирать и взвешивать вероятности. Любовь проходит, остается привычка. Эстер была моей привычкой.

— Вообще-то Пола послушная, — говорила Верна, переводя дыхание. — Старается быть послушной. Иногда нам так хорошо вдвоем... Музыку слушаем... Я просто вижу, как она, бедная... как она следит за мной... учится быть человеком... Кроме меня, у нее никого нет... А я так одинока... Но это ладно... Но вот она одинока...

Я чувствовал, что ее всхлипывания хорошо продуманы, и сказал резко:

— Пожалуйста, не преувеличивай. Поле совсем не так плохо, как многим другим детям. Во многих отношениях даже лучше.

Слезы у Верны моментально высохли, голос зазвенел:

— Это потому, что у нее богатые родственнички вроде тебя, твоей воображалистой половины и тупоголового сынка... Прости, это я нечаянно. Вообще-то он ничего... На День благодарения уж так старался, так старался угодить новому человечку... И он знает, что вы оба считаете его тупым.

Мне было обидно. Если это правда, то пренеприятнейшая. Но это неправда, не может быть правдой. Мы с Эстер так любим Ричи.

— Как ты не понимаешь, что это еще хуже, — бормотала Верна. — Хуже и для нее, и для меня. Пока не появился ты — в своем моднющем пальто, в перчатках и смешной шляпе, я и горя не знала, кроме как от родителей, от которых мне посчастливилось смыться. Проснешься утром, и ни с того ни с сего запоешь. И Пола пела. Квартирка у нас так себе, знаю, тебе наш дом и вовсе ужасным кажется. Но у меня была нормальная жизнь, особенно если не думать, что есть какая-то другая. Но вдруг приходят какие-то люди и говорят, что это не жизнь, а черт-те что!

Я подъехал к самому ее дому, и тут мне пришла мысль, что оставить Верну одну в унылой опустевшей квартире — бессердечно, бессердечно даже по моим, не очень строгим понятиям.

— А то поедем к нам, переночуешь, — предложил я. — Свободное место есть. Весь третий этаж будет в твоем распоряжении. Эстер еще не спит, уверен.

Втайне я надеялся, что девчонка откажется. Неприятности нынешнего вечера непомерным грузом давили сердце. Шумное выражение горя и растерянное самооправдание Верны напомнили мне, почему я тоже был до смерти рад бежать из Кливленда. У людей из глубинки есть надоедливая неиссякаемая способность копить все в себе: самооправдание, самообман, самовлюбленность, самобичевание. Упражняясь в моральной акробатике, они могли целыми днями копаться в своих душах. В каждой спальне, в каждой кухне незримо таились тени библейских пророков и проповедников, старых, ломающих руки евреев с волосатыми ноздрями, — таких ни за что не приняли бы в загородный клуб, хотя без них не обходится ни одно предприятие, будь то косметическое или космическое. Таково наше пуританское наследие. Каким образом Израиль поймал нас на крючок, напичкал нас чернокнижными ужасами, предсказаниями и проклятиями? Современные его потомки считают их семейной шуткой и живут в свое удовольствие, наслаждаясь скрипичными концертами и занимаясь чистой, безбожной наукой. L'Chaim! Да здравствует жизнь! По сравнению с евреями мы, протестанты, поистине обитаем в домике смерти.

— Нет, дядечка, спасибо, не хочется. Может, ты зайдешь на минутку? — Это было сказано тихо, так что я еле расслышал ее слова в рокоте незаглушенного двигателя.

На растрепанные волосы Верны падал свет фонаря, хотя все равно ее лицо казалось безжизненной маской, из-под которой, как из какого-то провала, доносился слабый хрипловатый голос.

— Ну пожалуйста. Мне сейчас не в дугу оставаться одной. Да и страшно. Знаю, я паршиво себя вела...

От печки шел теплый домашний воздух. Часы на приборном щитке показывали двенадцать восемнадцать. «Поздновато для прогулки на площадке». Поездка в больницу заняла два часа, но могла занять и все три. Рука Провидения проворно вытащила карту из рукава. Впереди, в нескольких шагах со стоянки выехала машина, оставив свободное место.

Я сказал полубранчливо:

— Допустим, я зайду. Почему это улучшит твое паршивое настроение? — Так обращаются к слабому или неуспевающему студенту, который исчерпал свое время, но не хочет уходить — в напрасной надежде, что в присутствии преподавателя произойдет чудо, заменяющее прилежные занятия.

Тон ее изменился. Вместо истерических восклицаний я услышал уверенные, спокойные слова. Учителем стала она. Мы словно ступили на жаркую, выжженную землю, где она одна знала, как жить.

— Ты и сам не против зайти, я знаю, — сказала Верна монотонно. — Сам почувствуешь себя не так паршиво, и мне будет легче.

— Откуда ты взяла, что я себя паршиво чувствую?

— Оттуда. По всему видно, что тебе паршиво. Посмотри на свое хмурое лицо, дядечка, на брови. И как ты все время на руки смотришь. Идем! — В ее голосе зазвучали властные нотки. — Для разнообразия сделай что-нибудь для других.

Казалось, не мои руки и нога подали машину вперед, в свободный промежуток на стоянке, а ее голос.

Дом молчал, будто его покинули. О былом присутствии человека на планете Земля свидетельствовали только голые электрические лампочки, надписи на стенах, стершиеся ступени. В квартире нас встретила пустота и тишина. Отсутствие Полы чувствовалось даже в воздухе комнат, в знакомом запахе, будто от земляного ореха, запахе застоялом, как вода в илистом пруду.

Не обращая на меня внимания, по-старушечьи сгорбившись, Верна скрылась за занавеской. Я слышал, как она отвернула кран в ванной, закрыла дверь, как пошмыгала носом, сдерживая слезы, и все же заплакала. Я стоял в ее маленькой гостиной, глядя на центр города. Меня удивило, что во многих окнах высоток горит свет. Какое безрассудное расточительство. Все тело у меня ныло от ударов, каких я давно не получал.

— Дядечка, ты чего там? Иди сюда, — позвала Верна сдавленным голосом.

— Я думал, ты сама выйдешь, — сказал я, осторожно раздвигая занавеску.

В комнатенке было лишь одно окно, в дальнем кухонном уголке за комодом и небольшим холодильником, и я не мог разглядеть Верну, пока глаза не привыкли к полумраку. Она лежала на своем матраце, на полу, закрывшись одеялом — белело только лицо, — и была похожа на ребенка, который ждет, что его укутают, помолятся и поцелуют. Я присел рядом, громко хрустнули коленные суставы.

— Ты хотя бы малость разделся.

— Да нет, не стоит. Сейчас поеду.

Глаза у меня совсем привыкли, я увидел, что лицо у нее мокрое от слез или от воды. Здесь сильно чувствовалась затхлость, вероятно, от набивки матраца, но она почему-то была приятной.

— Лег бы рядышком, погрел меня.

— Помну рубашку и брюки, — сказал я.

Слова эти были произнесены твердым тоном, каким говорят о недостоверном факте (например, «Пелагий был уроженцем Шотландии»).

— А ты их сними.

Разумно, подумал я, разделся до трусов и носков, лег поверх одеяла и обнял Верну за плечи. Они были как налитые. Дыхание ее отдавало невинностью мяты, свежестью антисептического полоскания. Не то что ее плевки, которые я слышал из другой комнаты, когда смотрел, как падающей звездой спускался самолет. Белки ее глаз уставились в потолок. Немного погодя она сказала:

— Я жуткая говнюшка, правда?

— Не жуткая, — соврал я. — У тебя просто мозги набекрень. Люди так устроены, что в первобытных обществах детей воспитывало племя. Существовала как бы программа воспитания, и все ей следовали. Теперь же нет ни племен, ни программы. Женщине трудно.

— Да, но другие бабы таких скандалов не устраивают.

— Кому судить, скандал это или нет? — Когда я ради Эстер бросил первую жену, казалось, будто разыгрался скандал. Но все обошлось как нельзя лучше. — В глазах Божиих... согласно Библии, — поправился я, — то, что кажется скандалом, неурядицей, горем, может быть правильным и хорошим. Гладенькие да чистенькие — пропащие души.

— Люблю, когда ты рассуждаешь о Боге.

— Давно уже бросил рассуждать.

— Из-за Эстер?

— Эстер была следствием, а не причиной.

— Ты просто говоришь о вещах, от которых ум за разум заходит.

— Да, меня считали хорошим проповедником. Посей сомнения, потом утешь. Люди понятия не имеют, что они слышат. Им просто приятна музыка слов. Мажор, минор, снова мажор и под конец: «Да благословит и сохранит вас Господь», после чего все отправляются друг к другу в гости выпить-закусить.

Верна прикрыла глаза.

— Вот это жизнь, — проговорила она.

Я переменил тему:

— Жалко, что ты не любишь Эстер.

— Ничего тебе не жалко, — отрезала она.

Я снова переменил тему:

— Знаешь, мне что-то холодновато.

— А ты хитрющий, дядечка. Залезай под одеяло.

— Нет, ты и так меня перевозбудила. И вообще, мне надо домой.

— Перевозбудила? — Она словно проснулась, вышла из оцепенения. — Это ты меня перевозбудил. Давай снимай свои боксерские трусы. Трахни меня.

— Боюсь, — признался я.

— Чего боишься, малыш?

— Подцепить что-нибудь венерическое. Столько новых болезней появилось с тех пор, как я был мальчишкой...

— Ну и ну! Я думала, ты шутишь. Считаешь, мы все от СПИДа перемрем? Лично я в этом уверена.

— Если не от СПИДа, то от чего-нибудь другого.

— Нет проблемы. Тогда просто пососу тебя. Или как это по-ученому — феллацио?

Верна, конечно, не знала, что глагол «сосать», который изначально — неточно и неприятно — применяли, говоря о музыкальных духовых инструментах в отличие от теперешнего неприличного значения, в этимологическом отношении сродни латинскому flaure и греческому фаллос. Я обнаружил это еще в семинарии, когда эти древние полумертвые языки дали первые ростки в пустыне моего невежества, и был заворожен сходством. Верна выпростала из-под одеяла руки и принялась неуклюже стаскивать с меня несчастные трусы. Ее тяжелые полушария перекатывались на грудной клетке. Забила обеими крыльями птица двусмысленности положения, все мое существо сладостно затрепетало. Не «или-или», не «одно из...», но «и то и другое», «оба» — таков непреложный принцип, заложенный в природе вещей.

— Неправильно это... — пробормотал я, чувствуя, как размякли одни части моего тела и напряглись, отвердели другие.

— Мне это ничего не стоит, — успокоила меня моя юная соблазнительница, — а тебе будет хорошо. Ты хотел трахнуть мою мамку, я знаю. Теперь меня трахни. У меня лоханка лучше. Она мне в подметки не годится.

— Откуда тебе это известно?

— Время такое. Секс — движение вперед. Давай, не тяни резину. Дай и мне сегодня что-нибудь хорошее для других сделать. А то совсем потеряю к себе уважение.

— Надо, чтобы и ты этого хотела, — сказал я резко. Ее руки перестали терзать мое стареющее тело. Черты лица расплывались в полумраке.

— Хочу я, хочу, — пролепетала она.

Может быть, я вынудил ее к этому признанию? Но Вселенная так несовершенна во многих отношениях, что сомнение улетучилось. Что и как было потом, запомнилось мне хуже, чем картины измены моей жены-акробатки с Дейлом. В теплой темноте под одеялом мне припомнилась, почувствовалась атмосфера детских игр на чердаке, или это был запах от набивки матраца, или же — от моей пятидесятитрехлетней плоти, потеющей в предвкушении удовольствия. Мягкое, податливое тело Верны, ее гладкая кожа. В памяти отложилось ощущение, будто меня подняло на гребень волны и развернуло, словно свиток, ощущение чего-то такого, что напоминает, как вкладывают листки письма в плотный конверт. Ее влагалище — рискну в интересах истины оскорбить чью-то скромность — оказалось по-девичьи узким и сухим, словно Верна отдалась по рассеянности, а приглашение лечь было пустой формальностью. Когда я входил в нее, мне вспомнилась резиновая вагина, куда я, подогретый картинками в «Училке, которая слаба на передок», сбрасывал в прошлой жизни излишки спермы. Видно, многовато сбросил, и у Лилиан не хватало женского начала — отсюда наша бездетность.

Я кончил и, покряхтывая, сполз с племянницы. Мы лежали рядышком на твердом полу бездуховности, партнеры по кровосмесительству, супружеской измене и нанесению морального ущерба ребенку. Нам обоим хотелось поскорее избавиться друг от друга и уничтожить следы содеянного, но наперекор желанию мы все еще прижимались друг к другу под потолком, утешаясь мыслью, что ниже нам падать — некуда. Я лежал с Верной, уставившись глазами вверх, и понимал, сколько величия в том, что мы продолжаем любить и почитать Господа, хотя он и наносит нам порой тяжелые удары, и сколько величия в его молчании, позволяющем нам насладиться человеческой свободой. Вот оно, мое доказательство существования Всевышнего. Потолок уходил все дальше ввысь, и я видел, как безмерна наша низость. Великое падение предполагает великие высоты. Неопровержимая несомненность переполнила мое существо.

— Да благословит тебя Бог, — это все, что я мог сказать.

— А ты еще ничего, старый пердун, — ответила Верна комплиментом.

— Как насчет твоего самоуважения?

— Вроде получше.

— Теперь уснешь?

— Ага. Вся как выжатый лимон.

Я стал одеваться. Ее детская беспечность обеспокоила меня.

— Ты не боишься, что заведешь еще одного ребенка? Поди подмойся или помажься каким-нибудь противозачаточным средством.

— Не бойся, дядечка. У меня как раз это дело было пару дней назад. И вообще — могу и аборт сделать, как ты меня научил.

Дразнит меня вероятной беременностью, подумал я. Ну что же, ее право.

Я вышел из квартиры. Коридор был освещен ярко, словно всем своим пустынным пространством и запертыми дверями подслушивал, что происходит внутри.

Поразительно, как мало времени требуется, чтобы перепихнуться. Стрелки моей «омеги» стояли на циферблате почти вертикально: пять минут первого. Облегчившись, я шустро сбежал по грохочущим ступеням, сел в машину, обесцвеченную сернистым светом фонаря, и тронулся.

Даже в этот поздний час бульвар Самнера не обезлюдел, у подъездов маячили отдельные фигуры — узкие, вытянутые, как на холстах Джакометти; попадались и автомобили. Сам бульвар расстилался широко, величественно и был похож на пшеничное поле ночью. Светофоры работали в мигающем режиме. Приняв за таксиста, пытался остановить меня какой-то пьянчуга. Раздались нежные переливчатые звуки экзерсиса Скарлатти, исполняемого на клавесине, — то вещало университетское радио. Люблю такую музыку, тихую, на грани слышимости. Давай, Скарлатти, давай! От Вагнера и Брамса, как от самой реальности, я гнусь до земли.

Светящиеся стрелки моей «омеги» вытянулись в одну линию: пять минут второго. Я протопал по ступенькам крыльца и предстал перед Эстер. Она еще не ложилась, как я и думал. Лицо было отекшее, зрачки блуждающих зеленых глаз расширились. Непокорные волосы аккуратно уложены.

— Я уже начала беспокоиться, — сказала она, и я понял: хотя мое присутствие не доставляет ей особого удовольствия, однако отсутствие причиняет боль.

Я подробно рассказал о событиях вечера, умолчав о последних тридцати пяти минутах, проведенных у Верны. Просто приписал их бюрократической волоките в больнице и собственно лечебной процедуре.

— Значит, бедняжку Полу оставили в больнице ради ее же блага и против воли матери?

— Можно сказать и так.

— А Верна — как она реагировала? Я бы с ума сошла. Любая мать сошла бы с ума — и хорошая, и плохая.

— Она плакала, — сказал я осторожно. Опущенная часть вечера зияла подо мной, как тигровая западня, едва прикрытая пальмовыми листьями. — Она рассчитывает, что возьмет ребенка утром и все пойдет по-прежнему. Но по-моему, что было, то и будет.

Эстер слушала вполуха, хотя не отрываясь смотрела на меня.

— Ну что, состоялось? — вдруг спросила она.

— Что состоялось?

— То, что возникло между тобой и Верной прошлой осенью, когда ты первый раз решил навестить ее. Это так не похоже на тебя, Родж, — играть роль доброго дядюшки. Ты же терпеть не можешь своих кливлендских родственничков. Ты ведь с Лилиан разошелся, потому что она напоминала тебе о них. Во всяком случае, так ты говорил.

Она догадывалась, что я лгу, и догадка делала из меня вечного лгуна.

— Это все окаянный Дейл Колер виноват, — ринулся я в контратаку. — Это он с постной миной уговорил меня попытаться помочь Верне. Все они такие, святоши, суют нос не свои дела.

— Не увиливай, знаю за тобой такую привычку. Мы не о Дейле говорим, а о Верне. Ты подвез ее к дому — и все?

— Собственно говоря, — начал я, надеясь, что лицо, тонкокожий наш предатель, меня не выдаст, — я предложил ей переночевать у нас. На третьем этаже.

Глаза Эстер сузились, губы вытянулись в тонкую линию.

— На третьем этаже у нас ничего нет. Только мои старые картины.

— Тебе стоит снова взяться за кисть. Совсем разленилась... Помнишь те большие смелые абстракции, которые ты писала прошлым летом? Они мне по-настоящему нравились. Верна тоже берет уроки живописи. Утром у нее очередное занятие, поэтому она и не поехала к нам. В итоге, — протянул я, выдохшись, — подбросил ее и уехал.

— И даже не проводил? Отпустил одну? Там же ужасное место.

— Малыш, — откуда я взял этого «малыша»? — это же ее дом, она там белая принцесса. Как рыба в воде, как братец Кролик среди морковных грядок. — «Даже я, — мысленно продолжил я, — начинаю чувствовать себя там как дома. Как всякая экологическая ниша, ее жилье более удобно, чем видится поначалу». Поверив, что выпутаюсь, я нахально гнул свое: — А что до третьего этажа, у нас там, кажется, старый матрац валялся. Она бы не возражала.

Глаза у Эстер засверкали. Бог весть, что она думала.

— Я не желаю видеть эту гулящую девку в своем доме! И на Ричи она оказывает дурное влияние.

Эстер круто повернулась, и мне открылся мой любимый вид — божественный вид женщины сзади.

Я отправился в свой кабинет. Там я вернул бедного Тиллиха, еще одного глупца, верившего в любовь, в более достойное положение; он лежал лицом книзу на подлокотнике кресла под торшером, который я, уезжая, не погасил. У каждого из нас с Эстер своя территория, и отчуждение таково, что жена не потрудилась навести порядок в библиотеке. Поскольку могла пройти целая вечность, прежде чем мне доведется снова раскрыть томик Тиллиха, я заглянул в последние, заключительные страницы, испещренные курсивом. «Спасение европейского общества от возврата в состояние варварства лежит в социализме». Написано в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, а я только что научился ходить. Подобно многим другим данное высказывание Тиллиха верно и неверно. Снова настала эпоха варварства, и кое-кто называет это социализмом.

В постели тонкие цепкие руки Эстер нащупали мое причинное место, дабы проверить и испытать меня. Я давно не испытывал такого сильного влечения к ней, но, не доверяя своему пожившему телу, прикинулся спящим, а вскоре погрузился в тяжелое забытье: снились мне изувеченные детские тельца, разложенные на гладкой поверхности под слепящим светом.

# 

# Часть V

## 

## 1

Традиции в стабильном обществе постоянно множатся. У нас с Эстер тоже вошло в обычай на второй неделе мая, когда кончаются классные занятия и близится менее трудоемкий период приема экзаменов, устраивать грандиозную вечеринку с коктейлями. Эстер настояла на том, чтобы пригласить Дейла. Я не заикнулся о приглашении Верны. Она не вписывалась в академический круг, даже среднюю школу не окончила, несмотря на мое чуткое руководство и отеческие советы, и в нашей блестящей компании чувствовала бы себя не в своей тарелке. Ее поведение в День благодарения не отличалось особым благоразумием. Теперь же нам надо было хранить нашу маленькую тайну.

Отвезя бедную Полу с поврежденной ногой в больницу, мы погрузились в бездну отчаяния, и с тех пор наши контакты носили поверхностный характер и проходили под нависающей над нами тенью управления социальной службы. На следующее же утро медики доложили туда о странной трещине у маленькой пациентки, и когда прилежная ученица некоего живописца явилась в больницу забрать своего ребенка — это было ближе к двум вместо обещанного полудня, — то обнаружила там свою «работницу», тучную негритянку, смекалистую и сердитую, по отзыву ее подопечной, которая была вне себя оттого, что пропустила свой ленч, тогда как Верна бездельничала. Увидев, что дочку не отдают, она запаниковала и попыталась прикрыться моим уважаемым именем, за что я ей отнюдь не признателен. Подо мной разверзлась топь, где сосуществовали и соединялись власть и нищета. Переспишь с кем-нибудь ненароком, и все — коготок увяз. Сразу же образуется кошмарная куча обязательств.

Эстер — да благословит ее Господь! — вызвалась сопровождать меня, когда я отправился на неприятный разговор в большущее здание городского совета, расположенное наискосок от магазина сладостей для взрослых. Именно она, и никто иной, решительным и авторитетным тоном предложила компромисс двум исполнителям воли государства всеобщего благосостояния: социальной работнице Верны, полной, но плотной чернокожей даме в полуочках в рубиновой и позолоченной оправе на бархатных шнурках вместо дужек, которые царственно свисали с ушей, и раздражительному сухопарому мужчине с землистой кожей, напоминающей испачканную копиркой бумагу. Он информировал нас, что в управление поступила из больницы форма 51А и дело не может быть оставлено без последствий.

Одно время Эстер работала у адвоката, а юристы, как известно, наряду с социальными работниками и священнослужителями обитают в том промежуточном пространстве, где вольнолюбивая природа личности сталкивается с расшатанной дисциплиной общества. Правление, от лица которого действовала социальная работница Верны, подобно тому, как Никейский собор, от лица которого действовал в то далекое и неспокойное время босоногий деревенский проповедник-выпивоха, рекомендовало Верне пройти курс психической реабилитации и возвратиться в родительский дом. Эстер заметила, что родители молодой женщины живут за много штатов отсюда и что отец, ревностный христианин, отвернулся от дочери.

Я фыркнул, но никто из присутствующих даже бровью не повел: не понял парадокса. «Кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».

С правовой точки зрения тоже существовало затруднение: никто не мог доказать, что Верна нанесла повреждение своему ребенку, на что позже указала Эстер.

Потерпевшая, Пола, она же — главное вещественное доказательство — сидела на коленях у матери. Нога ее была в гипсе, на котором Верна акварельными красками изобразила вполне реалистичные цветы и стилизованные сердечки. Последние, по всей видимости, и смягчили души работников управления или же твердое обещание со стороны Эстер, что Верна добровольно покажется психиатру. Что до нас с мужем, продолжала она, мы обещаем разделить заботу о Поле с ее матерью. Детский садик, где она работает, de facto уже дает приют ребенку на несколько дней недели, и они готовы брать его на ночь, когда Верна почувствует потребность восстановить душевное равновесие и распорядиться своей жизнью.

Последнее предложение было для всех полной неожиданностью, оно стало как бы золоченой рамой к убогой картине сборища.

В конце концов утомленные социальные работники сочли соображения и заверения Эстер достаточно весомыми, о чем на форме 51А была сделана соответствующая пометка.

Наша общественная система не могла придумать ничего лучшего. Если же Пола опять сломает ногу, государство лишит Верну родительских прав и на казенный счет поместит ребенка в детский дом. Эту угрозу озвучил мужчина. Лицо его с нечистой кожей было на редкость подвижным. Тощим голосом жуя слова о возможной каре, он самодовольно выпячивал нижнюю губу.

Пока шли переговоры, я старался проследить, посмотрят ли Верна и Эстер друг на друга. Нас буквально завораживает химическая реакция, происходящая между двумя женщинами, с которыми мы спали. Мы, вероятно, надеялись на некое тайное тройственное соглашение, каковое будет неуклонно соблюдаться всеми заинтересованными сторонами. Несколько раз Эстер, оживленно жестикулируя, потянулась прикоснуться к Верне, как прикоснулись бы ко вторичному вещественному доказательству, однако я абсолютно точно видел, что касания не было. Пальцы с длинными ногтями застывали в дюйме от плеча Верны, которая в этот момент вся ощетинивалась. Она держала Полу на коленях с упорством упрямца, не дающего, несмотря на немилосердную боль, удалить ноющий зуб. Иногда косящие глаза под короткими ресницами наполнялись розоватыми слезами; слезы стекали по щекам, и она утирала их кулаком. Пола — она была немного светлее социальной работницы Верны — вертелась на коленях у матери, что-то лепетала, подражая нашим строгим лицам, строила уморительные рожицы и похлопывала себя по ноге в том месте, где вместе с гипсом закруглялся стебель неплохо выполненного фиолетового ириса. Уроки живописи, которые брала Верна, для чего-то пригодились.

Так оно и случилось, что иные вечера, и дни, и ночи Пола оставалась с ними на аллее Мелвина, тогда как ее мамаша использовала где-то свое конституционное право на стремление к счастью. Я начинал ревновать ее только после полуночи, в тот час и те недолгие минуты, когда мы, куклы в чьих-то руках, по прошествии времени сделавшиеся еще меньше и ничтожнее, нежданно-негаданно совокупились. У меня под боком мерно похрапывала Эстер, отупевшая от забот о чужом ребенке и вынужденная дышать носом, поскольку нынешним маем была настигнута эпидемией сенной лихорадки. Я вспоминал, как раскинулось в полутьме белое, тяжелеющее, но тугое тело моей племянницы, однако, думая об этом, испытывал скорее страх, нежели желание. Прошло уже две недели, и каждый божий день, утром и вечером, я запирался в ванной и смотрел, не появились ли у меня признаки какого-либо из новейших венерических заболеваний, страх обнаружить которое подавил, так сказать, в зародыше, сексуальную революцию. Ни подозрительного прыщика, слава богу, ни жжения при мочеиспускании, ничего, но все равно я не чувствовал себя в безопасности, и никогда больше не почувствую. И все-таки я заразился, пусть не СПИДом и не каким-нибудь стригущим лишаем. Из богатого особняка, словно парящего в заоблачной академической выси, меня перетащили в закопченный густонаселенный блочный дом, где в нужде и несчастьях ютился разноплеменный бедный люд. Я дважды выбирался из такой среды: первый раз, когда бросил Кливленд, и другой, когда бросил приход. Теперь под моим кровом жили чужая незаконнорожденная девчушка-мулатка, неверная жена и неспособный к обучению сын.

Что сам делаешь ради ублажения плоти своей, то и с тобой делают. Я взял на заметку любопытный психологический факт: несказанную радость, упоение свободой, когда, оставив Верну, я гнал сквозь безлунную мглистую ночь домой и в окнах моей «ауди», как пшеничные колосья в поле, колыхались тени домов и ликующе возносились переливы полузабытого Скарлатти.

Мне пришла мысль, что, испытав чувство покоя post coitum, подле Верны, непоколебимую уверенность в существовании высшего начала и ощущение, что наше соитие — живое тому доказательство, я впал в ересь, подобную той, за которую церковь громогласно предавала анафеме катаров и так называемых братцев фратичелли: мерзостное дело — беспредельно раздвигать границы Божьего всепрощения. Más, más... Не искушай Господа Бога твоего.

## 

## 2

Первым на вечеринку явились Клоссон и его маленькая сухонькая миловидная жена Пруденс с ясными голубыми глазами, но яркими и какими-то тяжелыми зрачками, похожими на эмалированные бусинки, отлитые многолетней приверженностью к здоровой пище, омовениям весенней водой, воинствующему пацифизму и доброте, лишенной каких бы то ни было иллюзий. За ними пришли Вандерльютены, которые придали нашему сборищу наигранное многоцветье рекламы кока-колы на телевидении, и Эд Сни: наш друг в эти дни «выяснял отношения» с миссис Сни и вместо супруги пригласил выпускницу с реденькими льняными кудельками на голове, мечтательным взором и узкими бедрами, специалиста по темным местам в священных книгах, — их отношения давно перестали носить чисто академический характер. Ребекка Абрамс привела возлюбленную, розовощекую приземистую англичанку, которая могла порассказать массу интересного о черепках глиняных сосудов культур Мочика и Наска, а миссис Элликотт — сына от одного из своих многочисленных неудавшихся браков, высокого лысого, постоянно моргающего мужчину средних лет, страдающего тиком, отчего его рот то и дело дергался к уху. На нем был отлично сшитый пиджак, но трудно было отделаться от ощущения, что одевается он не сам, что пуговицы ему застегивали чьи-то чужие руки. Любовница Ребекки, напротив, каждодневно влезала в один и тот же костюм из шотландки, одинаково пригодный для того, чтобы копаться в земле и посещать вечеринки. Шотландка была такой плотности и переплетения, что пробуждала зависть у любого поклонника твида вроде меня.

Я пригласил некоторых своих студентов-выпускников, но никто не мог заподозрить меня в интрижке с Карлисс Хендерсон. Та крутилась около пышноволосой англичанки, выпытывая, верно ли, что в доколумбовых культурах глиняные изделия мастерили, как утверждает патриархальная доктрина, мужчины; лично она была твердо убеждена, что это — дело женских рук. Переступая ногами в низких грязно-коричневых туфлях без каблуков, англичанка радостно заявила, что женщина у инков была попросту тягловой силой. Ей возразила жена долговязого экономиста, большого любителя покрасоваться на телеэкране, прошлой зимой она ездила в Мачу-Пикчу. Супруг боливийской поэтессы, которая была persona non grata для тамошнего правящего режима, имел свой, латиноамериканский взгляд на женский вопрос. Разве в Северной Америке со всеми ее хвалеными правами для женщин сыщутся такие выдающиеся личности, как Ева Перон или Габриела Мистраль?

Так оно и шло. На вечеринке было множество других гостей, которых я не назову в своем рассказе, но каждый из них в силу происхождения, интеллекта или редкой привлекательности претендовал на исключительность. Словом, это был «избранный круг», как выражались в старой доброй Новой Англии.

Я вертелся, точно белка в колесе, встречал гостей, знакомил друг с другом, глупо фыркал от смеха, выслушав глупый анекдот, старался припомнить имена детишек, кошечек, собачек, чтобы поддержать разговор. Цокая каблуками, Эстер то и дело бегала на кухню, где бездельничали две поразительно стеснительные девицы-ирландки, нанятые разносить закуски. Разноголосый разговор в гостиной вдруг взорвался общим кликом возмущения очередной чудовищной ошибкой президента, возложившего цветы на каком-то немецком кладбище. Тут же началось усиленное полоскание персоны Рейгана. И вообще, по глубочайшему, правда, не проверенному практикой убеждению пикейных жилетов с богословского факультета, они управляли бы страной гораздо лучше, чем любой избранный президент. И тем не менее казалось, что все мы заключены в ясной, не засоренной лишними мыслями голове нашего президента, обитаем в каком-то дутом пузыре невероятного объема, который в один прекрасный день может лопнуть, и оставшиеся в живых будут с тоской вспоминать прежнюю американскую жизнь как сущий рай.

Я давно хотел познакомить Дейла с Кригманами. К счастью, они пришли одновременно. Дейл в своем сером костюме при пестром, ярком галстуке, был на редкость длинный, бледный, исхудавший, тогда как все пятеро Кригманов излучали здоровье и благожелательность. В торжественных случаях Майрон и сын всегда придумывают что-нибудь экстравагантное. На прилегающих друг к другу лужайках позади наших домов раньше росли форзиции и магнолии, а теперь кизил и азалии, и старшие Кригманы ради забавы сплели себе на голову венки из веточек розовой азалии. Три их дочери ограничились тем, что воткнули по цветку в свои полупанковые прически. Эти jeunes filles появились на свет в правильном порядке: они были девятнадцати, семнадцати и пятнадцати годов от роду, звали их Флоренс, Мириам и Кора, и имена легко запоминались благодаря созвучию с именами героев из мультиков — Флопси, Мопси и Клопси. Представляя Кригманам Дейла, я сказал ему:

— Обсудите с Майроном ваши теории. Он настоящий ученый, не то что я, и может подбросить вам пару-тройку идей.

— Новые теории? — с живостью откликнулся Кригман. Жадность его до науки была так же велика, как и жажда хорошего вина и хорошей жизни. Благодаря волчьему аппетиту голова и грудь у Кригмана сблизились, крупное смуглое лицо осело в плечи, отвислые подбородки поглотили узел галстука. Три дочки — у каждой свой оттенок узорчатой пастельной блузки и мешковатых коричнево-желтых штанов — окинули Дейла критическими взглядами и поспешили в гостиную. Смотреть и впрямь было не на что. Дейл выглядел ужасно и чувствовал себя ужасно: внутри его точил червь.

— Погодите, приятель, — сказал Дейлу Майрон. — Без бокала в руке теории не воспринимаю.

В гостиной Кригманов встретили театральные объятия Эстер. Глаза Дейла (их холодная голубизна немного потеплела с тех пор, как мы познакомились) устремились поверх моего плеча на его любовницу в роли жены и в нарядном, с оборками платье, но я задержал его в передней у скамьи, заваленной грудой богословских книг, как будто волны потревоженной веры достигли и моего порога.

Я нагнулся к его уху и спросил заботливо-заговорщическим тоном, каким разговаривают с больным:

— Ну и как — движется?

— Простите, вы о чем? — Глаза Дейла потускнели, и, не поворачивая головы, я видел, как в зеркале заднего вида, что Эстер выходит из поля его зрения.

— О вашем проекте, — настойчиво пояснил я.

— А-а... выявляются кое-какие интересные вещи. Правда, я еще не выработал единой методологии... может быть, недельки через две-три, когда у дневной смены кончится аврал...

— К июню от вас ждут что-нибудь весомое, — напомнил я ему, — чтобы продлить грант.

Дейл отвел взгляд от гостиной, где могла появиться Эстер, и глянул мне, своему другу и врагу, прямо в глаза. Я чувствовал, как он напрягся, как старается быть честным.

— Может быть, его и не стоит продлевать, профессор Ламберт. Может быть, вся эта затея мне не под силу...

— Чушь, — возразил я. — Вздор. Вы убедили даже меня, а я с пятнадцатилетнего возраста считаюсь оголтелым физеистом... Кстати, как вам показались кригмановские девицы? Может быть, слишком молоды, но что-то подсказывает мне, что вы любите молоденьких. — То была порядочная пошлятина, но вечеринки развязывают язык, часто и не такое услышишь даже от хороших людей.

— Не успел разглядеть их как следует. Но на первый взгляд довольно стандартны. — И новый прилив откровенности: — И особого желания обсуждать с их папашей мои теории тоже нет. Мне и самому они сейчас кажутся странными...

В его вьющейся каштановой шевелюре, падающей на лоб, вероятно, чтобы скрыть редеющие виски, я с удивлением заметил несколько седых волосков, совсем немного, но тем больше они бросались в глаза.

— Чушь и вздор, — повторил я грубовато-добродушным тоном, как старший и хозяин дома. — У Кригмана светлая голова, он все на лету схватывает.

Бедный Дейл!

Он садится на диванчик. Ему нехорошо. В верхней части желудка, там, где он соединяется с пищеводной трубкой, его точит червь: начинается язва. Он смотрит на Эстер, летающую на каблуках взад-вперед сквозь гул гостиной, его душит ощущение глубокой несправедливости в основе вещей, несправедливости, несовместимой с его внутренним законом, Cesetz. Сегодня моя жена надела не изысканный, игристо-переливчатый зеленый бархат, какой был на ней в День благодарения, а веселенькое, в желтых тонах платьице, с рукавами и подолом, отороченными пышными оборками, и перехваченное пониже пояса, по бедрам, черными полосками, так что издали ее можно было принять за огромного шмеля. Неужели эта быстрая живая женщина, с подчеркнутой серьезностью исполняющая обязанности хозяйки дома, могла лежать, раздетая, на его узкой койке в комнате, где пахнет ношеными кроссовками и соевым соусом? Неужели эти бедра, обернутые в желтое с черным, действительно раздвигались в порывах страсти, открывая темно-розовое отверстие в заднем проходе? И этот накрашенный рот, из которого неумолчно льются любезности, — неужели эти губы засасывали его вспухший, с венозными прожилками член? Нет, это был сон, мрачные видения Босха, запечатленные на потрескавшихся полотнах, бесценные картины ада на стенах музеев с изощренными системами сигнализации. Моего бедного Дейла наполняет яростное чувство собственника, неосуществимое желание вырвать Эстер из сплоченной солидной социальной среды, куда поместил ее я, и продлить на всю оставшуюся жизнь те немногие часы экстаза, которые она так неосторожно подарила ему в силу личных причин, а причины, как и все другое в нашем подлунном мире, отнюдь не неизменны. Те две недели, что Пола частично провела у нас, свиданий на третьем этаже не было. Последний раз любовники расстались, не условившись о следующей встрече. Перед Дейлом разверзлась пустота, существование без Эстер, и сейчас ее взгляды выдают раздражение тем, что он пожирает ее глазами и это может взять на заметку цвет академической науки.

Ричи чувствует в Дейле собрата-сироту и подсаживается к нему за стеклянный столик. С приходом весны из камина выгребли золу, и теперь в его черном зеве стоит ваза с пионами. Несколько лепестков опали и темнеют по краям.

— Что новенького, Ричи? — запинаясь, спрашивает Дейл. — Как успехи в математике?

После пасхальных каникул они не занимались — его любовница подавала знак угасания страсти.

— Провалился на двух последних опросах, — признается подросток, слишком расстроенный, чтобы искать оправдания. — Я думал, что разобрался в этих дурацких основаниях, но, наверное, не очень. Там надо множить одно на другое, а что — не помню. Мама говорит, я не научился как следует читать.

— Читать?

— Ну да... А где же ваша подруга?

— Какая подруга?

— Верна. Которая подбрасывает нам свою девочку. Она мне нравится. С ней весело.

— Весело?

— Папу всю дорогу дразнит. А он и не замечает.

— Она мне вовсе не подруга. Мы с ней просто друзья. Может, потому ее и не пригласили, что дразнит?

— Не-е. Ее мама не любит.

— Не любит мама? — Простое упоминание Эстер заставляет Дейла слегка вздрогнуть. Он чувствует, как каждая клеточка его существа разбухает от любви, она проступает даже на коже, как проступает на экране электронная таблица — слева направо, сверху вниз. — Почему, как ты думаешь?

— Считает, что она дешевка. Даже запрещает мне с ней разговаривать, но я все равно разговариваю, когда она приносит или забирает Полу. Один раз я даже показал ей несколько номеров «Клуба». Она засмеялась и говорит, что эти девчонки на самом деле не такие сексапильные, они просто притворяются. Говорит, это эксплуатация женского тела.

Дейл думает о притворстве вообще и о притворстве женщин. Неужели Эстер притворяется? Нет, это невозможно. Он сгорает от стыда за такое предположение. Ему хочется спрашивать и спрашивать этого мальчика о его матери, о том, как она выглядит по утрам, что ест на завтрак, но он решает, что это тоже будет эксплуатация, и меняет тему:

— Как тебе Пола?

— Настырная, — отвечает мой сын, — уж такая, наверное, уродилась. И цвет лица у нее чудной, тоже, наверное, такой уродилась. Я учу ее всяким штукам — как нажимать пульт дистанционного управления на видеокассетнике, например. Она понятливая.

Дейл гадает, не будет ли Ричи учителем или священником. Математика из него не выйдет, это точно. У паренька есть свои недостатки, зато он добрый. Одни люди умеют обращаться с людьми, другие с вещами, думает Дейл, сам он лучше обращается с вещами, начиная с того игрушечного поезда. Персонификация вещей — такая же большая ошибка, как и овеществление людей. Да, совершена какая-то ошибка.

К ним подходит Эстер. Полоски на ее платье отражаются в глазах у Дейла. Он не осмеливается поднять глаза, он не смотрит на сердито надутую верхнюю губу и точеный, но пообмякший с возрастом подбородок.

— Дорогой, — говорит она по-матерински Ричи, — будь добр, пойди помоги девушкам разнести закуски. Им бы только похихикать. А если цыплячья печенка в беконе остынет, противно будет в руки взять, не то что в рот.

Замечание насчет печенки касается скорее Дейла. Он в надежде поднимает голову. У нее вопрошающий взгляд, как если бы он был непонятной царапиной на слайде.

— Вам, вижу, скучно?

— Нет, что вы! Замечательная вечеринка. Приятно видеть столько людей в доме. — Его ответ звучит напоминанием о тех днях и часах, когда дом был в распоряжении только их двоих, как в распоряжении Адама и Евы была пустыня.

Ее губы складываются в розочку.

— Предпочитаю более тесную компанию, — говорит она светским тоном, но совсем негромко, так, что, кроме него, ее никто не слышит.

Она все еще любит и желает его. Дейл с воодушевлением вскакивает на ноги. Это промах. Ее охватывает легкий испуг от его роста, его размеров, от того, что со стороны они смотрятся как пара.

— Ричи говорит, что снова срезался на опросе. Может быть, ему нужна помощь... А мне наверняка нужны... нужны деньги.

Эстер смущена. Не поворачивая головы, она смотрит, есть ли кто поблизости.

— Не знаю, не знаю... Скоро конец года, стоит ли? Мы с Роджем просто не знаем, что делать с Ричи. Может быть, «День паломника» чересчур академичен для него. Ему не угнаться за развитыми еврейскими детьми, а теперь еще и этими трудолюбивыми восточными подростками. — Она нервно затягивается. Сминает сигарету в серебряной пепельнице, заглядывает в табакерку, но там только крошки, и со стуком захлопывает крышку.

— Ну что ж, дело хозяйское. — В этой блестящей компании он острее ощущает свою беспомощность; она, эта беспомощность — как знак деградации, как лохмотья нищего, испачканные испражнениями. Вот если бы все разделись! Она бы преклонилась перед его восхитительным восставшим пенисом. А он дразнил бы ее им и мучил, мучил без конца. Она раскинется на матраце там, на мансарде, замрет в ожидании, когда он войдет в нее, а он станет тереться членом о ее лицо, о ее губы, заставит целовать его от головки до мошонки, и в самозабвенном сладострастии она будет облизывать его всего и сосать, сосать...

— У вас есть мой телефон, — говорит он. Как надпись к мысленной картине их с Эстер постельных забав, ему приходит мысль, что на праздники любви женщин влечет сознание собственной силы, радость, которую оно приносит, и, продемонстрировав эту силу, они теряют интерес к любовнику и что, принимая гостей, играя роль хозяйки в таком солидном и благопристойном доме, женщина демонстрирует силу другого рода и тоже радуется этому.

— Есть, — коротко бросает Эстер и, поворачиваясь, натыкается на Майрона Кригмана, который подходит к ним с венком на голове и бокалом в руке.

— Ч-черт! Извини, Эс.

— Майрон, ты отлично смотришься.

— Нацепил это, как последний идиот. Все выдумки Сью.

— Бегу на кухню. Там что-то ужасное творится.

— Валяй, милая, валяй... Ну-с, молодой человек, выкладывайте, что там у вас. Какие такие теории.

Дейлу в эту минуту его теории кажутся вздорными и ненужными, как сумбурные реплики, которыми обменивается наша веселая компания. Его возбуждает присутствие Эстер, двусмысленность их разговора. Он по-новому увидел и почувствовал в себе женолюба, то великолепное животное, которое поджидает желанную добычу наверху социальной лестницы, в конце длинных, запутанных, заваленных коридоров общественного устройства, и изумился. Голова у него раскалывается, каждая клетка мозга ноет, как ноют мышцы натруженного тела. Подобно священнику на другом краю земли, раздающему в старых церквах просфоры, он терпеливо излагает доводы: малая вероятность того, что Большой взрыв «сработал», проблемы однородности, гладкости и сжимания-разжимания, исключительная и необходимая четкость постоянных величин у слабых и сильных взаимодействий, не говоря уже о соотношении между силой притяжения и центробежной силой и массой нейтрона — будь она иной хотя бы на несколько десятитысячных долей, Вселенная могла взорваться или рассеяться, была бы недолговечной или абсолютно гомогенной, не содержащей условий для возникновения галактик, звезд, планет, жизни. Человека.

Кригман слушает все это и временами быстро кивает по несколько раз кряду, отчего складки его подбородка вываливаются на галстучный узел и трясутся цветки азалии на венке. Словно для того, чтобы лучше понимать собеседника, он надел большие квадратные трехлинзовые очки в роговой оправе. Его глаза перемещаются вверх-вниз, меняясь в размерах в зависимости от фокусного расстояния каждого стекла. Он прихлебывает из мягкого пластикового стаканчика белое вино («Альмаде на Рейне» $ 8,87 за трехлитровую бутыль на Бутылочном бульваре) и вступает, наконец, какой-то неслышимой другими мелодией из приятного прошлого:

— Да никто не отрицает, что с теорией Большого взрыва масса загвоздок. Остается немало темных мест, которые мы не разгадали и вряд ли разгадаем, если на то пошло. На днях я прочитал, что даже в старейших звездных скоплениях обнаружено присутствие тяжелых металлов. Спрашивается, откуда они взялись, если более ранних скоплений просто не было. Механика элементарных частиц при Большом взрыве такова, что образуется только гелий и водород — верно?

Дейл не знает, ждут ли от него подтверждения. Он чувствует, что много говорить ему не придется.

— Неувязки везде были, есть и будут, — с отеческой грубоватостью продолжает Кригман. — Взять тот же первичный огненный сгусток и прочее или теорию поля. И вообще те первые мгновения, о которых мы говорим, вещи непостижимые. Наши астрофизики что угодно скажут — лишь бы не уронить собственный авторитет.

— Вот именно, — соглашается Дейл.

— Да, но при этом не следует впадать в обскурантизм. Позвольте дать вам домашнее задание — хотите?

Дейл совсем ослаб и кивает, как ребенок, которому говорят, что он болен и необходимо лежать в постели.

— Загляните в «Небо и телескоп», кажется, в одном из летних номеров за прошлый год есть чертовски забавная статейка. Перепечатка из какой-то книги о ротиферах — вы, разумеется, знаете, что такое ротиферы, — это водяные микроорганизмы, у них в передней части имеется венок жгутиков, благодаря которому кажется, что это голова и она поворачивается на триста шестьдесят градусов, хотя на самом деле ничего не поворачивается, как не поворачивается при всей подвижности шеи голова у совы, так вот, там описывается ученый диспут в колонии ротиферов. Бактерии задаются вопросом, почему их лужа такая, а не другая, почему в ней определенная температура, щелочность, содержание метана в грязи и так далее. Чертовски забавно, правда? И вот это самое океаническое философическое общество — кажется, так себя называет это высокое собрание, точно не помню, сами увидите, когда раздобудете журнал, — ученые бактерии приходят к заключению, что, будь их среда обитания малость иной, допустим, вода испарялась бы при меньшем количестве тепла или температура ее замерзания была бы повыше, их жизнь нельзя было бы считать промыслом Божиим, что вся Вселенная того ради и сотворена, чтобы существовала их лужа и они сами! Это примерно то же самое, о чем говорите вы, молодой человек, хотя вы и не относитесь к ротиферам, хе-хе!

Кригман щерится еще шире. Губы у него бесцветные, сливающиеся со смуглотой лица, которая напоминает мышцы на анатомической карте, выполненной сепией. Он подносит стаканчик к этим губам.

— Я полагаю, сэр...

— К той еще матери сэров. Меня зовут Майрон. Не Рон, заметьте, а Майрон.

— Простите, я имею в виду нечто большее. Аналогия с лужей — это все равно что утверждать антропоцентризм на Земле, а не на других планетах, которые, как мы теперь знаем — даже если когда-то сомневались в этом, — непригодны для жизни. В этом смысле — да, мы существуем на Земле, потому что существуем. Но возьмите Вселенную, нашу единственную Вселенную, — почему, скажем, скорость разбегания галактик равна второй космической скорости?

— Кто вам сказал, что существует только одна Вселенная? Их, может быть, миллиарды. Нет никаких логических оснований утверждать, что наблюдаемая нами Вселенная — единственная.

— Да, логических оснований нет, но...

— Будем рассуждать логически — или как? Не вздумайте тыкать меня носом в интуицию, субъективность и прочее, приятель. Я во многих отношениях прагматик до мозга костей. Если вам легче по ночам от того, что луна — это головка сыра, валяйте, верьте...

— Я не...

— Не верите? Вот и ладненько. Я тоже не верю. Камешки, что прихватили наши астронавты, вроде не похожи на сыр. А вот моя дочка Флоренс верит. Ей какой-то психованный панк сказал: когда накачаешься, как я, и не то привидится. Она считает себя тибетской буддисткой, правда, только по будням. Ее сестричка, Мириам, грозится уйти в суфийскую коммуну где-то под Нью-Йорком. На меня это не действует, пусть живут как хотят. А вы, как я понял, просто пудрите мне мозги.

— Я...

— На самом-то деле плевать вы хотели на космогонию. Открою вам один секрет. Я знаю, где ведется интересная работа, стараются объяснить, как из ничего возникло все. Из многих направлений складывается общая картина, отчетливая, как рука у вас перед глазами. — Кригман откидывает голову, словно для того, чтобы получше разглядеть собеседника, и за тремя стеклами его очков растет количество глаз. Он снова говорит — не умолкая и пересыпая свою речь именами, терминами, понятиями: постоянная Планка, пространство-время, вещество-антивещество...

— Как насчет выпить? А то, вижу, вы совсем засохли.

С подноса, который неохотно носит одна из молодых ирландок, он берет очередной пластиковый стаканчик с вином. Дейл мотает головой, отказывается. Всю весну у него пошаливает желудок. Молоко и копченая говядина образуют взрывчатую смесь. Мой дорогой друг и сосед Майрон Кригман делает здоровенный глоток, облизывает улыбающиеся губы и продолжает быстрым скрипучим говорком:

— О'кей! И тем не менее, чтобы выйти на поле Хиггса, с чего-то надо начинать. Но как из ничего сделать почти ничего? Ответ подсказывает геометрия, элементарная геометрия. Вы — математик, поймете. Что нам известно о простейших структурах — кварках? Ну же, пошевелите мозгами, приятель.

От шума в гостиной желудок у Дейла ноет все сильнее. В другом конце комнаты, под сводчатым дверным проемом смеется Эстер, выпуская клубы дыма изо рта. Поднятое ее лицо самодовольно светится.

— Кварки различаются цветом и ароматом, — подбирая слова, говорит Дейл. — Несут положительный или отрицательный электрический заряды, прирастающие в третьем...

— Точно! — восклицает Кригман. — Кварки существует только по три, их нельзя разделить. О чем это, по-вашему, напоминает? Три неотделимые вещи? Соображайте, соображайте!

«Отец, Сын и Святой Дух», — проносится в голове у Дейла, но слова нейдут наружу. Как нейдут фрейдовские ид, эго и суперэго. Или имена трех дочерей Кригмана.

— О трехмерности пространства! — громогласно объявляет его собеседник. — А теперь спросим у себя, что замечательного в трех измерениях? Почему мы не живем в двух, четырех или двадцати четырех измерениях?

Удивительно: Кригман называет эти почти чудесные, почти богооткровенные числа, которые Дейл так старательно обводил красным. Теперь он понимает, — то были иллюзии, волны в вакууме, как и то, о чем распространяется Кригман.

— Не знаете? Тогда я вам скажу... — радостно рокочет «светлая голова». — Требуется именно три измерения, не больше и не меньше, чтобы образовался узел, самозатягивающийся узел, такой, который никогда не развяжется. Элементарные частицы — это не что иное, как узлы в пространстве-времени. Невозможно сделать узел в двух измерениях, потому как нет ни верха, ни низа. Поразительно другое — попробуйте представить — в четырех измерениях можно сделать клубок. Но клубок не узел, он распутается, он не обладает стабильностью, устойчивостью. Вы, ясное дело, хотите спросить — по лицу вижу, — что это за штуковина — устойчивость. Объясняю. Это понятие непременно предполагает протяженность, длительность, то есть время, о'кей? Тут и находится ключ ко всему. Вне времени ничего не существует, и если бы время имело два измерения, а не одно, тоже ничего бы не существовало, поскольку вещи возвращались бы в прежнее состояние, иначе говоря — пропала бы причинная связь. А без причинности не существовала бы и Вселенная, она постоянно совершала бы круговорот. Знаю, это звучит элементарно... Куда вы всё смотрите?

— Нет, я только...

— Если передумали насчет выпить, на Эстер не рассчитывайте. Надо просить ирландских цыпочек.

Дейл краснеет, пытается сосредоточиться на витиеватых объяснениях Кригмана, но чувствует, что сам разматывается, как клубок в четырехмерном пространстве.

— Прошу прощения, как вы сказали — мы от ничего переходим к чему-то?

Кригман похлопывает себя по макушке, поправляет венок.

— Хороший вопрос. Урок геометрии я провел для того, чтобы вы поняли необходимость пространства-времени, а не прибегали к богословским басням. Так уж устроен мир, что меньшее количество измерений пространства не создало бы множества соприкосновений, что является условием образования сколько-нибудь сложных молекул, не говоря уже о клетках мозга. Если же измерений больше четырех, какие мы имеем в пространстве-времени, положение усложняется, но ненамного. Четыре — это то, что необходимо и достаточно, о'кей?

Дейл кивает, думая об Эстер и обо мне, о себе и о Верне. Такие вот соприкосновения.

— Далее, — продолжает Кригман. — Представьте себе пустоту, полнейший вакуум. Однако стойте, в ней что-то есть! Что? Точки, из которых могут сложиться фигуры. Как бы пылевидное облако безразмерных точек. Если же это для вас слишком заковыристо, возьмите набор точек Бореля, которые еще не сложились в нечто, имеющее определенные размеры. Представьте далее, что это облако вращается. Правда, это не настоящее вращение, потому как нет ни близи, ни дали, вообще нет размеров, но все равно некоторые точки вытягиваются в прямые линии и исчезают — ведь их не держит никакая сила. То же самое происходит, если они вдруг случайно... Господи, куда ни кинь, всюду случай, слепой случай... — Кригман с годами понемногу усыхает, начинает горбиться, его подбородки все глубже утопают в его груди, но он вскидывается, как человек, которого шлепнули по затылку. — ...Если они вдруг игрою случая собираются в два измерения, потом три, даже в четыре, где четвертое измерение — не время. Они тоже исчезнут. Вообще ничто не может существовать, пока — даже словечко «пока» обманчиво, оно предполагает длительность, которая пока еще не существует, — пока — раз! — не возникло пространство-время. Три измерения пространства плюс время. Завязывается узел. Проросло семя, из которого разовьется Вселенная. Разовьется из ничего. Из ничего, из голой геометрии. Эта закономерность непреложна, как законы, данные Моисею. Одно семя, одно крошечное горчичное семя, и — бум! Он, Большой взрыв.

— Но... — начинает Дейл. Он поражен не тем, что говорит этот человек, а его пылкостью, светом веры в трехлинзовых очках, однородной смуглостью лица и ниспадающими складками лицевых мускулов, его густыми торчащими, как рог у носорога, бровями. Этот человек полон жизни, ему неведомо бремя существования. Дейла пригибает к земле его цепкий немигающий веселый ироничный взгляд.

— Но... — пытается возразить Дейл, — «узел», «облако точек», «семя» — все это метафоры.

— А что не метафоры? — парирует Кригман. — Все это только тени в пещере, как говорит Платон, и все же нельзя отказываться от разума, иначе получишь на свою голову кого-нибудь вроде Гитлера или приятеля пса Бонзо, который будет здесь всем заправлять. Вы вот спец по компьютерам. Знакомы с двоичной системой счисления. Когда вещество сталкивается с антивеществом, и то и другое исчезает, превращается в энергию. Однако вещество и антивещество существовали, иначе говоря, находились в состоянии, которое мы называем существованием. Или возьмите единицу и минус единицу. При сложении они образуют ноль, ничто, nada, niente — о'кей? Но попробуйте отделить их друг от друга... — Он сует Дейлу стаканчик с вином, складывает вместе ладони, потом поднимает волосатые руки кверху и разводит, показывая разделение. — Улавливаете? — Он сжимает кулаки. — Вот, на месте ничего мы имеем два объекта.

— Да, но в двоичной системе счисления, — возражает Дейл, возвращая хрупкий стаканчик, — альтернативой единицы служит не минус единица, а ноль. В том-то и прелесть.

— О'кей, я понял. Вы хотите спросить, что же это такое — минус единица. Объясняю. Это плюс единица, перемещенная во времени назад. Облако точек рождает время, время рождает облако точек. Красотища, правда? Так и должно быть. Слепой случай плюс чистая математика. И наука день за днем это подтверждает. Астрономия, физика элементарных частиц — все здесь сходится. Хотите расслабиться? Погрузитесь в пространственно-временную массу, не пожалеете.

Кригман шутит. Дейлу он нравится больше, когда играет роль ревностного безбожника. Не видно Эстер, стоявшей недавно в дверях гостиной. Между тем продолжают прибывать приглашенные. Пришла чернокожая Норин Дэвис из канцелярии нашего факультета, та самая, которая улыбчиво выдавала Дейлу бланки семь месяцев назад, пришел ее лысый сослуживец, пришла девица, похожая на Эми Юбенк. Нет, не она, думает Дейл, что-то у меня проблемы со зрением.

— А как насчет происхождения жизни? — спрашивает он, испытывая извращенное удовольствие. — Там вероятность тоже ничтожна. Я имею в виду вероятность возникновения самовоспроизводящих организмов с собственной энергетической системой.

Кригман фыркает, опускает голову, словно устыдившись чего-то. Тело его в замусоленном вельветовом пиджаке с кожаными нашивками на локтях и болтающимися пуговицами как бы обмякает, но быстро выпрямляется, приобретает величественную, почти военную осанку.

— Ну, это по моей части. Все остальное — так, красивые слова. Понятия не имею, что такое набор точек Бореля. Зато я в точности знаю, как зародилась жизнь. По крайней мере вам, неспециалисту, это в новинку будет. Жизнь зародилась в глине. Да-да, в обыкновенной глине. Кристаллические образования в тонких глинах стали опорой, помостами для постройки органических соединений и примитивных форм жизни. Зачаткам жизни пришлось лишь захватить фенотип, возникший в кристаллических глинах, причем наследственность целиком контролировалась ростом и эпитаксией кристаллов, а мутации происходили от их дефектов; кристаллы сохраняют, как вы понимаете, устойчивые структуры, необходимые для накопления информации. Вижу, вижу, вы хотите спросить — где же эволюция? Отвечаю. Представьте себе пористое пространство в какой-нибудь известняковой породе. Сквозь него просачиваются дождевая вода и минеральные растворы. Одни кристаллы — плотные, образуют пробки, не пропускающие влагу. Это плохо. У других рыхлая структура, и их размывают дожди. Это тоже плохо. Третий тип обладает достаточной прочностью и одновременно пропускает геохимические растворы, назовем их даже питательными. Такие кристаллы растут и множатся. Понимаете — растут? Это хорошо. В пористом пространстве таких кристаллов появляется липкое проникаемое тесто. Это и есть прототип жизни. — Кригман делает добрый глоток рейнвейна и смачно облизывает губы. На стеклянном столике у красной козетки стоит чей-то недопитый стаканчик, и мой любезный сосед одним ловким движением ставит на столик свой пустой стаканчик и подхватывает чужой.

— Но... — начинает Дейл, зная, что его прервут.

— Но вы хотите спросить, как насчет людей — человеков? Как появились органические молекулы? И почему появились? Не буду углубляться в подробности. Скажу только, что некоторые аминокислоты, а именно бикарбоновые и трикарбоновые соединения, способствуют растворению ионов в таких металлах, как алюминий, и, следовательно, появлению протоферментов. Другие аминокислоты, например полифосфаты, обладают большой силой сцепления, которая и сообщала им выживаемость на ранних стадиях существования Земли. Пуриновые основания вроде аденина имеют тенденцию отлагаться между слоями глины, и сравнительно скоро по историческим меркам вы имеете полимер, схожий с РНК, и его отрицательный заряд, который взаимодействует с положительным зарядом в частицах глины. Затем... Я, кажется, нагоняю на вас тоску? Вижу, вижу, вам до смерти хочется пообщаться с народом, может быть, потрепаться с одной из моих девиц. Попробуйте поухаживать за моей средненькой, Мириам, если, конечно, вас не отвратит суфийская пропаганда. Не выношу безалкогольных тусовок... так вот, я и говорю, как только вы имеете нечто близкое к РНК, но не первоначальный бульон — специалисты никогда на дух не принимали эту заумную теорию, в ней, как бы это выразиться, слишком много воды, — а замечательное рассыпчатое тесто глиняных генов, отсюда рукой подать до органического воспроизведения, сначала в качестве подсистемы, развивающейся параллельно росту кристаллов, которая затем входит в силу. В ходе обмена генами глиняные гены отпадают, потому как органические молекулы, в основном молекулы углерода, оказываются более эффективными. Поверьте, приятель, такое объяснение затыкает многие дыры в наших теоретических представлениях. От ничего — к мертвой материи, от нее — к жизни. А вы говорите — Бог! Забудем о старом обманщике!

Эстер, вернувшись в гостиную, завязывает разговор с молодым, незнакомым Дейлу аспирантом — типичным евнухом с прямыми немытыми волосами, которые он то и дело пальцами откидывает назад. Вскинув свою маленькую голову с белеющим лбом и рыжими баранками на ушах, она крайне заинтересованно взирает на собеседника — так же, как она взирала на Дейла в прошлогодний День благодарения.

— А как насчет эволюции от плоти к духу? — спрашивает он Кригмана. Собственный голос звучит как бы издалека и отдается у него в голове.

— Не оскорбляйте меня, — фыркает тот. Улыбка его растаяла. Ему уже наскучил разговор. — Дух — это пустой звук. У нас все от мозга идет. Именно мозг по преимуществу управляет нашими руками... Если то, что вы рассказали мне, приятель, и есть ваша теория, то вам еще пилить и пилить.

— Знаю, — согласился Дейл. С истинно христианской покорностью он испытывает болезненное удовольствие от поражения в интеллектуальном поединке.

— Подружка у вас есть?

Неожиданный грубоватый вопрос застигает Дейла врасплох.

— Заведите подружку, — советует Кригман. — Хорошо прочищает мозги.

Видя, что Кригман отвернулся и опущенные плечи вот-вот исчезнут в толпе гостей, Дейл инстинктивно, как привязанный, делает шаг за ним. Тот идет, тяжело переваливаясь, словно человекобык Минотавр, только что насытившийся плотью молодых людей, посланных ему в жертву. На его посаженной в плечи голове по-прежнему красуется увядший венок. Он видит, как гости живо общаются друг с другом, не хуже генов в замечательном глиняном тесте. Даже младшая дочь Кригмана, пятнадцатилетняя Кора, со скобой во рту, исправляющей прикус, и конским хвостиком на голове, развлекает маленький кружок поклонников: кивающего Джереми Вандерльютена в неизменном костюме-тройке и с часами на цепочке в жилетном кармане, слабоумного сына миссис Элликотт, с лица которого не сходит блуждающая улыбка, и Ричи Ламберта — последний с восторгом и неприязнью наблюдает за неловкой, зато уверенной Кориной попыткой выставить себя взрослой. Все, что занимало Дейла зиму и первый весенний месяц, будоражило мозг и душу, оказалось иллюзией. Он скучает по Верне, такой же неудачнице, как он, и удивляется, что ее нет здесь. Но вот подходит человек, который все знает, — сероглазый, седовласый невозмутимо-непонятный его хозяин...

— Бедный вы, бедный, — пошутил я с наигранным участием. — Потрепал вас Кригман в своей молотилке?

— Много говорит.

— Причем на любую тему. Не обращайте внимания на старого говоруна. Вы чем-то недовольны?

— Да нет, только почему не видно Верны?

— Мы с Эстер решили, что она не впишется.

— Как она вообще? Давно ее не видел.

— У нее все хорошо. Воюет с управлением социальной службы. Ее хотят лишить родительских прав. — Я рассказал Дейлу печальную повесть, опустив самую интересную главу, наше прелюбодейство. Он с облегчением выслушивал рассказ о проблемах, не имеющих космических масштабов.

— Да, ей требуется помощь, — заключил он. — Надо бы заглянуть к ней.

— Обязательно загляните.

Подошла Эстер.

— Дейл, вы скучаете, — словно не замечая меня, упрекнула она его. — Пойдемте, я угощу вас перцем, и поболтаем. — Она потянула его за рукав. На верхней, покрытой легким пушком губе выступил пот. Мне это было хорошо видно, как и ее глаза навыкате и бледно-зеленую радужку. Я чувствовал, что Дейл верит, верит в то, что из этих влажных выпуклостей к нему идет какое-то тайное послание, сокровенное секретное сообщение, будто она забеременела или умирает от лейкемии.

— Напротив, наш друг очень хорошо провел время, — возразил я. — Он обкатывал на Кригмане свою теологическую теорию.

— С твоей стороны было жестоко напустить на него великого зануду Майрона, — сказала Эстер так, чтобы Дейл услышал. — Лучше бы он познакомился с его дочками.

— А я познакомился, — вставил Дейл. — Их зовут Флопси, Мопси и Клопси.

И мы все трое, любящие друг друга печальной любовью, рассмеялись.

## 

## 3

На другой день, как бы в порядке компенсации за то, что ее не позвали на вечеринку, я позвонил Верне и пригласил ее на ленч. Я знал, ей не хотелось, чтобы ее застукали со мной в ее квартире. Неупорядоченная этика любовных отношений подсказывает женщине, что если лед сломан, любой ее отказ обижает мужчину. Ее материнское чувство, обязывающее защищать все живое, идет на компромисс с сексуальным желанием. Я догадывался, что Верна не хочет стоять перед выбором: принять или отвергнуть меня, равно как и я не хотел дать себе труд совершать работу, как писали в школьных учебниках по физике об идеальном предмете, двигающемся вверх по наклонной плоскости, — работу поставить вопрос ребром. Если я первым не сделаю следующего шага, это тоже ее обидит. Мы взяли определенные обязательства друг перед другом.

Я повел Верну в шикарный ресторан под названием «360 градусов». Расположенный на верхушке самого высокого в городе небоскреба, он совершает с едва слышимым скрежетом зубчатых колес полный оборот каждые полтора часа, что тактично напоминает гостям, что именно столько, и не больше, должно продолжаться застолье.

В то утро, сидя за столом, на который Ричи водрузил свой «сони» со старыми болтливыми мультиками, возле не подозревающей о моих планах Эстер — лицо у нее было опухшее, недовольное, — я прочитал в газете, что приблизительно триста тысяч малолеток в Америке заняты в индустрии детской порнографии. Цифра показалась мне абсурдно высокой — так же, как и до странности похожие статистические данные, которые я увидел несколько дней назад в той же газете (самодовольном либеральном листке, который сдабривает свою высоколобость крокодиловыми слезами по поводу упадка жилищно-коммунального хозяйства в некоторых кварталах): подсчитано, что для издания только одного воскресного выпуска солидной газеты в крупном городе вырубают триста тысяч акров леса. Неужели эти огромные, невероятные числа достоверны? Или какой-нибудь редактор свихнулся на числе 300? Правда, многие числа кажутся более значительными, чем есть на самом деле, включая число 70 — продолжительность средней человеческой жизни. Что же касается генофонда, мы отправляем послания потомкам гораздо раньше, чем принято думать.

Солнце припекало почти по-летнему. Верна ждала меня на скамейке у детской площадки. Деревья как-то неожиданно и быстро покрылись листвой, и потому в окрýге потемнело, и район как бы поделился на участки, разграниченные зеленеющими заборами, отдаленно напоминающими «живые уголки» в садах Версаля. Какие чувства владели человеком, который в заросли рододендронов насиловал дочь миссис Элликотт, а потом задушил ее и бросил, как испачканную смятую салфетку? Когда Верна шла к моей неопределенного цвета «ауди», кучка чернокожих парней провожала ее восхищенными выкриками. Туфли на высоких каблуках, светло-серый, почти белый полотняный костюм, непокорные, зачесанные назад волосы с черепаховыми заколками. Только белесые прядки, торчащие из волос, да дешевенькие браслеты на запястьях — вот все, что осталось от бунтовщицы и портило впечатление.

Господи, я любил ее, любил, сам того не желая. Любил упрямое широкоскулое лицо, пышную грудь под полотняными бортами костюма и строгой бежевой блузкой, широкие бедра в поблескивающем нейлоне, даже двухцветные «шпильки» на ногах. Молодая женщина, с которой у меня полуденное свидание. Пола была в садике, и мы договорились, что сегодня Эстер заберет ее к нам, где девочка бывала все чаще и чаще. Цокая копытцами, Верна вырвалась из упряжи материнства.

— Настоящая леди с головы до пят, — признал я, когда она опустилась на велюровое сиденье рядом.

— Настоящий пижон с головы до пят, — парировала она.

Я обиделся.

— Ну зачем ты так?

— Не зачем, дядечка. Просто в лад сказала. Ассонанс, или как это у вас называется.

Она смотрела вперед, в ветровое стекло, оттягивая неизбежно надвигающуюся ссору. Нос у нее, как я уже говорил, далеко не идеальный, даже смахивает на картофельный клубень, но в профиль смотрится достаточно прямым. Прямой нос — это дар женщине, данный свыше. Все остальное можно подделать.

Мы ехали в центр. Пересекли реку по старому каменному мосту. Миновали кварталы еще более древних кирпичных домов, где вечно образуются автомобильные пробки, а выхлопные газы смешиваются с дымкой, окутывающей некогда солидные муниципальные четырехэтажки, которые давно переделали в студенческие квартиры, а теперь без зазрения совести распродают в качестве кооперативного жилья. С окон осыпается старая штукатурка, филенка, замазка и по деревянным желобам сваливается в ржавые баки, загораживающие и без того узкий проезд. Быть может, дымку добавляет листва высаженных вдоль тротуаров яворов, вязов, конских каштанов — у них на стволы повешены зеленые бачки для собирания сока. Дерево с таким бачком — как человек, перенесший пересадку сердца и теперь ковыляющий к могиле. По весне, в пору опыления, мир деревьев пугающе закипает узорами сережек и плавающим плодоносным пухом. Как однажды заметил наш выдающийся президент, природа сама больше всего загрязняет себя, за что и был несправедливо раскритикован. На смену одной вере приходит другая. Наши либералы-безбожники не допустят, чтобы кто-то посмел хулить и поносить природу, они вскидывают плакаты и скидывают сенаторов ради спасения последнего поганого болота в христианском мире.

Из заброшенных, но когда-то богатых кварталов сквозь облака окиси углерода, сквозь режущие глаза солнечные лучи мы, дергаясь и тормозя, выползали в собственно центр, где парковка в два ряда сужает проезжую часть улицы до одной полосы. Чтобы справиться с беспрестанными заторами, полиция пересела на лошадей, огромных несуразных в море металла животных. Всадники в синем, женщины вперемежку с мужчинами, часто чернее, чем кони под ними, но такие же чуткие, по-королевски свысока взирали на окружающее. Башни из стекла и стали, бесконечные пространства прозрачности и отражений вздымались над магазинчиками, где торгуют странной мелочевкой — пончиками, безделушками на выбор, поздравительными карточками, пластинками. Создавалось впечатление, что все это архитектурное и экономическое могущество зиждется на нашем желании купить еще одну комичную куклу или аляповатую открытку ко дню рождения.

По извилистому пандусу мы съехали вниз (тоже работа, только наоборот — правда, в учебниках по физике наклонные плоскости никогда не были извилистыми), в подземный гараж, где легкий запах сырости напоминал о холодильной кладовке над родником у одного фермера недалеко от Шагрен-Фоллз, где я бывал с отцом, Вероникой и Эдной. Фермер продавал коричневые куриные яйца, початки спелой кукурузы, что-то еще и, как бородатый буфетчик, предлагающий знатоку редкое вино урожая энного года, приглашал отведать ключевой водицы из помятого жестяного ковша. Едва различимый аромат охлажденной жести чувствовался и здесь, в подземном хранилище для автомобилей — больших пустых металлических раковин, скинутых сюда на время своими хозяевами, как скидывают тяжелую одежду. Гараж имел несколько уровней, каждый со своим номером и своим цветом расширяющихся кверху круглых бетонных столбов. В дальнем сыром углу, украшенном лужицами мочи и пустыми пластиковыми бутылками, автоматически открылась дверь, и мы оказались в отделанной винилом кабине лифта, который мягко понес нас вверх. Невидимый оркестр наигрывал пиццикато битловскую мелодию. Качнувшись, кабина остановилась на цокольном этаже, в нее стал набиваться народ, в основном туристы в кроссовках, направляющиеся на смотровую площадку, в руках путеводители, на плечах камеры, и бизнесмены — уже в летних серых, серовато-коричневых, желтовато-серых костюмах, спешащие на очередной деловой ленч, благо представительские получены. Лифт взмыл вверх так стремительно, что прилила кровь к кончикам пальцев и подогнулись колени. На электронном табло мелькали составленные из крошечных лампочек цифры, похожие на микробные палочки, мелькали все чаще и чаще, потом медленнее и медленнее. Кабина остановилась. Туристы гурьбой высыпали к «Седьмому небу», где полно сувенирных лавчонок и замогильный голос по радио рассказывает историю города. Мы же ступили на голубые ковры ресторанного зала — плюшевые канаты, живые пальмы, приглушенный стук ножей, огромные, с пола до потолка, окна, откуда с шестидесятиэтажной высоты открывался вид на улицы, площади, парки. Наш старый город сверху казался красным, как освежеванная туша или человеческое тело при полостной операции.

Когда метрдотель, вздернув тяжелую челюсть, вел нас к нашему столику по пушистым коврам сквозь разреженные дурманящие массы верхних слоев атмосферы, я чувствовал себя так, будто отчетливую фотографию — я и Верна — выставили на всеобщее обозрение. Мы ощущали на себе любопытные взгляды, иногда долгие. В былые времена нас приняли бы за отца с дочерью или дядюшку с племянницей, что отвечало бы истине; сейчас же во мне видели седого ловеласа, развлекающего молоденькую штучку, что тоже отвечало истине. Рядом с расцветающей резвой Верной в косом свете из окон я выглядел, должно быть, старым кряжистым искателем приключений, в каждой клеточке которого таились похоть, жадность и злоба, накопившиеся за полвека существования для себя, о чем свидетельствовали обвислые складки настороженной коварной физиономии. И тем не менее я не был смущен тем, что меня видят с Верной. Никому из моих факультетских коллег или соседей не пришло бы в голову завернуть сюда, в эту поднебесную туристическую ловушку. У нас иной стиль: небольшие уютные ресторанчики на семь столиков с внутренним двориком, втиснутым между прачечной самообслуживания и магазинчиком диетического питания, где шеф-поваром — бывший студент, а вместо карточки-меню — школьная доска. Верна уверенно двигалась между столиками, всей своей фигурой говоря: катитесь вы... Ее бедная во многих отношениях жизнь была богата впечатлениями от общепитовских заведений. За вычетом пластмассовых браслетов и металлических серег наряжена она была подходяще. Мне в первый раз подумалось, что Верна — вовсе не позор для ее и всей нашей семьи, а такой же полноправный ее член, как и все остальные, с такими же покатыми натруженными плечами, какие были у Эдны и у Вероники — до того, как та расплылась в корпулентную мегеру. Каждое поколение — что палка в реке времени, излом только в отражении.

Наш столик находился на подвижном кольце. Едва мы сели, я почувствовал, как мягко уходит из-под ног пол, мы перемещаемся от одной оконной рамы к другой, а там, внизу, сменяли друг друга и сливались в одно крыши и улицы, и весь наш город растворялся в туманной непроглядной дали.

Верна, очевидно, поняла, что я пригласил ее сюда поговорить, и первая пошла в наступление.

— Что ты сделал с Дейлом, дядечка? — поинтересовалась она, подавшись вперед, нависая грудью над пустой пока тарелкой, над стаканом воды с пузырьками, над сложенной салфеткой и прибором с крошечными поблескивающими царапинами. — Он сам на себя не похож... — На лбу и носу у нее уже выступили веснушки. У Эдны, помню, тоже были веснушки летом, когда я скучал у них, а она играла в теннис, плавала, болталась в клубе.

— Отчего же так?

— Говорит, утратил веру. На той вечеринке, куда ты меня не пригласил, он разговаривал с каким-то типом, и тот доказал, что все его проекты — глупости. Думаю, и на компьютере у него ничего не получается. Он надеялся на чудо, но чудес на свете не бывает.

— Тебе было бы скучно на нашей вечеринке. Мы такую каждый год устраиваем, чтобы... как бы лучше сказать... чтобы рассчитаться с долгами по общению. А на компьютере он хотел доказать, что Бог есть. Если бы у него получилось, настал бы конец света. Не понимает он этого, дурачок. Лучше подумал бы, что он представит к первому июня, иначе ему не продлят грант.

— А вдруг он не хочет, чтобы его продлевали? И вообще он собирается уехать из города, вернуться домой. Для некоторых, говорит, восток просто вреден. И для тебя, говорит, вреден.

Окно, у которого мы сидели, в эти минуты было обращено к гавани. Видны были старые причалы, длинные портовые склады, сложенные из гранитного камня, с их шиферными крышами, несколько жилых домов с закругленными, как у игральных карт, углами, автомагистраль, которую сейчас реконструировали и расширяли, — среди отвалов рыжей земли копошились люди и машины. Кто поверит, что города возводят на тонком слое почвы и камней? За причалами простиралась водная гладь, подернутая синим и серым, несколько игрушечных корабликов и островков, окруженных отмелями в форме мазков кистью. На одном островке стояла тюрьма, на другом — завод минеральных удобрений. На дальнем, пропадающем в тумане краю нашего полуострова высился маяк. К югу располагалась плоскость аэродрома с укороченными, как казалось отсюда, взлетными полосами, а немного в стороне — диспетчерская вышка на двух белых опорах, ее зеленые окна — как крошечные изумруды. И надо всем этим, выше, чем видится с земли, — четкий контур, ровный, как осциллограмма мертвеца.

Подошел официант в смокинге. Я заказал себе мартини, а Верне — нечто в русском духе, смесь кофейного ликера с водкой.

— В чем же еще выражается эта воображаемая утрата веры?

— Почему «воображаемая»? У него на самом деле что-то вроде нервного расстройства.

Женщины, в отличие от девочек, склонны к преувеличению.

— Мужчины любят, когда их жалеют.

— Говорит, что не может спать. Раньше он всегда на ночь молился. Говорит, как начну рисовать на экране, сразу плохо делается. Говорит... — Ее голос стал скрипучим, приобрел ту твердость тембра, которая плохо подходит для человеческой речи, — ...говорит, что иногда его просто тошнит, вот-вот вырвет...

— И его рвало?

— Не знаю.

— Понятно. Дошел до точки. Ну да ничего, не умрет. Знаешь, есть вера и вера. Мы думаем, что верим в Бога, но это лишь малая часть того, во что мы действительно веруем.

— Ты вроде как радуешься его беде. Что Дейл тебе сделал?

— Раздражает он меня, — ответил я искренне. — Врывается в кабинет, заявляет, что поймает Бога за хвост, отнимает время. Будешь в моем возрасте, тебе тоже не захочется тратить время попусту. Не только меня изводит, но и Бога. Мой небольшой жизненный опыт подсказывает, что большинство так называемых хороших людей — наглецы и задиры.

Окружающая обстановка делалась радужной. Это действовал мартини. Пол под ногами медленно нес нас по кругу. На щеке у Верны появилась ямочка.

— Видать, потому я и приглянулась тебе. Я ведь плохая.

— Плохая в ласкательном смысле. Ух, какая плоха-а-я! То есть хорошая. Ты мне нравишься в этом костюмчике. Не броский и отлично вписывается в эту обстановку.

— Стараюсь подладиться под других, дядечка. Но...

«Девчонки хотят повеселиться», — закончил я за нее.

Молодой подручный официанта в белом жилете принес нам первое блюдо. Мне — говяжье консоме, Верне — коктейль из креветок. Вазочка с коктейлем стояла на серебряном блюде с раскрошенным льдом. Креветку нацепили на край вазочки, и она была похожа на живое существо, пришедшее на водопой, только вместо воды был красный соус. Верна начала есть, а мой бульон был чересчур горяч, и я принялся смотреть в окно. Теперь оно было направлено на юг. Сбоку нависал соседний небоскреб — его металлическая решетка со стеклянными квадратиками окон напоминала заполненный кроссворд: в окошечках сидели, стояли, двигались конторские служащие. За небоскребом шли жилые кварталы с удобной планировкой — овальные скверы, кривые улочки, белый шпиль церкви. После ста лет заброшенности все это снова входило в моду. За ними, постепенно пропадая в дымке розово-серо-зеленых тонов, тянулись другие кварталы, которые в силу отдаленности от центра еще не подверглись джентрификации, тянулись вплоть до белой полосы бензохранилищ, стоявших возле изогнувшегося дугой железнодорожного моста. Дальше за голыми холмами наподобие гигантских древесных пней торчали здания нового жилого комплекса. Холмы обозначали официальные границы города, но на самом деле город разрастался к югу, вдоль автомагистрали и береговой линии, разрастался, поглощая поселки и фермы, и уже невозможно было сказать, где кончается наш и начинается другой прибрежный город.

— Она вышла из моды, дядечка, — сообщила Верна, вытирая кончиком пальца последнюю капельку соуса. — Я имею в виду Синди Лопер.

— Вышла из моды? Так скоро?

— Девчонки теперь Мадонне подражают. Смотри. — Она протянула вперед руки и побренчала браслетами. — Как у Мадонны. И это тоже. — Верна нагнулась и повернула указательным пальцем позолоченный крестик, свисающий с мочки. — Многие девчонки злятся, что побрили голову с боков, как у Синди Лопер. И щеки покрасили красным, и вообще занимались самоистязанием... Я тут разговаривала со своей врачихой-психотерапевтом, и она говорит, что Синди — жертва. Есть такой тип людей — жертвы. Ты же видел, ей никакой премии не дали. Помнишь, стоит на церемонии вручения Грэмми, вся улыбается, хотя в тот год она должна бы ее получить. А вот Мадонна — крутая, знает, чего хочет, и добивается.

— А ты, ты сама знаешь, чего хочешь? — Я постарался направить разговор в нужное мне русло, но, судя по всему, преждевременно.

— Врачиха говорит, что я хочу быть нормальной бабой. Знаешь, почему я вляпалась с Пупси? Только посмотришь на нее, сразу вспоминаешь, что ты ненормальная. Я хочу сказать, что вожусь с черными только для того, чтобы досадить папке.

— И что же это значит — быть нормальной? — припомнил я ее вопрос и ответил, как ответила тогда она: — Вертеть задом на вечеринках в Шейкер-Хайт?

— Наверное, и это тоже. Но только как часть всего остального. Я хочу порядка, дядечка, порядка и основательности.

Давний приверженец бартианства во мне возмутился: какое у нас, падших существ, по собственной воле ввергнутых в хаос, право требовать порядка? Кто является гарантом человеческого мироустройства?

— Расскажи мне о своей врачихе, — попросил я.

— Она тип-топ и нравится мне.

Небольшой приступ ревности.

— Молодая?

— Не-а. Старая. Старше, чем ты... Знаешь, мне не хочется об этом говорить.

Опустила глаза в пустую вазочку. Лед таял. Официант унес серебряное блюдо. Следуя течению своих мыслей, Верна снова заговорила о Дейле:

— Догадываюсь, как вертят задом. Похоже, у него роман с какой-то дамочкой. Она старше его, замужем и, видать, та еще штучка.

— Вот как? — произнес я. Пол под ногами тащил нас по часовой стрелке.

— Угу. И это гложет его — во-первых, потому, что он понимает, как это некрасиво, но отказаться от нее не может, и во-вторых, потому, что он не хочет, чтобы это кончалось, а оно все равно кончается.

— Откуда ты знаешь, что кончается?

— Думаю, дамочка подает ему знаки. Вот тебе еще одна причина возвратиться в Огайо — уехать от нее. Как-то вечером мы с ним раздавили у меня бутылочку, он теперь к выпивке и ко всему прочему с пониманием относится. Так вот, он рассказывал, как он ее и спереди, и сзади, и в рот, и в зад — по-всякому. А она вся выкладывается, будто решила довести его до ручки. Живет где-то в вашем районе. Дейл говорит, дом у нее большой, дорогой.

— Район у нас большой, — сказал я. — Когда тебе будет столько же, сколько этой дамочке, тоже будешь выкладываться. А пока, в твоем возрасте, надо беречь себя, не разбрасываться...

Я словно соревновался со своей неизвестной соперницей, врачихой.

— Я что, маленькая?

— Маленькая, всего девятнадцать.

— Сообщу тебе последнюю новость, дядечка. На той неделе двадцать стукнуло.

Она, видимо, хотела сразить меня наповал. Вместо этого я почувствовал облегчение: чем Верна старше, тем меньше моя — наша! — ответственность.

— С днем рождения, милая Верна!

Молодой официант принес мне филе палтуса, а Верне телячью вырезку. Он не удивился, когда я заказал бутылку шампанского. Стрижка у него была короткая, аккуратная, такую в мои времена носили все молодые люди, но теперь стала отличительной чертой гомосексуалистов и еще одной низшей касты, другой группы риска, от которой ожидаешь неприятностей, — военнослужащих.

Нам сверху было видно, как сильно в начале века разросся город в восточном направлении. Тогда муниципальные власти и построили многие общественные учреждения: публичную библиотеку и музей изящных искусств, два сооружения в итальянском стиле, окруженные высокими оградами и крытые красной черепицей; глубокую зеленую овальную чашу, в которой расположился стадион, где проводились бейсбольные встречи высшей лиги, — стадион был опоясан рядами скамеек вишневого и брусничного цветов и осветительными щитами, похожими на колоссальные мухобойки; тротуары вокруг длинного пруда, отражающего деревья на берегу; кафедральный собор приверженцев христианской науки с розовым куполом (христианская наука! Разве на свете может существовать такое?). Многие кварталы особняков за железными оградами подверглись реконструкции. Появилось блочное жилье, понастроили многоэтажные гаражи с плоскими крышами, разрисованными стреловидными узорами, выросли башня торгового центра и прилегающий к ней отель причудливой формы — от его подъездов тянулись ярко-голубые навесы. К нам, на нашу высоту поднимался, проникал сквозь толстые стекла единственный из городских шумов — настойчивый вой полицейских сирен.

Принесли шампанское.

— Твое здоровье, Верна, — поднял я бокал с переливающейся пузырьками жидкостью. — Как телятина?

— Телятина о'кей. Превосходная. И вообще обед что надо. Не разорился? Послушай, дядечка...

— Слушаю.

— Ты, кажется, жалеешь, что трахал меня. Ты это хотел сказать?

— О господи, моя дорогая девочка, как я могу жалеть? Я рад, что это произошло. Это было замечательно. Сняло какой-то груз, как ты и обещала. Помогло мне лучше подготовиться к последнему издыханию. — Настал решающий момент, она сама напросилась. — Но... но продолжать нам, очевидно, не следует. И есть одна вещь, за которую я тебе отнюдь не признателен...

— Пола?

— Нет, Пола не проблема, тем более скоро у нее снимут гипс и она перестанет царапать пол в доме. Мне жаль, что ты втравила меня в тяжбу с управлением социальной службы. Теперь в их идиотских бумагах будет фигурировать мое почтенное имя. Мое положение на факультете...

— Хочешь остаться чистеньким?

— Если угодно, вернее сказать — не замараться в глазах моих коллег. Мы миримся с грязью, когда говорим о греховности человеческой природы, но в обычной жизни грязь должна принимать определенные традиционные формы. То, что ты повредила Поле ногу, — это хуже, чем плохо, это gauche, неприлично.

— Ну вас всех!.. Дейл зовет меня с собой в Кливленд. Я сказала, может быть.

— Ничего ты не говорила. Когда это было — после того, как вы раздавили бутылочку?

— Ты все думаешь, что между нами что-то есть? Ничего подобного. Он хочет, чтобы я хотя бы с мамкой помирилась. Говорит, если я получу аттестат, то смогу поступить на вечерние курсы в Кейс-Уэстерн.

— Не нужно тебе никуда ехать, — возразил я, хотя ее отъезд отвечал моим интересам. — Люди там ужасные.

— А врачиха говорит, они — единственные, кого я люблю.

— Ну что же, это почти по Фрейду, — сказал я, сдаваясь, и сдаваясь с благодарностью. — Хочешь, куплю тебе билет?

— Еще бы! Купи, раз ты так хочешь. Вот будет клево. — Ее глаза, обычно невыразительные, сияли — от шампанского или от яркого освещения, такого яркого, что можно было разглядеть мельчайшие царапинки на серебре приборов. Когда Верна улыбалась, приоткрывались ее маленькие круглые, как жемчужинки, зубы. — У меня к тебе еще одна просьба.

— Да? Какая? — Я старался понять, почему мне так неприятны крестики, свисающие с ее ушей, — то ли потому, что они символизировали варварское искупление смертью грехов наших, то ли в силу моего застарелого предрассудка, запрещающего надевать кресты так легкомысленно. Тем не менее женщины испокон веку носят кресты во влажной расселине между грудями. Господи, кто сотворил женское тело? Мы должны снова и снова задаваться этим вопросом.

— Будет здорово, если ты звякнешь мамке — узнать, как она отнесется к моему приезду. У меня самой духу не хватает.

— У меня тоже не хватит.

— Почему, дядечка? Как-никак она тебе сестра единокровная... А-а... знаю. — На щеке у Верны заиграла ямочка. — Боишься, по голосу она догадается...

Палтус был суховат, но я постарался поскорее проглотить кусок. В горле у меня запершило.

— Догадается — о чем?

— О том, что ты меня трахнул! — пояснила она, кашлянув.

Несколько лоснящихся любопытных лысин с соседних столиков повернулось в нашу сторону.

— Не кричи, — взмолился я.

Ее глаза с золотистой россыпью сузились от предвкушаемого удовольствия.

— Ты просто хочешь отделаться от меня, старый пижон. Я сейчас как ходячая улика. Захочу, начну вымогать у тебя денежки. Захочу, поломаю твою почтенную жизнь. И на работе будут неприятности, и с твоей женушкой-задавакой. Все эти дорогие вещи в твоем доме ведь на ее деньги куплены. На профессорское жалованье не разгуляешься. Дейл говорит, папаша у нее был важной шишкой.

Я ответил на обвинение спокойно и чистосердечно:

— Эстер — часть моей жизни. В свое время я приложил немало усилий, чтобы она стала тем, чем она стала. К тому же я слишком стар, чтобы меняться.

На десерт Верна взяла baba au rhum — ромовую бабу и кофе по-ирландски, я же, отяжелевший от шампанского, ограничился чашечкой обычного черного кофе. На факультете меня ждала стопка буклетов по ересям.

Наше окно выходило на север. Отсюда, с умопомрачительной высоты, река казалась шире, величественнее, первозданнее, чем когда переезжаешь ее по одному из мостов в автомобиле. Университет, занимающий столько места в моих мыслях и моей жизни, терялся в панораме северной части города. Здания естественнонаучных институтов, Куб, гуманитарные факультеты, студенческие общежития — все это как бы пропадало среди прибрежных заводов. Я не замечал прежде ни их плоских крыш, ни столбов дыма. Над всем районом, как над прудом на рассвете, нависала дымка, и я не мог отыскать глазами свой факультет. Зато хорошо были видны стрела бульвара Самнера, идущая от реки, и распустившиеся дубы и буки в моих кварталах. Мне даже показалось, что я различаю зеленое пятно мемориального сквера Доротеи Элликотт, и крышу собственного дома, и даже окна третьего этажа. Там, в туманной дымке над просыпающимся прудом, текла моя жизнь, за которую я успешно сражался в шестидесятиэтажной выси. Если Верна уедет, у меня будут развязаны руки и неверные поступки изгладятся из памяти. Я представил себе, как она приближается к американскому болоту, попадает в мешанину запахов и затхлого благочестия, родительских проклятий и самодовольной посредственности, и у меня упало сердце. Ее жизнь, такая яркая в пору цветения и молодой дерзости, казалась напрасной — будь то в Кливленде, с Эдной и Полом, которые снова попытаются привязать ее к гнилому стволу устаревших запретов, или здесь, с нами, чтобы пользоваться нашими безграничными безбожными свободами, стершимися от частого употребления. Настроение у меня испортилось, как будто именно я приговорил это юное существо к напрасной жизни.

— Как бы то ни было, ты должна получить аттестат зрелости.

— Она то же самое говорит. Моя врачиха. А зачем? Чтобы сделаться таким же истуканом, как вы все?

В самой северной части города металлические и битумные крыши все чаще и чаще чередовались с островками леса. Кирпичные стены сменялись древесными. Леса рядами поднимались на дальние холмы, зелень голубела, затем растворялась в сероватом тумане. Большой многоликий город раскинулся так, что не объять ни взором, ни умом. И это все? Все, что нужно человеку? Вряд ли.

Внизу, в просторном вестибюле, отделанном в стиле ар деко под оникс, мы стали прикидывать, сколько стоит билет до Кливленда.

— Кроме того, будут кое-какие дорожные расходы, — сказала Верна с шаловливым бесстыдством.

— Почему я должен давать тебе взятки, чтобы ты сделала то, что самой полезно?

— Потому что я тебе нравлюсь.

Я выложил триста долларов за аборт. Билет, разумеется, дешевле. Верна же, напротив, считала, что дороже, поскольку поездка — операция более длительная, нежели удаление плода. К счастью, мой банк установил в вестибюле автомат, выдававший наличность в пределах трехсот долларов. На том мы и порешили. Машина, гудя и щелкая, поглотила мою карточку, проверила имя владельца (Агнус) и, ворча, выдала купюры. «Хотите произвести какую-либо еще операцию?» Я нажал кнопку со словом «нет».

— Когда-нибудь, — сказал я, подавая Верне деньги (купюры были новенькие, хрустящие, как тонкая наждачная бумага), — тебе придется обходиться без доброго дяди, который делает тебе подарки.

Верна взяла деньги, и я увидел, что она вот-вот расхохочется. Еще бы: новенькие купюры, манной свалившиеся ей из банкомата, — но сдержалась, не поддалась искушению.

— Что-то ты не в духе, дядечка. В чем дело? Ведь все получается по-твоему.

— Обещай мне одну вещь, — беспомощно брякнул я. — Что не будешь спать с Дейлом.

— С этим недоумком? — Теперь ее вовсю разобрал громкий смех. По ониксовым стенам раскатилось эхо, заплясали крестики в ушах. — Ну у тебя и фантазии! Ты же знаешь, от каких мужиков я завожусь. Дейл меня не волнует. Он вообще ноль без палочки. Даже не злой, как ты.

Она чмокнула меня в щеку. Милостыня была как капелька дождя в знойной пустыне.

## 

## 4

Четыре недели меня будили по утрам стук и скрежет. Это Пола отважно ползала по всему дому. Не раз и не два сидя в своем кабинете, стараясь сосредоточиться над богословскими ловушками и увертками, я слышал, как словно валун скатывается с лестницы, и лишь веселое щебетание ребенка указывало на то, что никакой катастрофы не произошло. Гипс у Полы уже сняли — в больницу я ходил с уверенной и чинной Эстер, а не с дерзкой, не умеющей себя вести Верной, никто из отделения неотложной помощи тоже не присутствовал — и бедная девочка нет-нет да и захнычет, словно у нее удалили часть ее самое.

Сегодня утром она хныкала у меня в постели, куда ее как бы в насмешку — вместо себя — положила Эстер. Глаза с блестящей чернильной радужкой на ясно-голубом белке были устремлены на меня, а короткие слюнявые пухлые пальчики с острыми ноготками ощупывали мои небритые щеки.

— Дя узе плоснулся?

В выпуклостях ее глаз я видел крошечные квадратные отражения окна у кровати, кончающегося полукругом с цветным стеклом. Было воскресенье, но в утреннем свете была какая-то тоскливость. Автомобильный шум почти не доносился сюда, и в тишине словно повис молчаливый упрек. В листве щебетали птицы. Жалостно звонили церковные колокола.

— Дя вставать! — приказала Пола.

Сладостно ломило виски. Вчера мы припозднились на небольшой вечеринке. Эд Сни наконец отмечал на своей холостяцкой квартире согласие супруги дать ему развод. В качестве неофициальной невесты присутствовала узкобедрая молодая особа с волосами цвета репчатого колокольчика, которую он приводил к нам. Интересно, кто же будет их венчать? Я выпил лишнего и ввязался в яростный спор с Эдом относительно того, где в Писании кончается историческая правда и начинается миф, и с неким нигерийцем, который работал над диссертацией о Мухаммеде Диде, — относительно эффективности разоблачений режима в Южно-Африканской республике. Все движения протеста в Америке — крики и алкогольный туман шестидесятников лились в мою кровь — не что иное, как повод для молодых белых из среднего класса собраться, покурить травку, почувствовать, что их гражданская ответственность выше, чем у предков. Откуда у меня эта оголтелость? Но говорил я, кажется, искренне.

Пола грела мне постель. От нее исходил нежный аромат присыпки. Я потянулся к ее заживающей ноге в повязке телесного цвета и слегка пожал коленку, словно напоминая, что гипс снят. По лицу девочки пробежала судорога, уголки рта опустились, нижняя губа выпятилась, приоткрывая лиловую изнанку, потом она заурчала от удовольствия. Я выбрался из постели. Моя серая пижама вся измялась от ворочания в беспокойном сне. Пора менять на летнюю. Я поднял ребенка на руки и понес в свободную комнату, предназначавшуюся прежде для горничной, а теперь переданную Поле. Там я поменял ей подгузник — кожа девочки была тонкая, шелковистая, без единого пятнышка. Никогда раньше не доводилось мне лицезреть женские гениталии в таком девственном виде — две пышные подрумяненные булочки, только что вынутые из горячего пода печи. Я одел ее в вельветовый комбинезон с нашитой на груди мордочкой медвежонка. В мансарде позади своих заброшенных картин Эстер нашла картонный короб с детскими вещами Ричи.

Но где же сама Эстер? Ее отсутствие воспринималось как присутствие чего-то, как электрический заряд в тишине дома.

За дверью ванной слышался шум бегущей воды. Пришлось воспользоваться уборной под лестницей. Я посадил Полу в угол, и она моментально размотала рулон туалетной бумаги. На кухне Ричи увлеченно уткнулся в телик с мультиками, выражение лица у него было как у слабоумного. Я усадил Полу к нему на колени, сунул ей половинку пончика. Через секунду она вымазала рот и подбородок сахарной пудрой. На комбинезон потекла сладкая слюна.

Ричи взял Полу на руки охотно. С тех пор как она стала гостить у нас, он точно повзрослел. Ему нравилось говорить с ней, показывать всякие вещи. Он перестал быть «мелким», как выражалась Эстер, ребенком в доме стал теперь не он. Две детские мордочки были повернуты к экрану, как цветы к солнцу. Даже три, если считать ту, что красовалась на комбинезоне.

Из окна в кухне я видел, как на своей веранде из мамонтова дерева Кригманы занимаются аэробикой. Церемонию проводил Майрон, по-моему, он был в нижнем белье. На Сью и дочерях были какие-то клоунские наряды ядовитых цветов. В рассеянной весенней тени они ритмично то переступали ногами, то делали вращательные движения тазом (танец живота?) под мелодию одной из фуг Баха. При всем старании быть подтянутым живот Майрона сильно колыхался, и вообще выглядел он неважно. Я думаю, у него искривление позвоночника от постоянного сидения за микроскопом. Кригман заметил, что я наблюдаю за ними, и помахал рукой.

Интересно, что чувствовала Эстер, когда доставала детские вещи с мансарды? Когда они с Дейлом в последний раз занимались любовью и что сказали друг другу на прощание? Эстер, конечно же, постаралась облегчить удар, поскольку старше и лучше помнит, что все когда-нибудь кончается, и снова возбудить его... Ее обнаженное тело поблескивало в тех местах, где выпирают суставы. Ее руки и язык ощущали всю полноту монашеского пыла его последнего объятия. Он не хотел уходить. Ее взгляд случайно упал на собственные голые ноги. Желтоватые и голубоватые жилки на них более заметны, чем у кригмановских девчонок (или у Эми Юбенк). Она почувствовала свое тело, его хрупкость и неминуемую тленность, и еще крепче прижалась к его телу. Костлявая грудь, восковая кожа, мягкие бедра и ягодицы, беззащитные, как брюшко у щенка, трогательные сухожилия плечевых суставов, прыщики на подбородке, ровно заживающие ранки, покорно опущенная голова. Правой рукой она погладила прямую линию его длинной шеи, а левой — замечательный прямой и длинный пенис с его неустойчивой твердостью. Она улыбалась сквозь выжатые слезы, и в ее улыбке было какое-то немыслимое обещание... я не смог представить себе во всех деталях, как это происходило.

Угнетающая картина.

На днях собиралась позвонить Эдна, чтобы обсудить дальнейшую судьбу дочери и внучки. Я отправил к ней Верну как письмо, на которое она должна ответить. Голос у нее с годами погрубел, но, в сущности, не изменился — такой же вульгарный, самодовольный, ровный, идущий словно из матки. И такой же приятный, как запах собственного тела. Пресный и все равно вкусный, как кушанья, которые готовила мне мать, не знавшая любви Альма. Неизбежность нашего общения с первых дней и до неизбежной смерти была для меня вроде денег, положенных в банк и приносящих проценты. Эдна должна позвонить, и Полу от нас заберут. Все получилось как нельзя лучше. Кто-то недавно говорил это мне. Не помню кто.

Я налил себе второй стакан апельсинового сока, стал перебирать события — как говорится, от яйца до безрадостного итога, постарался заглянуть в будущее. Кригманы десятиножкой потянулись с веранды, женщины во всем пестром, как попугаи. В саду у Эстер отцвели азалии, рассыпавшись по земле ярко-розовыми лепестками. Расцветали ирисы. В последние дни она, рассеянная и раздражительная, поздно садится есть и спит допоздна. И самое удивительное — перестала следить за своим весом. Убежден, что она весила сейчас больше установленных ста фунтов.

Жена пришла в кухню в броском темном платье с кружевами на горле. Волосы были торжественно зачесаны вверх.

— Куда собралась? — спросил я.

— В церковь, — сказала она. — Куда же еще?

— И зачем тебе такая вздорная прогулка?

— Так... — Она смерила меня взглядом своих бледно-зеленых глаз. Какие бы чувства ни обуревали ее в последние месяцы, смотрела она все так же иронично, с намеком, с недосказанностью. И добавила грудным голосом, улыбаясь: — Чтобы позлить тебя.

1. Сентиментальность, кокетливость, наивность (фр.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Будет ли оно снова во всем нуждаться, особенно в пище и питье, избавляться от лишнего в желудке, не стыдиться срамных органов и работать всеми членами? [↑](#footnote-ref-2)
3. Quid enim indignis deo, quid magis erubescendum, nasci an mori? carnem gestare an crucem? circumcidi an sufflgi? educare an sepeliri? in praesepe deponi an in monimento recondi?.. Quodcunque deo indignum est, mihi expedit. Sulvus sum, si non confundar de domino meo. Qui mei, inquit, confusus fuerit, confundar et ego eius. Alias non invenio materias confusionis quae me per contemptum ruboris probent bene impudentem et feliciter stultum. Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus res ressurrexit; certum est, quia impossibils est. [↑](#footnote-ref-3)
4. In hoc itaque sollemni sexuum officio quod marem ac feminam miscet, in concubito dico communi, scimus et animam et camem simul fungi, animam concupiscentia, camem opera, animam instinctu, camem actu. Unico igitur impetu utriusque toto homine concusso despumatur semen totins hominis, habens ex corporali substantia humorem, ex animali calorem. Et si frigidum nomen est anima Craecorum, quare corpus exempta ea friget? Denique, ut adhuc verecundia magis pericliter quam probatione, in ilio ipso voluptatis ultimae aestu, quo genitale virus expellitur, nonne aliquid de anima quoque sentimus exire? atque adeo marcescimus et devigescimus rum lucis detrimento? Hoc erit semen animale protinus ex animae destillatione, sicut et virus illud corporale semen ex carnis defaecatione. Fidelissima primordii exempta. De limo cam in Adam. Quid aliud limus quam liquor opimus? inde erit genitale virus. [↑](#footnote-ref-4)
5. В ходе этого повествования мне пришлось пережить — помимо всего прочего — очередной день рождения. Родился я в один из самых коротких дней в году. У моей матушки был узкий таз, и она мучилась от темна до темна. Пятьдесят три! Интересно, сколько было Тертуллиану, когда он писал свои параграфы о плоти? В определенном возрасте и после него лучший секс — секс в голове: и удобно, и безопасно. [↑](#footnote-ref-5)
6. Застройка целых районов особняками. [↑](#footnote-ref-6)
7. Наука о древнееврейском языке и памятниках письменности. [↑](#footnote-ref-7)
8. См. (больше никаких сносок, эта — последняя!) письмо Барта доктору Фридриху Вильгельму Марквардту от 5 сентября 1967 года: «При личном общении с евреями мне всегда, насколько помню, приходилось подавлять в себе абсолютно иррациональную неприязнь, естественно, подавлять немедленно, на основе моих исходных положений и абсолютно скрывать ее в моих публичных заявлениях, и тем не менее подавлять и скрывать эту неприязнь приходилось». [↑](#footnote-ref-8)